

Minneapolis

London

Иммануэль Валлерстайн

Конец знакомого мира

Социология XXI века

Перевод с английского под редакцией В.Л. Иноземцева

—
Москва

«Логос»

2004

УДК316.3/.4

ББК 60.56

В15

Иммануэль Валлерстайн

В15 Конец знакомого мира: Социология XXI века/Пер, с англ. под ред. В.И. Иноземцева. - М.: Логос, 2004. - 368 с. ISBN 5-94010-255-7

В книге, получившей широкую международную известность, крупный американский социолог анализирует социальные процессы, характерные для современного мира. Автор показывает, что сложившаяся историческая система вступила в критическую фазу, когда неизбежны нарастание неопределенности и накопление кардинальных перемен, означающих, по сути, «конец знакомого мира». Вместе с преобразованиями в привычном «мире капитализма» должен измениться и «мир знаний» об обществе. Одна из центральных идей книги состоит в том, чтобы открыть всемирную дискуссию о будущем человечества, привнести в его постижение большую рациональность и тем самым конструктивно объединить знание, мораль и политику. Для ученых и специалистов в области социологии, философии, экономики, культурологии, этики, политических и исторических наук. Представляет интерес для широкого круга читателей.

УДК 316.3/.4 ББК 60.56

ISBN 5-94010-255-7

© Immanuel Wallerstein, 2003

© Центр исследований Постиндустриального общества, 2003

© «Логос», 2004

Содержание

Предисловие автора к русскому изданию.....	VII
Предисловие	X
Неопределенность и творчество. Исходные положения и выводы 5	
Часть I. Мир капитализма	
<i>Глава первая</i>	
Социология и коммунистическая интерлюдия, или Интерпретации современной истории	13
<i>Глава вторая</i>	
Африканский национальный конгресс и Южная Африка: прошлое и будущее освободительных движений в миро-системе	29
<i>Глава третья</i>	
Возвышение Восточной Азии, или Миро-система в XXI веке	49
<i>Кода</i>	
Так называемый азиатский кризис. Геополитика в исторической перспективе.....	69
<i>Глава четвертая</i>	
Государства? Суверенитет? Дилеммы капиталистов переходной эпохи	80
<i>Глава пятая</i>	
Экология и издержки производства при капитализме. Нет выхода	105
<i>Глава шестая</i>	
Либерализм и демократия. Братья-враги?	120
<i>Глава седьмая</i>	
Интеграция во что? Отмежевание от чего?	143
<i>Глава восьмая</i> Социальные изменения?	

Изменения бесконечны. Ничего не меняется	162
Часть II Мир знаний	
<i>Глава девятая</i>	
Общественные науки и современное общество. Исчезающие основания рациональности.....	187
<i>Глава десятая</i>	
Дифференциация и целостность в общественных науках.....	212
<i>Глава одиннадцатая</i>	
Многоликий евроцентризм. Обществоведческие дилеммы	226
<i>Глава двенадцатая</i>	
Структуры знания, или Сколько путей познания лежит перед нами	248
<i>Глава тринадцатая</i>	
Взлет и грядущее падение миро-системного анализа.....	257
<i>Глава четырнадцатая</i>	
Социальная теория и стремление к справедливому обществу.....	269
<i>Глава пятнадцатая</i>	
Наследие социологии и будущее обществоведения	293
Примечания.....	334

Предисловие автора к русскому изданию

Как увидит читатель, эта книга разделена на две части. Первая посвящена тому, что мы знаем о мире, в котором живем, о мире, который я называю «миром капитализма». Вторая посвящена тому, как мы приходим к тому, что считаем нашим знанием об этом мире, к тому, что я называю «миром знания». Эти два мира обычно рассматриваются в рамках нашей университетской

*

системы и в ходе публичных дискуссий как независимые друг от друга. Первый считается предметом исследования экономистов, социологов, историков и иных обществоведов. Второй относится к ведению философов (в особенности эпистемологов), а также историков науки и образования. В определенном смысле, вторая группа ученых изучает не мир капитализма, а мир исследователей капитализма.

Основным тезисом, который я обосновываю в этой книге, является утверждение, что разграничение этих двух объектов исследования совершенно искусственно и, что еще хуже, крайне вредно. Оно мешает нам понимать, что действительно происходит в той исторической системе, в которой мы все живем. Пути познания сами по себе являются продуктами того мира, в котором живут познающие (ученые). Методы познания мира представляются как бы очками, позволяющими нам [лучше] видеть. Сами эти очки сначала должны быть произведены, и то, каким образом они создаются, зависит от доступных на данный момент технологий и от того, какие навыки выработаны в ходе их применения. Но очки, в свою очередь, способствуют дальнейшему прогрессу как технологий,

VII

так и открывающих путь к их использованию навыков. Все это вместе образует неразрывное целое.

Более того, если очки искажают контуры [предметов], мы столкнемся не только с ошибочным пониманием мира, в котором живем, но и с очевидной неспособностью совершенствовать те интеллектуальные инструменты, которые могли бы позволить нам исправить допущенную ошибку. Таким образом, мы имеем дело не только с неразрывным целым, но еще и с постоянной взаимной каузальностью. И такова каждая историческая система. Они не только предоставляют своим членам имеющиеся у них преимущества, но и развращают их своими пороками. Они поддерживают равновесие, которое искажает наши представления и сковывает наши коллективные и индивидуальные возможности.

Но, несмотря на все это, эти самоподдерживающиеся системы время от времени разрушаются. Они разрушаются по причине своего комплексного характера и в силу того, что происходящие в них процессы со временем все сильнее выводят их из равновесного состояния. В конечном счете проявляющиеся в их развитии тенденции доводят до точки бифуркации, и хаотические подвижки опосредуют мучительный переход к некоему новому системному порядку, основные черты которого никогда не могут быть заранее предугаданы.

У российского читателя не должно складываться впечатления, что я рассматриваю именно Россию. Скорее, я описываю всю миро-систему, в которой Россия является лишь одной из составных частей. Не должно у читателя складываться впечатления и о том, что каждый из нас - лишь пешка в каком-то большом механическом процессе, на ход которого невозможно повлиять. Совсем наоборот. Неопределенность результата обуславливается только тем, что каждый из нас постоянно, индивидуально или в составе группы стремится, предпринимая те или иные усилия, добиваться поставленной им самим перед собой цели. В периоды же всеобщего беспорядка значимым может оказаться даже самый слабый толчок.

И тут мы снова возвращаемся к тому, почему была написана эта книга. Она была написана в надежде прояснить общую картину. Посреди полного беспорядка - какие альтерна-

VIII

тивы открыты перед нами? *И она написана ради того чтобы стать {на что я хочу надеяться} вкладом во всемирную дискуссию, которая может поспособствовать росту нашей сущностной рациональности.*

Российский читатель, вероятно, столкнется еще с одним препятствием в этом [познавательном] усилии, усилии, которое нигде в мире не бывает легким. Россия приходит в себя после долгого периода, на протяжении которого ее правящие круги и господствующая идеология насаждали некие представления, которые, однако, оказались вовсе не очевидными. И с крахом коммунизма возникло всеобщее стремление заменить старые представления новыми, но и они доказали свою неочевидность еще быстрее прежних. Вполне можно допустить поэтому, что российский читатель сегодня дезориентирован и скептичен. Но я и не предлагаю нового набора постулатов. Напротив, я выдвигаю способный породить тревогу тезис, что строгих данностей не существует, но это не устраняет нашей потребности действовать. Мы стремимся определить, как должны сочетаться разум (четкое понимание пределов возможного знания) и нравственность (приверженность справедливому обществу), и никто не должен остаться в стороне от решения этой задачи.

Предисловие

Являясь с 1994 по 1998 год президентом Международной социологической ассоциации, я призывал ее [членов] сконцентрировать внимание на необходимости переоценить сложившиеся социологические стереотипы с учетом будущего мира XXI века, мира, который, как я утверждал, будет значительно отличаться от нынешнего. Поскольку в качестве президента Международной социологической ассоциации меня приглашали выступать на многочисленных собраниях социологов и представителей других общественных наук, я решил последовать своим собственным призывам и использовать открывшиеся возможности для того, чтобы изложить мои взгляды на предмет социологии в XXI столетии.

Название книги было подсказано Пэтриком Уилкинсоном, читавшим многие из моих эссе, как только они принимали законченную форму. Однажды он заметил, что то, о чем я пишу. - это. по существу [«конец знакомого мира»], «конец мира в том виде, в каком мы его знаем», причем в обоих значениях слова «знать»: как *cognoscere* и как *scire*. Я использовал эту идею как способ построения сборника очерков, разделенного на две части: «Мир капитализма» и «Мир знания» - то есть мир, который мы знаем в том смысле, в каком он составляет нашу реальность (мир капитализма, или *cognoscere*), и мир, известный нам в меру его понимания нами (мир знания, или *scire*).

Мне кажется, что мы бродим по темному лесу и не вполне понимаем, в каком направлении следует идти. Думаю, что нам необходимо как можно скорее обсудить это всем вместе, X и подобная дискуссия должна стать поистине всемирной. Более того, такое обсуждение, на мой взгляд, не относится к числу тех, где можно разделить и «развести по разным углам» вопросы знания, этики и политики, что я и пытаюсь кратко обосновать в первом очерке «Неопределенность и творчество». Мы вовлечены в необычный и трудный спор. Однако мы не сможем решить проблемы, которых будем пытаться не замечать.

Конец знакомого мира

*Посвящается Джекобу, Джесси, Эдаму и Джошуа -
пусть они откроют для себя более полезную социологию,
чем та, с которой столкнулся я, когда начинал ее изучать,
и*

*Дону Пабло Гонзалез Казанове -
чей труд на протяжении всей жизни был попыткой
поставить социологию на службу более демократичному миру
и который вдохновил всех нас*

Неопределенность и творчество: исходные положения и выводы

Мне представляется, что [социум] первой половины XXI века по своей сложности, неустойчивости и вместе с тем открытости намного превзойдет все, виденное нами в веке XX-м. Я утверждаю это, основываясь на трех исходных посылах, аргументировать ни одну из которых у меня здесь просто нет времени. Первая предполагает, что исторические системы, как и любые другие, имеют ограниченный срок жизни. У них есть начало и длительный период развития, но в итоге, по мере того как они все дальше отклоняются от равновесия и достигают точки бифуркации, наступает конец. Вторая исходная посылка гласит, что в таких точках бифуркации незначительные воздействия приводят к масштабным изменениям (в отличие от периодов нормального развития системы, когда сильные воздействия приносят ограниченные результаты), а последствия самих бифуркаций по своей природе непредсказуемы.

Третья посылка заключается в том, что современная миро-система как система историческая вступила в стадию завершающегося кризиса и вряд ли будет существовать через пятьдесят лет. Однако поскольку результаты кризиса не могут быть определены заранее, мы не знаем, станет ли пришедшая на смену новая система (или системы) лучше или хуже той, в которой мы живем ныне. Но что мы действительно знаем - это то, что переходный период будет грозным време-

* Выступление на «Форуме 2000: Тревоги и надежды на пороге нового тысячелетия», Прага, 3-6 сентября 1997 года.

5

нем потрясений, поскольку цена перехода крайне высока, его перспективы предельно неясны, а

потенциал воздействия небольших изменений на итоговый результат исключительно велик. Широко распространено мнение, что крах коммунистических режимов в 1989 году обозначил великий триумф либерализма. Я же скорее склонен видеть в этом знак очевидного краха либерализма как определяющей геокультуры нашей миро-системы. Либерализм, по существу, обещал, что постепенное реформирование сгладит диспропорции, присущие данному миропорядку, и уменьшит остроту поляризации. Иллюзия достижимости этих целей в рамках современной миро-системы являлась, по сути, мощнейшим стабилизирующим фактором, поскольку легитимизировала государства в глазах их населения и в обозримом будущем обещала людям рай на Земле. Крах коммунизма одновременно с упадком национально-освободительных движений в «третьем мире» и кризисом доверия к кейнсианской модели на Западе - все это вместе и одновременно стало отражением массового разочарования в жизненности и реалистичности всех предлагавшихся реформистских программ. Такое разочарование, как бы его ни оценивали, подрывает легитимность государств в массовом сознании и лишает их население каких-либо оснований терпеть продолжающуюся и нарастающую поляризацию в структуре нашей миро-системы. Поэтому я ожидаю серьезных потрясений, сопоставимых с теми, свидетелями которых мы были в 90-е годы, распространяющихся от босний и руанд нашего мира до более богатых (и, предположительно, более стабильных) регионов мира будущего (таких, как Соединенные Штаты). Таковы, на мой взгляд, исходные положения, и вы вольны не разделять их, поскольку у меня нет времени на их обоснование¹. Я лишь хотел бы предложить [вашему вниманию] некоторые выводы и заключения политического характера, вытекающие из этих моих посылок. Первый вывод состоит в том, что прогресс, вопреки всем наставлениям Просвещения, вовсе не неизбежен. Но я не считаю, что по этой причине он невозможен. За несколько последних тысячелетий мир не 6 стал более нравственным, но он мог стать таким. Мы способны двигаться в направлении того, что Макс Вебер называл «сущностной рациональностью», то есть к рациональным ценностям и рациональным целям, достигаемым посредством коллективных и разумных действий. Второй вывод состоит в том, что вера в определенность - фундаментальная посылка модернити - обманчива и вредна. Современная наука, будучи наукой картезианско-ньютонической, основывается на несомненной определенности. Изначально предполагается существование объективных универсальных законов, управляющих всеми естественными явлениями, равно как и возможность их научного постижения. Отсюда следует, что на основе определенного набора исходных данных мы можем абсолютно точно просчитать будущее и прошлое. Зачастую утверждается, что такое понимание науки является не более чем светской интерпретацией христианской идеи, в которой «Бог» заменен на «природу», и что допущение определенности вытекает из религиозных истин и вполне соответствует им. Я не хочу начинать здесь теологическую дискуссию *per se*, но мне всегда казалось, что вера во всемогущего Бога, присущая по крайней мере так называемым западным религиям (иудаизму, христианству и исламу), логически и морально несовместима с верой в определенность, или, во всяком случае, в определенность для человека. Если Бог всемогущ, люди не могут ограничивать его тем, что они по своему разумению провозглашают неизменными истинами, ибо в противном случае Бог перестает быть всемогущим. Вне сомнения, на заре современной истории ученые, многие из которых были весьма набожными, могли считать, что они защищают тезисы, созвучные господствующей теологии, и, безусловно, многие теологи того времени давали им повод так думать. Однако, очевидно, неправильно полагать, что вера в научную определенность является необходимым дополнением религиозных систем верований.

Более того, в настоящее время постулат определенности очень жестко и, я бы сказал, убедительно критикуется в рамках самого естествознания. Мне достаточно отослать вас к 7 последней книге Ильи Пригожина *La fin des certitudes*, в которой он утверждает, что даже наиболее строго описываемые естественными науками системы - динамические механические системы - управляются стрелой времени и неизбежно отклоняются далеко от равновесия. Эти новые взгляды получили название теории неравновесности как потому, что они строятся на том, что ньютоническая определенность имеет место только в очень ограниченных и простых системах, так и потому, что, согласно им, Вселенная демонстрирует эволюционное нарастание сложности, и подавляющее большинство ситуаций не может быть объяснено исходя из тезисов о линейном равновесии и обратимости времени. Третий вывод сводится к тому, что в социальных системах, самых сложных, а потому наиболее

трудно поддающихся анализу системах во Вселенной, постоянно идет борьба за построение лучшего общества. Более того, именно в периоды перехода от одной исторической системы к другой (природу которой мы не можем знать заранее) эта борьба приобретает наибольшее значение. Или, другими словами, только в такие переходные периоды то, что мы называем свободной волей, преодолевает давление существующей системы, стремящейся к восстановлению равновесия. Таким образом, фундаментальные изменения возможны, хотя и никогда не предопределены, и это вызывает к моральной ответственности, побуждая нас действовать рационально, с честными намерениями и решимостью найти более совершенную историческую систему.

Мы не можем знать, какой будет ее структура, но можем определить критерии, позволяющие назвать историческую систему сущностно рациональной. Эта система преимущественно эгалитарна и в основном демократична. Будучи далеким от того, чтобы усматривать какое-либо противоречие между этими двумя целями, я хотел бы подчеркнуть их внутреннюю взаимосвязь. Историческая система не может быть эгалитарной, если она не демократична, поскольку недемократическая система неравномерно распределяет власть, а это значит, что она будет неравномерно распределять и все остальное. Она также не может быть демократичной, если не является эгалитарной, так как неэгалитарность системы предполагает, что одни имеют больше материальных ценностей, чем другие, и потому неизбежно будут обладать большей политической властью.

Мой четвертый вывод состоит в том, что неопределенность прекрасна, а определенность, имея она место на самом деле, означала бы моральную смерть. Зная мы наверняка наше будущее, не существовало бы нравственного побуждения предпринимать что бы то ни было. Мы были бы вольны потакать любым страстям и пестовать свой эгоизм, поскольку все действия укладывались бы в рамки предписанной определенности. Если же ничего не определено окончательно, то будущее открыто для творчества - как человеческого, так и всей природы. Оно открыто навстречу возможностям, а значит - и лучшему миру. Но мы сможем войти в него, если только окажемся готовы ради его достижения затратить нашу моральную энергию и если будем готовы бороться с теми, кто под каким бы то ни было видом и любым предлогом предпочитает неэгалитарный, недемократический мир.

Часть I. Мир капитализма

Глава первая. Социология и коммунистическая интерлюдия, или Интерпретации современной истории

Коммунистическая интерлюдия? Между чем и чем [она была исполнена]? И, прежде всего, когда? Я буду считать это периодом между ноябрем 1917-го (так называемой Великой Октябрьской революцией) и 1991 годом, когда в августе распалась Коммунистическая партия Советского Союза, а в декабре и сам СССР. Это период, на протяжении которого в России и ее империи, а также в Восточной и Центральной Европе существовали государства, управляемые коммунистическими или марксистско-ленинскими партиями. Строго говоря, и сейчас существует ряд государств в Азии, которыми, как считается, руководят марксистско-ленинские партии. К таковым относятся Китай, Корейская [Народно-] Демократическая Республика, Вьетнам и Лаос. И конечно же, Куба. Но эра существования «блока социалистических государств», в каком-либо значительном смысле, прошла. Так же, на мой взгляд, как и эра, когда марксистско-ленинская идеология пользовалась серьезной поддержкой.

Так что мы говорим об интерлюдии в том простом смысле, что был некий момент наступления эры, в пределах которой существовал отчетливый блок стран, полагавших, что они руководствуются марксистско-ленинской идеологией, и что сейчас мы живем в период, когда эта эра уже позади. Конеч-

* Выступление на региональном коллоквиуме Международной ассоциации социологов «Построение открытого общества и перспективы социологии в Восточной и Центральной Европе», Краков, Польша, 15-17 сентября 1996 года. **13**

но, ее тень существовала и до 1917 года. Маркс и Энгельс в своем *Манифесте* уже в 1848 году утверждали, что «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». И во многих отношениях этот

призрак по-прежнему бродит по Европе. И только ли по Европе? Давайте это обсудим. Что представлял собой этот призрак до 1917 года? Каким он был в период между 1917 и 1991 годами? Каков он сейчас? Я думаю, нам нетрудно прийти к согласию в том, каким этот призрак был до 1917 года. Он был призраком того, что «народ» - понимаемый в основном как необразованная, невоспитанная, темная масса людей - стихийно восстанет, разрушит и конфискует собственность, в той или иной мере перераспределит ее и поставит у власти людей, которые будут управлять без всякого уважения таланта и инициативы. А по ходу дела они разрушат все, что почиталось ценным в традициях страны, включая, разумеется, ее религиозные традиции. Страх [, внушаемый этим призраком,] не был таким уж беспочвенным. В экранизации романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» есть такая сцена, когда доктора Живаго, вернувшегося с фронта сразу после революции в свой довольно просторный дом в Москве, встречает не только его семья, но и внушительная группа людей, обосновавшихся в его доме на постоянное жительство. Его собственной семье в этом огромном доме оставили одну-единственную комнату. Живаго, олицетворяющего собой истинного русского интеллектуала-идеалиста, довольно агрессивно спрашивают, что он думает об этой новой реальности, и он отвечает: «Это лучший порядок, товарищи, более справедливый»¹. К концу своей довольно насыщенной событиями жизни доктор Живаго по-прежнему верит, что этот порядок лучше, даже если у читателя или зрителя остаются более смешанные чувства.

Мы довольно хорошо знакомы с политической и социальной историей Европы XIX века. Позвольте мне коротко остановиться только на основных ее моментах. После Французской революции широкое распространение и растущее признание в Европе получили две концепции, которые до революции большинству людей показались бы странными. Первая провозглашала политические перемены делом вполне

нормальным и предполагаемым. Вторая утверждала, что суверенитет, национальный суверенитет, принадлежит не правителям и законодателям, но чему-то, называемому «народом». Это были не просто новые, а радикальные идеи, лишавшие покоя многих людей, обладавших собственностью и властью.

Этот новый, выходящий за границы отдельных государств набор ценностей, который я называю зарождающейся геокulturой миро-системы, утверждался на фоне серьезных изменений в демографической и социальной структуре большинства европейских стран. Ускорялись процессы урбанизации, увеличивалась доля наемного труда. Внезапное сосредоточение в крупных европейских городах большого количества наемных рабочих, условия жизни которых были, как правило, ужасающими, породило новую политическую силу, состоящую из людей, в значительной степени отделенных от благ экономического роста: они страдали экономически, были изгоями в социальной жизни и не имели никаких политических прав как на национальном, так и на местном уровнях. Призыв Маркса и Энгельса - «Пролетарии всех стран, соединяйтесь; вам нечего терять, кроме своих цепей» - адресовался именно этой [социальной] группе.

Существенное влияние на развитие ситуации оказали два события, случившиеся в Европе между 1848 и 1917 годами. Во-первых, политические лидеры различных стран начали осуществлять программы реформ - *рациональных* реформ, - учитывающих нужды этой группы людей, ориентированных на то, чтобы смягчить их нищету и ослабить чувство отчужденности. Такие программы были приняты в большинстве европейских государств, хотя их реализация шла разными темпами и в разные периоды времени. (В понятие Европы я включаю и такие государства, основанные белыми поселенцами, как США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.) Эти программы реформ состояли из трех компонентов. Первый - избирательное право, вводившееся с осторожностью, но неуклонно расширявшее охват населения: раньше или позже все взрослые мужчины (а потом и женщины) получили право голоса на выборах. Вторая реформа заключалась в

развитии трудового законодательства и перераспределении экономических благ, что впоследствии будет нами названо созданием «государства благосостояния». Третья реформа, если это понятие здесь применимо, состояла в формировании национального самосознания, главным образом за счет введения обязательного начального образования и всеобщей воинской повинности (для мужчин).

Взятые вместе, эти три компонента - участие в политической жизни через голосование; вмешательство государства в экономику в целях уменьшения социальной поляризации,

вызываемой бесконтрольным развитием рыночных отношений, и объединяющая нацию надклассовая патриотическая лояльность - составляют фундамент и фактически само определение либерального государства, которое к 1914 году превратилось в паневропейскую норму и частично - реальную практику. Значительные расхождения между так называемыми либеральными и консервативными политическими силами резко сократились после 1848 года, поскольку обе они сошлись на признании пользы реформирования, хотя, конечно, продолжались споры относительно темпов проведения реформ и той меры, в какой полезно сохранять приверженность традиционным символам и авторитетам.

Этот период отмечен также появлением в Европе того, что иногда называют общественным движением, состоящим, с одной стороны, из профсоюзов, а с другой - из социалистических или трудовых партий. Большинство таких партий, хотя и не все, считали себя «марксистскими», при том что смысловое наполнение этого определения оставалось предметом нескончаемых дискуссий и в те времена, и сейчас. Наиболее мощной среди этих партий и «образцовой» - как в собственном представлении, так и для большинства других - была Социал-демократическая партия Германии. Перед Социал-демократической партией Германии, как и перед большинством других партий, стоял один важный практический вопрос: должна ли она участвовать в парламентских выборах? (С вытекающим из него следующим вопросом: должны ли ее члены входить в состав правительства?) В конечном итоге подавляющее большинство партий и партий-16 ных активистов утвердительно ответили на эти вопросы. Их логика была довольно проста. Считалось, что, действуя от имени своих избирателей, они могут приносить обществу определенную практическую пользу. В перспективе, по мере расширения избирательного права и роста уровня политической грамотности масс, большинством голосов они получают полную власть, а придя к власти, смогут законным путем положить конец капитализму и основать социалистическое общество. Данные рассуждения базировались на нескольких посылах. Первой из них служила идея времен Просвещения о рациональности человеческой природы: все люди действуют в своих рациональных интересах в той мере, в какой располагают возможностями и достаточным образованием для их правильного понимания. Вторая заключалась в том, что прогресс неизбежен и сама история работает на дело социализма.

Такая линия в идеологии социалистических партий Европы в период до 1914 года на практике превратила их из революционной силы, если они вообще когда-либо были ею, в немного более нетерпеливую версию центристского либерализма. Хотя многие партии по-прежнему говорили на языке «революции», они больше не рассматривали революцию как восстание или даже применение силы. Революция превратилась, скорее, в ожидание каких-то серьезных политических перемен, как, скажем, 60-процентная победа на выборах. Поскольку в те времена социалисты в целом довольно слабо выступали на выборах, ожидаемая в будущем победа психологически все еще имела привкус революции.

Затем пришел Ленин, или, вернее, большевистская фракция Российской социал-демократической партии. Большевистский анализ включал в себя два основных элемента. Во-первых, большевики заявили, что теория и практика европейских социал-демократических партий не имеют ничего общего с революцией и, в лучшем случае, представляют собой лишь версию либерализма. Во-вторых, они утверждали, что какие бы доводы в пользу «ревизионизма» ни существовали в остальном мире, к российской реальности они неприменимы, поскольку Россия не является либеральным государством, и у 17

социалистов здесь нет возможности прийти к власти путем выборов. Оглядываясь назад, следует признать, что обе эти оценки были абсолютно верны.

Из этого анализа большевики вывели принципиально важное заключение: Россия (равно как, по умолчанию, и любое другое государство) никогда не станет социалистической без некоего насильственного процесса, включающего взятие контроля над государственным аппаратом. Следовательно, российский «пролетариат» (провозглашенный субъектом истории), фактически все еще немногочисленный, должен был совершить это, объединившись в жестко структурированную кадровую партию, которая спланирует и осуществит «революцию». В неявных, имеющих закрытый характер теоретических дискуссиях фактор «малой численности» городского промышленного пролетариата признавался более значимым, чем допускали Ленин и его коллеги. Вот почему мы получили в результате теорию, объясняющую, как быть социалистической партией в стране, не являющейся ни богатой, ни промышленно развитой, а

потому не входящей в центральную зону капиталистического миро-хозяйства. Вожди Октябрьской революции считали, что они совершили первую пролетарскую революцию в современной истории. Более правильным было бы сказать, что они возглавили одно из первых и, возможно, самое драматичное из национально-освободительных восстаний на периферии и полупериферии миро-системы. Впрочем, это национально-освободительное восстание отличалось от других в двух моментах: его возглавила кадровая партия, изменившая универсалистскую идеологию и на этой основе приступившая к созданию мировой политической системы под своим непосредственным контролем; революция произошла в одной из стран, находившихся за пределами центральной зоны, но самой из них развитой в промышленном и военном отношении. Вся история коммунистической интерлюдии 1917-1991 годов происходит из этих двух фактов. Партия, провозглашающая себя авангардной, а затем добывающаяся государственной власти, не может не быть диктаторской. Если кто-то объявляет себя ведущим, он должен считать себя безусловно правым. И если история находится на стороне социализма, то авангардная партия, по логике, осуществляет предначертанную миру судьбу, навязывая свою волю всем остальным, включая и тех людей, авангардом которых она предположительно является, то есть в данном случае промышленному пролетариату. В самом деле, это стало бы неисполнением ее обязанностей, поступай она иначе. К тому же, если лишь одна такая партия в целом мире обладала государственной властью - что фактически имело место в период с 1917 по 1945 год - и если, далее, кто-то должен был организовать международную оргструктуру, то вполне естественно и вероятно, что партия, располагающая государственной властью, станет ведущей партией. Во всяком случае, у этой партии были материальные и политические средства, чтобы отстаивать эту роль перед лицом любой возможной оппозиции. Таким образом, представляется логичным утверждать, что однопартийный режим СССР и его фактический контроль над Коминтерном были почти неизбежными следствиями теории авангардной партии. А с этой теорией, если и не абсолютно неизбежно, то по крайней мере с большой вероятностью, пришло то, что фактически случилось: чистки, ГУЛАГ и «железный занавес».

Несомненно, открытая непрекращающаяся враждебность всего мира к коммунистическому режиму в России сыграла большую роль в таком развитии событий. Но было бы преувеличением относить их полностью на сей счет, поскольку ленинская теория изначально предсказывала эту враждебность, и, следовательно, последняя являлась частью ограничений со стороны окружающей реальности, о необходимости учета которых всегда было известно режиму.

Враждебность была предсказуема. Внутреннее структурирование режима было также предсказуемо. Что, возможно, оказалось менее предсказуемым, так это геополитика советского режима. Большевики приняли четыре последовательных геополитических решения, которые оказались поворотными и которые, как мне кажется, определили далеко не единственно возможный путь, которым мог бы пойти советский режим. 19

Первым было восстановление Российской империи. В 1917 году имперские силы России переживали военные неудачи, и широкие слои российского населения взывали о «хлебе и мире». В этой социальной ситуации царь был вынужден уйти с престола, а некоторое время спустя большевики смогли осуществить штурм Зимнего дворца и захватить государственную власть. Казалось, что поначалу большевикам была безразлична судьба Российской империи как таковой. В конце концов, они были социалистами-интернационалистами, убежденными во вредности национализма, империализма и царизма. Они «отпустили» Финляндию и Польшу. Кто-то может цинично заметить, что в трудный момент они просто выбрасывали за борт балласт. Я же склонен видеть в этом скорее немедленную, почти инстинктивную реакцию, соответствующую их идеологическим пристрастиям.

Что случилось затем, было уже рациональным решением. Большевики оказались в обстановке сложной с военной точки зрения гражданской войны. Они испугались, что такое «отпускание» приведет к образованию открыто враждебных режимов на их границах. Они хотели победить в гражданской войне и решили, что для этого необходимо восстановить империю. Оказалось, что в отношении Финляндии и Польши это было уже слишком поздно, однако не поздно применительно к Украине и Кавказу. Таким образом, получилось, что из трех великих многонациональных империй, существовавших в Европе во времена Первой мировой войны, - Австро-Венгерской, Оттоманской и Российской - только последней предстояло выжить, по крайней мере до 1991 года. И таким образом, оказалось, что первый марксистско-ленинский режим стал российским

имперским режимом, наследником царской империи.

Вторым поворотным пунктом стал в 1921 году Конгресс народов Востока в Баку. Оказавшись перед фактом, что так долго ожидавшаяся ими революция в Германии вряд ли состоится, большевики обратили свои взоры в глубь страны и на Восток. Они повернулись вовнутрь, поскольку провозгласили новую доктрину - о построении социализма в одной стране. Восточное направление привлекло их, поскольку в Баку 20

произошел сдвиг геополитического акцента большевиков с пролетарской революции в высокоразвитых индустриальных государствах на антиимпериалистическую борьбу в колониальных и полуколониальных странах мира. Оба этих сдвига были весьма разумными и прагматичными. И оба имели далеко идущие последствия для смягчения ленинизма в качестве всемирной революционной идеологии.

Обратиться внутрь означало сосредоточить внимание на восстановлении российской государственности и империи как государственных структур и выдвинуть программу преодоления - путем индустриализации - экономического отставания от стран центральной зоны [капитализма]. Обратиться на Восток означало молчаливо (пока еще не открыто) признать фактическую невозможность восстания рабочих в центральной зоне. Это также означало включиться в борьбу за самоопределение наций (по Вильсону), но под более цветистым флагом антиимпериализма. Эти изменения в целях сделали советский режим гораздо более приемлемым в глазах политических лидеров западных стран по сравнению с его предшествовавшей позицией и заложили основу для возможного геополитического согласия.

Это логически привело к следующему поворотному пункту, достигнутому уже в следующем, 1922 году в Рапалло, когда Германия и Советская Россия вновь вышли на мировую политическую сцену в качестве главных действующих лиц, договорившись возобновить дипломатические и хозяйственные отношения и отказаться от всех связанных с войной претензий друг к другу. Таким образом, они эффективно преодолели разного рода остракизм, который испытывали со стороны Франции, Великобритании и Соединенных Штатов. Начиная с этого момента СССР всегда стремился к полной интеграции в межгосударственную систему. В 1933 году он вступил в Лигу Наций (и сделал бы это раньше, будь такая возможность), выступал союзником Запада во Второй мировой войне, стал соучредителем ООН и никогда в послевоенные годы не прекращал добиваться от всех стран (и прежде всего от США) признания себя как одной из двух мировых «сверхдержав». Эти усилия, как неоднократно отмечал Шарль де Голль,

Голль, трудно объяснить с позиций марксистско-ленинской идеологии, но они абсолютно ожидаемы как политика великой военной державы, действующей в рамках существующей мировой системы.

Неудивительно, что за этим последовал четвертый поворотный пункт, а именно - часто игнорируемый, но имеющий важное идеологическое значение роспуск Коминтерна в 1943 году. Распустить эту организацию значило, прежде всего, официально признать то, что было реальностью на протяжении уже довольно продолжительного времени - отказ от первоначального плана большевиков осуществить пролетарские революции в наиболее «развитых» странах. Это представляется очевидным. Но менее очевидным было то, что это означало и отказ от целей, поставленных в Баку, по крайней мере в их первоначальном виде.

В Баку были подняты на щит заслуги антиимпериалистических национально-освободительных движений на «Востоке». Но уже к 1943 году руководители СССР не были реально заинтересованы в революциях где бы то ни было, если эти революции не находились под их полным контролем. Советские лидеры не были глупы и понимали, что движения, пришедшие к власти путем долгой национально-освободительной борьбы, вряд ли отдадут себя под чей-то контроль в Москве. А кто бы мог на это пойти? Существовал только один возможный ответ - движения, пришедшие к власти благодаря поддержке и под бдительным контролем российской Красной Армии. Так зародилась советская политика в отношении единственной части мира, к которой она была применима по крайней мере тогда - Восточной и Центральной Европы. В период с 1944 по 1947 год СССР был исполнен решимости поставить у власти подчиненные ему коммунистические режимы везде, где находилась Красная Армия на момент окончания Второй мировой войны, то есть, в сущности, во всей Европе к востоку от Эльбы. Я говорю «в сущности» потому, что здесь есть сразу три исключения: Греция, Югославия и Албания. Но мы знаем, что там произошло. В 1945 году ни в одной из этих стран Красной Армии не было. В Греции Сталин драматическим образом бросил

коммунистическую партию на произвол судьбы. А Юго-22

славия и Албания, где установились марксистско-ленинские режимы, пришедшие к власти благодаря своей собственной повстанческой борьбе, открыто порвали с СССР. Что касается Азии, то проволоочки Сталина там были очевидны всему миру и не в последнюю очередь Коммунистической партии Китая, которая резко отошла от СССР при первой же возможности. Встреча Мао с Никсоном явилась прямым результатом этого четвертого поворотного момента в политике Советов.

Что же осталось от старого призрака коммунизма после этих четырех поворотных моментов? Не так уж много, и то, что осталось, выглядело совсем иначе. СССР был второй по своей мощи военной державой в мире. Фактически он обладал достаточной силой, чтобы договориться с Соединенными Штатами, занимавшими первое место и позволившими ему создать свою зону исключительного влияния от Эльбы до -Ялу, но не сверх того. Договор заключался в том, что эта зона становится подконтрольной СССР, и США признают свободу его правления внутри зоны при условии, что СССР действительно не нарушает ее границ. Сделка была освящена в Ялте и в основном соблюдалась западными странами и Советским Союзом вплоть до 1991 года. В этом Советы строили свою игру как прямые наследники царей, исполняя свою геополитическую роль лучше них.

В экономическом плане СССР встал на классический путь догоняющего развития посредством индустриализации. И довольно-таки преуспел в этом, если принять во внимание все изъяны режима и ущерб, нанесенный стране в ходе Второй мировой войны. Если посмотреть на экономические показатели за 1945-1970 годы, то на фоне остального мира они выглядят впечатляющими. СССР заставил свои страны-сателлиты идти тем же путем, хотя он был не столь эффективен для некоторых из них, но поначалу и эти страны также довольно хорошо развивались. Однако экономические системы [советского типа] были примитивными, причем не потому, что не оставляли достаточного места для частного предпринимательства, а потому, что постоянное стремление «догнать и перегнать» считалось серьезной экономической политикой, индустриализация же - волной, несущей экономику в будущее.

23

Как бы то ни было, известно, что СССР так же, как и страны Восточной и Центральной Европы, начал испытывать экономические трудности в 70-х и 80-х годах и в конце концов развалился. Конечно, это был период, когда почти весь мир также переживал экономический спад, и многое из того, что произошло в этих странах, было частью общей экономической ситуации. Дело, однако, в том, что, с точки зрения живущих здесь людей, экономические провалы стали чем-то вроде последней капли [, переполнившей чашу терпения], особенно на фоне официальной пропаганды, утверждавшей, что главным доказательством преимуществ марксизма-ленинизма являлась его способность немедленно исправить любую экономическую ситуацию.

Это стало последней каплей, поскольку внутренняя политическая ситуация фактически никому не нравилась в этих странах. Демократическое участие в политической жизни отсутствовало. Если к середине 50-х годов худшие времена террора в этих странах были уже позади, то произвольные аресты и контроль со стороны тайной полиции по-прежнему оставались нормой повседневной жизни. Не допускались никакие проявления национализма. В меньшей степени, возможно, это имело значение в России, где русские находились на вершине политической жизни, хотя им и не дозволялось говорить об этом вслух. Для всех же остальных доминирование России было невыносимым. И наконец, однопартийная система означала, что во всех этих странах существовала особо привилегированная прослойка - номенклатура. - превращавшая в насмешку идеологические претензии большевиков на защиту социального равенства.

Во всех этих странах всегда существовало множество людей, ни в коей мере не разделявших первоначальных целей большевиков. Однако в конечном счете всю систему разрушило то, что огромное количество людей, действительно разделявших эти цели, стали столь же, а возможно, и более враждебными ей, чем другие. Призрак, который бродил по миру с 1917 по 1991 год, превратился в чудовищную карикатуру призрака, бродившего по Европе с 1848 по 1917-й. Старый призрак излучал оптимизм, справедливость, нравственность,

24

которые придавали ему силу. От нового же исходили застой, предательство и уродливая тирания. Нет ли на горизонте третьего призрака?

Первый призрак предназначался не для России или Центральной и Восточной Европы, а, скорее,

для Западной Европы (и мира). Второй же был для всего мира. И третий, наверняка, снова будет для всего мира. Но можем ли мы назвать его призраком коммунизма? Безусловно, нет - в том понимании, какое этот термин имел в период 1917-1991 годов. И только частично - в трактовке периода 1848-1917 годов. Но этот призрак тем не менее страшен, и связан он с сохраняющей актуальность проблемой современного мира, которая заключается в сочетании громадного материального и технического прогресса с исключительной поляризацией населения планеты. В бывшем коммунистическом мире многие полагают, что вернулись «назад к норме». Но это представление не более реалистично, чем лозунг президента Уоррена Гардинга, провозглашенный им для Соединенных Штатов в 1920 году. США уже никогда не могли вернуться в мир, существовавший до 1914 года, а Россия и ее сателлиты не смогут вернуться в мир, предшествовавший 1945 или 1917 годам, - ни в деталях, ни в смысле его духа. Мир решительно ушел вперед. И хотя большинство людей в посткоммунистическом мире чувствует огромное облегчение от того, что коммунистическая интерлюдия осталась позади, вовсе не очевидно, что они, как и все мы, оказались в мире более безопасном, более обнадеживающем или более приспособленном для жизни.

Начать с того, что на протяжении следующих пятидесяти лет мир обещает быть намного более жестоким, чем во времена холодной войны, из которых мы вышли. Холодная война была хорошо «поставленным» действием, жестко ограниченным обоюдным стремлением США и Советского Союза избежать ядерной войны между собой, а также тем существенным фактом, что обе страны обладали достаточной силой для того, чтобы этой войны действительно не допустить. Но ситуация радикально изменилась. Военная мощь России, хотя она все еще велика, заметно ослабла. То же, необходимо заметить, относится и к военной мощи США, хотя и в меньшей 25 степени. В частности, Соединенные Штаты не располагают больше теми тремя составляющими, которые обеспечивали их военное могущество в прошлом: денежными средствами, готовностью населения страны нести издержки военных действий, а также политическим контролем над Западной Европой и Японией.

Результаты уже налицо. Стало крайне трудно сдерживать нарастающие локальные вспышки насилия (Босния, Руанда, Бурунди и т. д.). В течение следующих 25 лет будет фактически невозможно ограничить распространение вооружений, и нам следует ожидать значительного расширения круга стран, располагающих ядерным, а также биологическим и химическим оружием. Более того, учитывая, с одной стороны, относительное ослабление США и разделение сильнейших государств на три группы, а с другой - продолжающуюся экономическую поляризацию миро-системы по линии Север-Юг, мы должны предусмотреть вероятность новых умышленных военных провокаций со стороны Юга (вроде тех, что предпринимаются Саддамом Хусейном). Такие провокации будет все труднее предотвратить политическими средствами, и случись несколько таковых одновременно, нет уверенности, что Северу удастся им должным образом противостоять. Вооруженные силы США уже перешли в режим подготовки к одновременным действиям в *двух* таких ситуациях. А если их будет три?

Второй новый элемент - это миграция в направлении с Юга на Север (включая миграцию из Восточной Европы в Западную). Я назвал это новым элементом, хотя, конечно, такая миграция характерна для капиталистического миро-хозяйства на протяжении последних пятисот лет. Налицо, однако, три изменения. Первое - это транспортная технология, которая намного облегчает процесс миграции. Второе - масштабы всемирной экономической *и демографической* поляризации, значительно усиливающие глобальное давление в сторону миграции. Третье - распространение демократической идеологии, подрывающей политические возможности богатых стран противостоять такому давлению.

Что же должно произойти? В краткосрочном плане это кажется очевидным. В богатых странах мы увидим рост пра-26

вых движений, фокусирующих свою риторику на необходимости ограничения притока иммигрантов. Мы увидим, как на пути миграции будет возводиться все больше и больше юридических и физических преград. Тем не менее мы станем свидетелями роста реальной миграции - легальной и нелегальной - частично потому, что стоимость поддержания реальных барьеров слишком высока, а частично в результате широкого сговора работодателей, заинтересованных в использовании рабочей силы мигрантов. Среднесрочные последствия также вполне понятны. Появится статистически значительная группа

семей мигрантов (нередко включая семьи второго поколения) - низкооплачиваемых, социально не интегрированных и почти наверняка лишенных политических прав. Эти люди составят фактически наинизший слой рабочего класса в каждой стране. Если это произойдет, мы опять окажемся в ситуации, в которой находилась Европа до 1848 года, - наличие сосредоточенного в городах низшего класса, четко определяемого на сей раз по этническому признаку, не имеющего прав, но с очень большими претензиями к обществу. Именно такая ситуация привела к появлению первого призрака, о котором говорили Маркс и Энгельс.

Однако есть еще одно отличие от 1848 года. В XIX веке и еще около двадцати лет назад миро-система находилась на гребне огромного оптимизма в отношении будущего. Мы жили в эпоху, когда каждый был уверен, что история на стороне прогресса. Эта вера имела важнейшее политическое значение - она была мощной стабилизирующей силой. Она порождала терпимость, поскольку убеждала каждого, что когда-то все станет лучше, когда-нибудь в недалеком будущем, доступном по крайней мере для его детей. Она была тем, что оправдывало существование либерального государства и делало его приемлемой политической структурой. Сегодня мир потерял эту веру и, потеряв ее, утратил важную стабилизирующую силу.

Этой потерей веры в неизбежное реформирование объясняется тот явный поворот против государства, который мы наблюдаем сегодня повсеместно. Никто никогда по-настоящему не любил государство, но подавляющее большинство по-27

звоняло государству постоянно наращивать свою власть, поскольку видело в нем проводника реформ. Но если государство не может выполнять эту функцию, то зачем его терпеть? Однако если у нас не будет сильного государства, то кто обеспечит нам повседневную безопасность? Ответ: тогда мы должны обеспечить ее для себя сами. И это возвращает весь мир назад, в период, когда зарождалась современная миро-система. Именно для того, чтобы уйти от необходимости создания [и поддержания] своей локальной безопасности, мы занялись созданием современной государственной системы.

И последнее, но не такое уж слабое, отличие. Оно называется демократизацией. Все говорят о ней, и я думаю, что она действительно имеет место. Но демократизация не уменьшает, а, напротив, лишь усиливает великий беспорядок. Это происходит, поскольку большинством людей демократизация понимается прежде всего как требование равных прав на получение трех основных благ: приемлемого дохода (работы, а позже пенсии), доступа к образованию для детей и адекватного медицинского обслуживания. По мере расширения демократизации люди настаивают не просто на получении этих благ, но также на регулярном повышении их минимально допустимого уровня. Однако их обеспечение, отвечающее таким требованиям, невероятно дорого - даже для богатых стран, не говоря уже о России, Китае, Индии. Единственный путь к тому, чтобы *каждый* действительно смог получать больше таких благ, состоит в создании новой системы распределения мировых ресурсов, радикально отличающейся от той, что мы имеем сегодня.

Так как же нам назвать этот третий призрак? Призраком дезинтеграции государственных структур, в которые люди больше не верят? Призраком демократизации и требований радикально новой системы распределения? Предстоящие 25-50 лет будут отмечены долгими политическими дебатами о том, как обойтись с этим новым призраком. Сегодня невозможно предсказать результат такой всемирной политической дискуссии, которая обернется столь же всемирной политической борьбой. Однако очевидно, что обязанностью социологов является оказание помощи в прояснении вариантов предстоящего нам исторического выбора. 28

Глава вторая. Африканский национальный конгресс и Южная Африка: прошлое и будущее освободительных движений в миро-системе*

Африканский национальный конгресс (АНК) - одно из старейших в миро-системе национальных освободительных движений. При этом он совсем недавно добился своей главной цели - политической власти. Возможно, ему выпало стать последним движением за национальное освобождение, которому это удалось. И поэтому 10 мая 1994 года может означать не только конец целой эры в истории Южной Африки, но и завершение непрерывно продолжавшегося с 1789 года миро-системного процесса.

«Национальное освобождение» - новый, конечно, термин, но скрывающееся за ним понятие значительно старше. Последнее, в свою очередь, предполагает наличие двух других - «нации» и «освобождения». Ни одна из этих идей не пользовалась особым признанием и не была легитимной до Французской революции (хотя, возможно, политические волнения в британских колониях в Северной Америке, начавшиеся в 1765 году и приведшие к американской революции, отражали сходные идеи). Французская революция преобразила геокультуру миро-системы [эпохи] модернити. Она способствовала широкому распространению веры в то, что политические перемены суть скорее норма, чем исключение, а источником суверенитета государств (понятие которого восходит по меньшей мере к XVI веку) выступает не правитель (будь то монарх или парламент), а «народ» в целом¹.

* Основной доклад на ежегодном собрании Южно-африканской социологической ассоциации, Дурбан, ЮАР, 7-11 июля 1996 года. 29

С тех пор эти идеи были всерьез восприняты многими людьми - даже слишком многими, с точки зрения власть имущих. Основной политической проблемой миро-системы на протяжении последних двух столетий стала борьба между сторонниками и противниками их полномасштабной реализации. Борьба эта была продолжительной и жесткой, принимавшей различные формы в разных частях миро-системы. Впервые классовая борьба проявилась в Великобритании, Франции и Соединенных Штатах, а также в других наиболее развитых в промышленном отношении регионах мира, где численно возросший городской пролетариат вынужден был противостоять как своим нанимателям, капиталистам, так и еще остававшейся у власти аристократии. Существовали также многочисленные националистические движения, сплавившие представителей той или иной «нации» в борьбе с «внешним» захватчиком или господством имперского центра, как, например, в Испании и Египте в наполеоновскую, а в Греции, Италии, Польше, Венгрии и во все возрастающем числе других стран в постнаполеоновскую эпоху. Имели также место и ситуации, когда влиятельная внешняя сила дополнялась наличием колонистов, также претендовавших на автономию, как в Ирландии, Перу и наиболее заметно (хотя этот пример редко упоминается) на Гаити. Сформировавшееся в Южной Африке движение представляется относящимся к этой третьей категории.

Нетрудно заметить, что даже в первой половине XIX века соответствующие движения не ограничивались Западной Европой, затрагивая и периферийные зоны миро-системы. И со временем, разумеется, все больше их возникало в тех регионах, которые позже стали называть «третьим миром», или Югом. Между 1870 годом и Первой мировой войной возникла и четвертая разновидность таких движений - движения в формально независимых странах, где выступления против старого режима рассматривались в то же время и как борьба за национальное возрождение, а следовательно - против господства внешних сил. Такими, в частности, были движения в Турции, Персии, Афганистане, Китае и Мексике.

Общей чертой всех этих движений было четкое понимание того, кто составляет «народ» и что значит для этих лю-30

дей «освобождение». Все эти движения основывались на убежденности, что народ пока еще отстранен от власти и не вкушает истинной свободы, что существуют конкретные группы лиц, ответственные за эту несправедливую, не имеющую морального оправдания ситуацию. Конечно, в силу невообразимого многообразия реальных политических ситуаций детальные оценки, делавшиеся различными движениями, в отдельных случаях существенно отличались друг от друга. И весьма часто ориентиры тех или иных движений менялись вслед за ситуацией. Несмотря на все их многообразие, эти движения, по меньшей мере те из них, которые стали политически значимыми, имели еще одну объединявшую их черту - общую непосредственную цель. Все успешные и добившиеся влияния движения действовали в соответствии со стратегией, которую можно назвать поэтапной: сначала следовало добиться политической власти, а затем преобразовывать мир. Этот общий девиз был наиболее четко сформулирован Кваме Нкрумой: «Станьте политически всесильным, а остальное приложится». Такой линии придерживались социалистические движения, апеллировавшие к рабочему классу; этнонациональные движения, взывавшие к тем, кого объединяло общее культурное наследие; а также националистические движения, использовавшие признаки территории и гражданства в качестве определяющих черт своей «нации».

Именно движения последнего типа мы называем «национально-освободительными». Наиболее характерным и в то же время самым старым из них является Индийский национальный конгресс,

основанный в 1885 году и существующий (по крайней мере, номинально) до наших дней. Когда в 1912 году учреждался АНК, его название - Национальный конгресс коренных жителей Южной Африки (South African Native National Congress) - отражало следование индийскому образцу. Конечно, Индийский национальный конгресс имел особенность, отличавшую его от большинства других движений. В самые трудные и ответственные годы своей истории Конгресс был руководим Махатмой Ганди, создателем мировоззрения и политической тактики ненасильственного сопротивления, *сатьяграха*. На деле Ганди разработал эту тактику, наблюдая за угнетением народа Южной Африки, и позднее применил ее в Индии.

Можно долго спорить о том, была ли борьба в Индии выиграна благодаря *сатьяграха* или вопреки ей. Очевидно лишь, что обретение Индией независимости в 1947 году стало важным, знаменательным событием для миро-системы. Оно символизировало триумф широкого освободительного движения в самой большой из колоний, косвенно доказывая тем самым политическую неизбежность деколонизации всего остального мира. Но оно символизировало также и то, что национальное освобождение может принять формы, отличные от тех, к которым стремилось движение, и даже такие, которых оно не предполагало. Индия оказалась расчлененной. За обретением независимости последовали кровавые стычки между мусульманами и индуистами. И сам Ганди был застрелен, как принято считать, индуистским экстремистом.

Последовавшая за окончанием Второй мировой войны четверть века была исключительной во многих отношениях. Прежде всего, то был период явной миро-системной гегемонии США, недостижимого по эффективности своей экономики лидера мощной политической коалиции, успешно поддерживавшего определенный геополитический порядок и навязывавшего свои геокультурные стандарты остальному миру. Другой особенностью этого периода стала наиболее масштабная экспансия мирового производства и накопления капитала из всех, какие капиталистическое миро-хозяйство переживало за все четыре столетия своей истории. Эти два аспекта данной эпохи - американская гегемония и невообразимая миро-хозяйственная экспансия - настолько глубоко запечатлелись в нашем сознании, что зачастую мы отказываемся замечать, что то была и эпоха торжества знаменательных антисистемных подвижек в миро-системе. Силы Третьего Интернационала, так называемые коммунистические партии, установили контроль над одной третью территории земного шара, Востоком. На Западе же партии Второго Интернационала *de facto* повсеместно оказались у власти, иногда (часто впервые) управляя и *de jure*, но в большей мере 32

упрочивая свое косвенное влияние по мере того, как партии правого толка полностью свыкались с принципами социального государства. На Юге - в Азии, Африке, Латинской Америке - национально-освободительные движения одно за другим приходили к власти. Единственным обширным регионом, где этот триумф оказался отложенным, была Южная Африка, но теперь вышло время и этой отсрочки.

Мы не будем обсуждать результаты политического успеха антисистемных движений. Если рассматривать их с позиций середины XIX века, эти достижения нельзя не признать выдающимися. Только сравните послевоенный период с миро-системой образца 1848 года! К 1848 году относится первая попытка квазисоциалистического движения прийти к власти во Франции. Историки даже называют этот год годом «пробуждения наций». Но уже к 1851 году псевдореволюции были легко подавлены повсюду. Властям показалось, что угроза со стороны «опасных классов» миновала. В это же время разногласия между старой землевладельческой верхушкой и новой, в большей мере связанной с промышленностью буржуазией, определявшие политическую жизнь первой половины XIX века, отошли на второй план на фоне их единения ради сдерживания «масс» и «народов».

Эта реставрация порядка казалась успешной. На протяжении последующих пятнадцати-двадцати лет ни в Европе, ни за ее пределами не наблюдалось серьезных народных движений. При этом, подавив освободительные движения, высшие слои общества не почтили на лаврах. Они взяли на вооружение не реакционную, а либеральную политическую программу, призванную навсегда похоронить угрозу народного восстания. Они вступили на путь медленного, но последовательного реформизма, расширяя избирательные права, защищая более слабых работников, создавая элементы системы перераспределения благ, равно как и постоянно развивавшиеся инфраструктуры образования и здравоохранения. Они соединили эту программу реформ, в XIX веке все еще ограниченную пределами Европы, с пропагандой и легитимизацией пан-*

европейского расизма - обоснованием ответственности белого человека и его цивилизаторской миссии, призывами к

33

новому антисемитизму и сплочению перед лицом «желтой угрозы», - направленного на поддержание в низших слоях европейского населения [соответствующих взглядов] и не предполагавшего освобождения самосознания и идентичности.

Я не намерен приводить здесь обзор всей истории миро-системы с 1870 по 1945 год и хочу лишь отметить, что в этот период основные антисистемные движения формировались как национальные силы со своими международными задачами. Борьба этих антисистемных движений в одиночку или сообща против либеральной стратегии «железной руки в бархатной перчатке» всегда была достаточно трудной. Поэтому остается лишь удивляться тому, как быстро и, по правде говоря, легко они одержали верх в 1945-1970 годах. Это даже кажется подозрительным. Исторически [сложившийся] капитализм - и как способ производства, и как миро-система, и как цивилизация - вполне доказал свою изобретательность, гибкость и выносливость. Не следует недооценивать его способности защищаться.

Рассмотрим поэтому продолжительную борьбу антисистемных движений вообще и движений за национальное освобождение в частности с позиций самих этих движений. Они вынуждены были формироваться в условиях враждебного окружения, часто готового подавить или значительно ограничить их политическую активность. Власти прибегали как к непосредственным репрессиям, направленным против самих движений и их участников (в особенности против лидеров и функционеров), так и к косвенному воздействию, запугиванию их потенциальных сторонников. Они отрицали нравственную легитимность этих движений, часто используя для этого негосударственные культурные институты (церковь, интеллектуалов, а также средства массовой информации).

С целью преодоления преград, воздвигавшихся на пути движений, - а каждое из них почти всегда начиналось с узкой группы людей - их лидеры стремились мобилизовать широкие массы в свою поддержку и направить их недовольство и возмущение в нужное русло. Несомненно, затрагивавшиеся при этом проблемы и предлагаемые решения находили живой отклик у населения, но эффективная политическая мо-

34

билизация оставалась тем не менее задачей, требовавшей времени и значительных усилий. Большинство людей занято повседневными проблемами и неохотно выбирает опасный путь противостояния. Многие живут сами по себе и готовы втайне аплодировать смелым и отважным, но предпочитают подождать, пока окружающие окажут движению активную поддержку.

Что же обеспечивает такую поддержку? Не следует думать, что степень угнетения. Часто она относительно стабильна, а значит, не объясняет, почему люди, сделавшие в тот или иной момент свой выбор, не сделали его раньше. Более того, нередко жестокое угнетение может эффективно удерживать более робких людей от активного участия в движении. Массы мобилизует не угнетение, а надежда и уверенность - вера в близость конца тирании и в достижимость лучшего мира. А эти надежды и уверенность ничто не укрепляет больше, чем успех. Долгое развитие антисистемных движений подобно камню, катящемуся с горы и набирающему все большую скорость. И самым убедительным средством мобилизации масс в свою поддержку, которое могло использовать то или иное движение, становился успех других подобных движений, близких ему географически или культурно.

С этой точки зрения разногласия внутри движений - между реформистами и революционерами - не были принципиальными. Реформистская тактика подпитывала революционную тактику, и наоборот, а единственным мерилom успеха тех или иных УСИЛИЙ становилось их одобрение массами (не путать с одобрением со стороны лидеров и функционеров). И все потому, что любой успех порождал широкую поддержку последующих действий, до тех пор пока основная цель - завоевание государственной власти - не оказывалась достигнутой.

Вокруг дебатов реформистов и революционеров бушевали нешуточные страсти, ограниченные пределами узкой группы политиков-тактиков. Сами они, разумеется, верили в значимость тактических различий, связывая с ними краткосрочную эффективность и долгосрочную результативность. Но, оценивая ход событий на продолжительном отрезке време-

35

ни, трудно утверждать, что история подтвердила обоснованность этой веры.

Если взглянуть на ту же мобилизацию масс с позиций власть имущих, против кого она и

направлялась, можно увидеть обратную сторону медали. Власти опасались прежде всего не морального осуждения со стороны этих движений, а их потенциальной способности дестабилизировать политическую ситуацию посредством массовой мобилизации. Поэтому первой реакцией на появление антисистемного движения всегда оказывалось стремление не допустить его массовой поддержки, изолируя его руководителей физически, политически или социально. Правительства решительно отрицали легитимность лидеров движений как представителей широких общественных групп, заявляя, что на деле они происходят из иной классовой и культурной среды. То были широко известные и часто применявшиеся рассуждения о «засланных агитаторах».

Но приходило время, когда изображение движения в подобном свете переставало работать. Этот перелом становился как результатом упорных усилий самого движения (часто сопровождая его переход к «популистским» мерам), так и следствием самовоспроизводящегося синдрома «катящегося камня» внутри миро-системы. В этот решающий момент защитники статус кво сталкивались с дилеммой, по форме идентичной той, что возникала перед движениями, но противоположной по содержанию. Подобно лидерам движений, которым надлежало выбрать между реформами и революцией, власти колебались между политикой уступок и жестким курсом. Но эти разногласия, пусть даже почти постоянные, также не имели принципиального значения. Тактика жесткого курса подпитывала мысли об уступках, и наоборот; мерилем же эффективности действий, независимо от тактических приемов, было изменение ориентиров движений или их популярности.

Вокруг дебатов сторонников жесткой линии и приверженцев политики уступок также бушевали нешуточные страсти, но и в этом случае они увлекали лишь немногих политиков-тактиков. Последние, разумеется, верили в значимость тактических различий, опять-таки связывая с ними краткос-36

рочную эффективность и долгосрочную результативность. Но и в этом случае, оценивая исторический ход событий, трудно констатировать обоснованность такой веры. В итоге, как известно, народные движения пришли к власти почти повсеместно, и это стало знаковым изменением. Действительно, момент смены власти везде ярко отражается в общественном восприятии. Это событие считается современниками и вспоминается потомками как акт очищения, знаменующий обретение «народом» суверенных прав. Однако следует заметить, что практически ни одно движение не достигло власти, которая не ограничивалась бы определенными условиями, и всюду реальные перемены не совпадали с желаемыми или ожидавшимися. Такова история движений, достигших власти.

Эта история в отдельных аспектах напоминает их историю в период мобилизации. Согласно концепции поэтапной стратегии, если движение пришло к власти и обрело контроль над государственной машиной, можно было приступать к преобразованию мира, по крайней мере собственного. Но эти представления были далеки от истины. В ретроспективе они кажутся предельно наивными. Принимая понятие суверенитета за чистую монету, они утверждали независимость суверенных государств. Но государства не являются независимыми, и никогда таковыми не были. Даже наиболее могущественные из них, как нынешние Соединенные Штаты, не вполне суверенны. Что же касается слабейших, таких как Либерия, то в этом случае рассуждения о суверенитете воспринимаются не иначе как насмешка. Все без исключения современные государства вписаны в рамки межгосударственной системы и ограничены ее правилами и нормами. Производственная деятельность во всех них без исключения осуществляется в рамках капиталистического миро-хозяйства и ограничивается его приоритетами и экономическими законами. Любые культурные общности, встречающиеся во всех без исключения государствах, существуют в рамках геокультуры и задаются ее моделями и ее интеллектуальной иерархией. Глашатаи независимости в чем-то уподобляются Канут)', приказывавшему водам отступать. 37

Что же следовало за приходом движений к власти? Они быстро понимали, что им придется идти на уступки тем, кто управляет миро-системой в целом. И не просто на уступки, а на весьма значительные уступки. Оправданием для них служил аргумент, использованный Лениным при введении нэпа: уступки временны; это шаг назад ради двух шагов вперед. Такой довод выглядел убедительно, тем более что в тех редких случаях, когда движения были неуступчивыми, они вскоре оказывались полностью оттесненными от власти. Но и сами уступки раздражали, вызывая

разногласия внутри руководства и вопросы со стороны народа.

Если же движение стремилось удержаться у власти, приемлемой оставалась лишь одна линия поведения - откладывать радикальные перемены и пытаться «догнать» остальные страны миро-системы. Все устанавливавшиеся движениями режимы стремились укрепить позиции своих государств в рамках миро-хозяйства и приблизиться по уровню жизни к его лидерам. Поскольку большинство населения чаще всего желало не столько радикальных перемен (весьма абстрактных), сколько повышения материального благосостояния (вполне конкретного), то постреволюционное изменение лидерами движения его политического курса встречалось с одобрением - разумеется, при условии его действенности.

Первое, что необходимо учитывать при определении действенности той или иной политики, - это продолжительность периода, на котором она оценивается. Между нынешним днем и греческими календами может произойти все что угодно. Конечно, лидеры пришедших к власти движений призывали своих последователей дать им как можно больше времени. Но какие доводы могли они представить народу, стремясь получить мандат на отклонение от намеченного курса? Известно два основных вида подобных доводов. Первый был материальным: демонстрировались быстрые, значимые и зримые улучшения, пусть даже они не были слишком масштабными. Отдельные движения добивались на этом пути больших успехов, чем другие, ввиду различий в условиях разных стран. При этом убедительность таких аргументов зависела от характера текущего момента, так как результаты определялись изме-

няющимися миро-хозяйственными реалиями. Таким образом, находившиеся у власти движения могли лишь в малой степени контролировать эти важные для себя, пусть даже и незначительные, перемены к лучшему.

Однако существовал и другой тип аргументации, порождавший меньше трудностей для обладавших властью движений. Он основывался на надеждах и уверенности. Революционеры могли ссылаться на то, что всемирная волна освободительных движений набирает силу, и доказывать таким образом, что история стоит на их стороне. Они обещали, что если не нынешнее поколение, то его дети будут жить лучше, а если не дети, так внуки. Это был веский аргумент, и он, как мы теперь видим, помогал движениям сохранять власть на протяжении долгого времени. Вера сдвигает горы. Вера же в будущее способна сохранять у власти протестные движения до тех пор, пока не иссякнет.

Вера, как мы все знаем, подвержена сомнениям. В рассматриваемом случае сомнения подпитывались из двух источников. Первым были злоупотребления номенклатуры. Если движение находится у власти, то это значит, что у власти находятся его функционеры. Им тоже присуще все человеческое. Они хотят хорошо жить, и часто менее склонны ждать, чем народные массы. Поэтому коррупция, высокомерие, бюрократизм практически неизбежны, в особенности если отблески завершившейся революции становятся малозаметными. Руководящие кадры новой власти со временем все более походят на старорежимных функционеров, а то и оказываются даже хуже прежних. Это [перерождение] может занять пять лет, а может и двадцать пять, но оно происходит снова и снова.

И что тогда - революция против революционеров? Такое не случается быстро. Та же инертность, которая не позволяла в короткие сроки мобилизовать массы против прежнего режима, проявлялась и здесь. Одни лишь злоупотребления номенклатуры не могут отрешить от власти победившие движения. Для этого необходимы экономический крах и крушение надежд, связанных с перспективами общемировых процессов. Если это случается, «постреволюционная эпоха» за-канчивается, как закончилась она недавно в России, Алжире и ряде других стран. Вернемся теперь к лавинообразному процессу, происходящему в масштабах всей миро-системы. Уже упоминалось о долгой и сложной борьбе в период между 1870 и 1945 годами и о внезапном всемирном прорыве в 1945-1970 годах. Этот внезапный прорыв породил ощущение триумфа и имел одурманивающее воздействие. Он вдохновлял движения в самых сложных регионах, таких как Южная Африка. Однако самой трудной проблемой для движений становился их успех - не столько конкретных сил, сколько успех в мировом масштабе. Когда находившиеся у власти движения сталкивались с недовольством народа, вызванным несоответствием достигнутых результатов заявленному идеалу, они апеллировали к трудностям, порожденным могущественными внешними силами; и в большинстве случаев этот довод оказывался вполне обоснованным. Но по мере того как все новые и новые движения обретали власть в новых и новых

странах и при этом подчеркивали свою растущую коллективную мощь, объяснение текущих трудностей враждебностью внешнего окружения начинало терять свою убедительность. По меньшей мере, оно приходило в противоречие с тезисом, согласно которому история была явно на стороне этих движений.

Неудачи пришедших к власти движений стали одним из главных факторов, обусловивших всемирную революцию 1968 года. Внезапно повсюду послышались голоса желавших знать, обусловлены ли неудачи антисистемных движений действиями враждебных реакционных сил или сговором революционеров со сторонниками старого режима. Так называемые «старые левые» везде оказались под огнем критики. Ни в одной стране «третьего мира», где национально-освободительные движения стояли у власти, они не избежали такой критики. Не затронула она в основном лишь тех, кто еще не достиг власти.

Если революции 1968 года подорвали массовую поддержку движений, то миро-хозяйственная стагнация двух последующих десятилетий продолжила развенчание идеалов. В 1945-1970 годах, в эпоху триумфа движений, главным обещанием 40

выступало «национальное развитие», которое многие называли «социализмом». [Каждое] движение утверждало, что только оно может ускорить этот процесс и довести его до конца в той или иной стране. И в период между 1945 и 1970 годами эти обещания выглядели реалистичными на фоне всеобщего миро-хозяйственного подъема, а волна [прилива], как известно, способна поднимать все корабли.

Но лишь только подъем сменился спадом, как движения, стоявшие у власти на периферии миро-хозяйства, почувствовали свою неспособность предотвратить негативное влияние всемирной экономической стагнации на свои страны. Они оказались слабее, чем представлялось им самим и их народам, намного слабее. Утрата надежды догнать ведущие державы повсеместно, в одной стране за другой, оборачивалось утратой влияния самих движений. Они удерживались у власти, приторговывая надеждами и уверенностью. Пришло время платить за рухнувшие иллюзии и невыполненные обещания.

На фоне этого морального кризиса на поверхность всплыли мошенники, более известные под именем «чикагских мальчиков», которые в условиях возродившейся поддержки жесткой линии со стороны части политиков, влиятельных в рамках миро-системы в целом, стали предлагать всем в качестве лучшего средства магию рынка. Но «рынок» способен улучшить экономическое положение беднейших 75 процентов мирового населения не более, чем витамины могут излечить лейкемию. Мы имеем дело с надувательством, и мошенников скоро выгонят со двора, но только тогда, когда нанесенный ими ущерб станет явным.

И в эпицентре всех этих процессов возникло южноафриканское чудо, ставшее лучом света в мрачной картине мира. Оно как бы пришло из другой эпохи, став продолжением триумфа национально-освободительных движений 60-х годов; и случилось это там, где, по единодушному мнению, ситуация выглядела наиболее тяжелой и запущенной. Трансформация прошла очень быстро и оказалась поразительно гладкой. На Южную Африку и АНК оказалось возложено несправедливо тяжелое бремя. Им требовалось добиться успеха не только для самих себя, но и для нас всех. После Южной Африки уже 41

никто не сможет мобилизовать народные массы и породить всемирное движение солидарности. Последний шанс предоставляется сегодня самой идеологии антисистемных движений, словно мы все попали в чистилище в ожидании окончательного приговора истории.

Я не знаю, что случится в Южной Африке в ближайшие десять-пятнадцать лет. Да и кто может это знать? Но я полагаю, что ни южноафриканцам, ни кому-либо другому не следует возлагать на свои плечи все бремя мира. Бремя мира принадлежит всем. Южноафриканцам достаточно их собственного бремени вкупе с причитающейся им частью бремени мира. Вот почему я посвящаю заключительные слова этому всемирному бремени.

В практическом и теоретическом аспектах антисистемные движения суть естественный продукт трансформаций миро-системной геокультуры, начавшихся в 1789 году. Они не могли не быть продуктом этих трансформаций. И сколь бы критическую итоговую картину мы сегодня ни нарисовали (боюсь, что и я представил здесь нечто подобное), я не вижу никакой исторической альтернативы, которая в середине XIX века была бы лучше избранного пути. Не существовало никаких иных сил, способных освободить людей. И даже если антисистемные движения не обеспечили такого освобождения, то они, по крайней мере, уменьшили людские страдания и

громко заявили об альтернативном взгляде на мир. Кто из разумных людей не поверит, что сегодня Южная Африка стала лучше, чем она была десять лет назад? И кому следует воздать за это должное, если не национально-освободительному движению?

Главная проблема движений заключалась в их стратегии. Самой историей они были поставлены в безвыходное положение. Начиная с 1848 года существовала лишь одна цель, которая выглядела политически достижимой и давала надежду на быстрое улучшение ситуации. Этой целью было установление контроля над структурами государства, выступавшего основным регулирующим инструментом в миро-системе эпохи модернити. Но обретение власти в рамках миро-системы неизбежно вело к выхолащиванию антисистемных движений и утрате ими способности преобразовывать мир. Они оказа-

лись между Сциллой и Харибдой: выбор мог быть сделан лишь между немедленным пересмотром целей и неизбежным поражением в будущем. В надежде на то, что поражения удастся избежать, был выбран второй вариант. Могли ли люди поступить иначе?

Я рискну утверждать, что сегодня, как это ни парадоксально, общее поражение антисистемных движений, включающее в себя и неспособность национально-освободительных движений стать подлинно и в полной мере освободительными, порождает самую сильную надежду на позитивный характер тенденций, способных проявиться в ближайшие 25-50 лет. Чтобы всесторонне оценить это предположение, необходимо понять суть нынешней ситуации. Ибо то, что мы наблюдаем сегодня, представляется не окончательным триумфом мирового капитализма, а его первым и единственным подлинным кризисом.

Я хочу указать на четыре долгосрочные тенденции, каждая из которых приближается к своему пределу и каждая из которых крайне опасна для капиталистов, занятых бесконечным накоплением капитала. Первой из них, причем чаще всего выпадающей из поля зрения, является повсеместное разрушение сельского уклада жизни. Еще двести лет назад от 80 до 90 процентов населения - как мира в целом, так и практически каждой отдельной страны - было сельским. Сейчас эта доля сократилась до менее чем 50 процентов и продолжает падать. В ряде регионов сельские жители составляют не более 20 процентов населения, а в некоторых - около 5 процентов. Ну и что? - можете спросить вы. Разве урбанизация и модернити не являются почти синонимами? И разве не это должно было стать следствием так называемой промышленной революции? Конечно, это прописная истина социологии, с которой все мы хорошо знакомы.

Но такая трактовка искажает капиталистические реалии. Прибавочная стоимость всегда делится между владельцами капитала и трудящимися. Условия этого дележа имеют в конечном счете политическую природу, определяются силой и возможностями сторон. Капиталисты не могут избежать основного противоречия. Если в мировом масштабе вознаграж-

дение за труд окажется слишком низким, это сузит рынок, а согласно еще Адаму Смиту, степень разделения труда определяется развитостью рынка. Но если вознаграждение за труд станет излишне высоким, сократятся прибыли. Рабочие, и это вполне естественно, стремятся к увеличению своей доли, прибегая для этого к политической борьбе. С течением времени и по мере консолидации их сил трудящимся удастся продемонстрировать свои коллективные возможности и понизить масштабы прибылей, что неоднократно уже имело место в истории капиталистического миро-хозяйства. Капиталисты же могут бороться с требованиями рабочих лишь до известных пределов, ибо затем чрезмерное снижение реальной заработной платы начнет угрожать эффективному спросу на производимые ими товары. Наиболее удобным решением может стать сохранение за высокооплачиваемыми работниками возможности находить себе применение, а также вовлечение в совокупную мировую рабочую силу новых групп людей, не обладающих политическим влиянием и по ряду причин согласных получать крайне низкую заработную плату, что приводит к снижению средних издержек производства. На протяжении пяти столетий капиталисты постоянно рекрутировали этих людей в сельской местности и превращали их в городских пролетариев; при этом последние оставались низкооплачиваемыми работниками лишь некоторое время, в течение которого в рабочую силу вовлекались новые массы. Разрушение сельского уклада угрожает этому основополагающему процессу, подрывая способность капиталистов сохранять прежние масштабы прибылей.

Вторая долгосрочная тенденция - это то, что называют экологическим кризисом. Для капиталистов он несет опасность сокращения возможностей экстернализации издержек. И здесь мы вновь сталкиваемся с весьма симптоматичным процессом. Величина прибыли всегда отчасти

определялась тем, что капиталисты не возмещали полных издержек производства того или иного товара. Часть таковых «экстернализовалась», то есть пропорционально перекладывалась на широкие массы населения, а в конечном итоге и на все человечество. Когда химический завод сбрасывает отходы в реку, 44

очистные мероприятия (если они вообще осуществляются) обычно оплачиваются налогоплательщиками. Экологи все чаще отмечают сокращение территорий, которые еще можно загрязнить, массы деревьев, которые можно срубить, и т. д. Мир стоит сегодня перед выбором между экологической катастрофой или интернализацией издержек. Между тем увеличение издержек производства на сумму соответствующих затрат серьезно угрожает возможностям накопления капитала.

Третьей опасной для капиталистов тенденцией является демократизация мира. Мы уже упоминали о той инициированной в Европе в XIX веке программе уступок, которую теперь называют государством благосостояния. Она предполагает расходы на социальные нужды: ассигнования на нужды детей и престарелых, образование и медицинское обслуживание. Подобные программы могли реализовываться на протяжении долгого времени по двум причинам: требования получателей соответствующих благ были поначалу весьма скромными, а сама такая система была ограничена пределами Европы. Сегодня же аналогичных благ ожидают рабочие в самых разных регионах, а уровень их требований значительно повысился даже по сравнению с тем, каким он был пятьдесят лет назад. Естественно, деньги могут быть получены лишь за счет меньшего накопления капиталов. Ни раньше, ни сегодня демократизация не соответствовала и не соответствует интересам капиталистов.

Четвертым фактором становится смена прежних тенденций развития государственной власти прямо противоположными. На протяжении четырех столетий государства, игравшие роль инструмента, способного корректировать развитие миро-системы, обретали все большую власть как во внутренних, так и в международных делах. Это имело особое значение для капитала, несмотря на его антигосударственную риторику. Государства гарантировали порядок, но, что не менее важно, они гарантировали и существование монополий, являющихся важнейшим средством масштабного накопления капитала³.

Но государства уже не могут выполнять свою регулирующую функцию. Демократизация мира и экологические про-45

блемы породили исключительно высокие требования к государственным структурам, поставив большинство из них на грань фискального кризиса. Но, начав сокращать расходы ради достижения сбалансированного бюджета, государства ограничат свои регулирующие возможности. Это порочный круг, в котором каждая неудача государства вызывает снижение доверия к нему и подпитывает всеобщее нежелание платить налоги. Однако по мере снижения своей платежеспособности государство все менее способно выполнять свои задачи. Мы уже попали в этот заколдованный круг.

Именно здесь и проявляются все последствия поражения движений. Фактически именно они, причем даже в большей степени, чем любые другие факторы, политически поддерживали государство, особенно приходя к власти. Они обеспечивали нравственную основу для государственных структур. И по мере того как движения, не способные больше поддерживать в народе надежды и уверенность, теряли свою популярность, массы населения во все большей степени переходили на антиэтатистские позиции. Но государства не так нужны реформаторам и движениям, как капиталистам. Капиталистическая миро-система не может адекватно функционировать без сильных (разумеется, в неравной степени) государств, образующих устойчивую межгосударственную систему. Однако капиталисты не могут выдвигать этатистских требований по идеологическим соображениям, поскольку их легитимность зиждется на экономической эффективности и общем росте благосостояния, а не на порядке или гарантировании прибылей. В XX веке капиталисты еще более явно положились на движения, рассчитывая, что они способны от их имени осуществлять функции легитимизации государственных структур.

Сегодня движения не в силах исполнять эту роль. Даже если они и предпримут подобную попытку, народные массы не пойдут за ними. Потому мы и наблюдаем повсеместное возникновение негосударственных «групп», берущих на себя обеспечение самозащиты и заботу о собственном благосостоянии. Мы стоим на верном пути к глобальному хаосу. Налицо признаки

распада миро-системы модерни и капитализма как цивилизации. 46

Не следует сомневаться в том, что привилегированные группы попытаются сохранить свое особое положение. Но в силу названных причин столь же очевидно, что они могут достичь этого, лишь создав новый механизм регулирования системы. Мир находится на перепутье. Хаос сменится новым порядком, отличным от известного нам. Отличным, но не обязательно более совершенным. И в этой ситуации значение движений возрастает вновь. Привилегированные группы попытаются создать систему нового типа - отрицающую равенство, иерархическую, но устойчивую. На их стороне преимущества власти и денег, они располагают огромными интеллектуальными ресурсами. Они, безусловно, способны выступить с разумными и реализуемыми на практике предложениями. Могут ли движения, даже обновленные, соперничать с ними? Сегодня система находится в точке бифуркации. Ее разбалансированность очень сильна, а направление развития может быть определено самыми незначительными факторами. Задача освободительных движений, уже не обязательно являющихся национально-освободительными, состоит в том, чтобы серьезно проанализировать кризис системы, причины прежних неудач и оценить масштабы народного негодования, порождаемого прежде всего крахом старых движений. Пришло время утопистики (utopistics)* - интенсивного и беспристрастного анализа исторических альтернатив. Настал момент, когда социологи

* Утопистика - термин, предлагаемый И.Валлерстайном в противовес «утопии»: «Под утопистикой, изобретенным мною альтернативным понятием, - пишет он, - я понимаю нечто совершенно отличное [от утопии]. Утопистика представляет собой серьезное осмысление возможных альтернатив, предполагающее признание за иными возможными историческими системами внутренней рациональности. Это последовательная, рациональная и реалистичная оценка социальных систем, ограничений, с которыми они сталкиваются, и сфер, открытых человеческому творчеству... Утопистика направлена на сведение в единое целое того, как наука, нравственность и политика изображают наши цели, причем перспективные цели, а не вторичные и малозначительные задачи, скорее выступающие средствами [прогресса], чем его ориентирами» (Wallerstein, I. *Utopistics. Or, Historical Choices of the Twenty-First Century*. New York: New Press, 1998, pp. 1-2) - Прим. ред.

47

могут сказать свое веское слово, если, конечно, они того пожелают. Но для этого они должны забыть о прежних, порожденных реалиями XIX столетия концепциях, которые были воплощены в стратегиях антисистемных движений.

Решение этой задачи не может быть получено за день или неделю, но и не должно растягиваться на столетия. Ей следует посвятить ближайшие 25-50 лет, причем результаты в полной мере будут определяться вкладом, какой сегодня мы можем и готовы внести в этот процесс.

Глава третья. Возвышение Восточной Азии, или Миро-система в XXI веке*

С начала 70-х годов так называемое возвышение Восточной Азии стало важным предметом обсуждения среди исследователей эволюции миро-системы, независимо от того, интересовались ли они преимущественно миро-хозяйственными или геополитическими проблемами. При этом большинство из них обращали внимание, во-первых, на беспрецедентный (даже по сравнению с 60-ми годами) и фиксировавшийся всеми экономическими показателями рывок Японии; во-вторых, на последовавшее укрепление позиций так называемых «четырёх драконов»; и, с недавнего времени, на непрекращающийся экономический рост в Юго-Восточной Азии и Китайской Народной Республике. Относящиеся ко всему этому эмпирические свидетельства вполне очевидны; обсуждается в основном значимость происходящего.

Принимающая всемирный масштаб дискуссия концентрируется вокруг двух вопросов: 1) Как следует объяснять этот рост, особенно учитывая, что он относится к периоду, когда в других частях мира его темпы оказываются намного меньшими, а то и отрицательными? 2) Чем чревато для миро-системы XXI века экономическое возвышение Восточно-Азиатского региона?

* Основной доклад на симпозиуме «Перспективы капиталистической миро-системы в начале XXI века», организованном Институтом международных исследований Университета Мейдзи Гакин в рамках программы «Перспективы международных исследований», Токио, 23-24 января 1997 года.

49

Я хотел бы предложить обсудить эти вопросы в приведенной последовательности, так как они открывают пути к исследованию структуры и направлений эволюции современной миро-системы. Разумеется, ее структура и направления развития неразрывно связаны между собой. Поэтому, прежде чем оценивать эти направления, следует бегло рассмотреть некоторые общие посылки,

касающиеся структуры капиталистического миро-хозяйства. Мне хотелось бы вкратце повторить некоторые излагавшиеся уже мною ранее идеи в виде перечня тезисов, непосредственно относящихся к рассматриваемым вопросам:

- Миро-система модернизируется представляет собой капиталистическое миро-хозяйство, и это означает, что ею управляет стремление к безграничному накоплению капитала, которое иногда называют законом стоимости.
- Эта миро-система сформировалась на протяжении XVI века, и первоначально сложившееся в ней разделение труда вовлекло в ее состав большую часть Европы (за исключением Российской и Османской империй), а также отдельные части [обеих] Америк.
- Эта миро-система территориально расширялась многие столетия, последовательно инкорпорируя в принятую в ней систему разделения труда все новые регионы.
- Восточная Азия стала последним большим регионом из тех, которые были таким образом инкорпорированы, и это произошло лишь в середине XIX века, после чего миро-систему модернизировать можно было считать поистине всемирной, первой из миро-систем, которой удалось охватить весь земной шар.
- Капиталистическая миро-система представляет собой [совокупность] миро-хозяйства, определяемого отношениями центра и периферии, и политической структуры, состоящей из входящих в международную систему суверенных государств.
- Фундаментальные противоречия капиталистической системы проявляются на уровне глубинных процессов в череде циклических колебаний, служащих разрешению этих противоречий.

50

- Двумя наиболее важными циклическими колебаниями выступают 50-60-летние циклы Кондратьева, на протяжении которых основные источники прибыли перемещались из производственной сферы в финансовую и обратно, и 100-150-летние циклы гегемонии, определявшиеся подъемом и упадком сменявших друг друга «гарантов» мирового порядка, с присущими каждому из них особыми моделями доминирования.
- Эти циклические колебания приводили к постоянным, пусть медленным, но значительным, географическим сдвигам центров концентрации капиталов и власти, которые, однако, не отрицали существовавших внутри системы фундаментальных отношений неравенства.
- Эти циклы никогда не были строго симметричными, и каждый новый из них приносил незначительные, но важные структурные изменения в направлениях, определяющих исторические тенденции развития системы.
- Миро-система модернизируется, подобно любой системе, не может развиваться вечно и придет к своему концу, когда исторические тенденции приведут ее в точку, где колебания системы станут настолько масштабными и хаотичными, что окажутся несовместимыми с обеспечением жизнеспособности ее институтов. В случае достижения этой точки случится бифуркация, и как результат эпохи перехода (хаотического) система будет заменена одной или несколькими другими системами.

Исходя из приведенных посылок, анализ так называемого возвышения Восточной Азии представляется достаточно простым. Оно пришлось на нисходящую фазу кондратьевского цикла, на период, который в то же время находился в рамках нисходящей фазы цикла американской гегемонии. Относительно того, можно ли считать этот период также и началом эпохи перехода, до сих пор идут жаркие споры¹. Такой подход позволяет нам более предметно рассмотреть две поставленные выше проблемы: объяснить как нынешнюю, так и ранее имевшую место ситуацию в Восточной Азии, а также оценить важность возвышения этого региона для будущего. 51

Чем характеризуются нисходящие фазы кондратьевских циклов? Если сравнивать их с восходящими фазами, особенно заметны несколько черт. Прибыли в сфере производства снижаются, и крупные предприниматели стремятся перенести свою активность в финансовую сферу, в область спекуляций. Повсюду в мире падает потребность в наемном труде. Снижение прибылей в сфере производства ведет к передислокации производственных процессов, а снижение транзакционных издержек оказывается менее значимым, чем сокращение заработной платы и повышение эффективности управления. Ограниченность спроса на труд порождает жесткую конкуренцию между странами, выступающими центрами накопления [капитала], которые стремятся перенести проблему безработицы на соседей в той степени, в которой это только возможно. Последнее, в свою очередь, влечет за собой неустойчивость валютных курсов. Нетрудно показать, что все эти явления отчетливо наблюдаются на протяжении периода,

начавшегося в 1967-1973 годах и продолжающегося по сей день .

Для большинства регионов планеты такая нисходящая кондратьевская фаза выступает, если сравнивать ее с восходящей, как хозяйственный спад, как трудные времена. Однако подобный период никогда не бывает труден для всех. Во-первых, крупные капиталисты или, по меньшей мере, некоторые из них могут найти альтернативные возможности, использование которых способно повысить их индивидуальную норму накопления, И во-вторых, роль скоро одной из характеристик нисходящей фазы выступает передислокация производственной активности, вполне естественно оказывается то, что отдельные части миро-системы переживают явное улучшение общей хозяйственной ситуации и потому считают этот период благоприятным. Я говорю о «некоем регионе», так как только в редких случаях оказывается заранее известно, какой из них окажется в этой роли, и несколько регионов жестко конкурируют между собой за то, чтобы получить основные выгоды от передислокации. Однако совершенно естественно, что по-настоящему преуспеть может лишь один регион, поскольку масштабы перемещаемой производственной активности ограни-

чены, а производители экономически заинтересованы сконцентрировать ее в одном регионе. Ситуация, таким образом, предполагает возможность извлечения выгоды различными регионами, но допускает масштабный успех только одного из них. Следует напомнить, что еще совсем недавно, в 70-е годы, когда появилось понятие «новые индустриальные страны», большинство экспертов называли в качестве их наиболее заметных примеров Мексику, Бразилию, Южную Корею и Тайвань. Но в 80-е годы Мексика и Бразилия уже редко фигурировали в этом списке, и в 90-е мы слышим лишь о «возвышении Восточной Азии». Ясно, что именно этот регион извлек наибольшие выгоды из передислокации производства в условиях нисходящей фазы кондратьевского цикла.

Разумеется, следует объяснить и то, почему в привилегированном положении оказалась именно Восточная Азия, а не, скажем, Бразилия или Южная Азия. Некоторые исследователи связывают нынешние успехи региона с последними пятью столетиями его истории; говорится о значении революции Мейджи, порожденной, в свою очередь, коммерциализацией хозяйства в эпоху Эдо (Кавакацу Хита), или же о китайской системе повинностей (Такеши Хамашита). Однако можно уверенно утверждать, что по состоянию на 1945 год экономическая ситуация в Бразилии или в странах Южной Азии не слишком отличалась от восточноазиатской, и вполне можно было ожидать резкого роста влияния и этих регионов в послевоенном мире. Значительным отличием Восточной Азии от Бразилии и Южной Азии явилось ее позиционирование относительно «фронтов» холодной войны. Восточная Азия оказалась как бы на передовой, а два других региона - нет. Поэтому позиция Соединенных Штатов в отношении них была совершенно разной. Япония извлекла огромную экономическую выгоду из корейской войны, а также стала получателем прямой американской помощи. Южная Корея и Тайвань также поддерживались и прощались американцами в экономическом, политическом и военном отношениях по причинам, обусловленным холодной войной. Это различие, характерное для 1945-1970 годов, обернулось в 1970-1995 годах важнейшим преимуществом. 53

Экономические последствия успехов Восточной Азии изменили хозяйственную географию послевоенного мира. В 50-е годы Соединенные Штаты были единственным крупным центром накопления капитала. К 60-м годам еще одним таким центром вновь стала Западная Европа. В 70-е годы Япония (и в целом Восточная Азия) оказалась третьим подобным центром. Тем самым сформировалась так называемая триада. Успехи Западной Европы и Восточной Азии, разумеется, оставляли все меньшее место американским хозяйственным структурам; в той же мере ухудшалось и финансовое положение Соединенных Штатов. За 80-е годы США накопили гигантский внешний долг, вызванный их кейнсианской милитаристской политикой, и в 90-е им пришлось сокращать государственные расходы. В свою очередь, это заметно отразилось на их способности проводить военные операции. В частности, военный успех Соединенных Штатов в Персидском заливе был обусловлен финансированием их вооруженных сил четырьмя другими странами: Саудовской Аравией, Кувейтом, Германией и Японией.

Если взглянуть на более продолжительный период, на два столетия, прошедшие с 1789 по 1989 год, можно отметить еще одну важную черту миро-системы модернизировать, и в данном случае Восточная Азия также имеет важное значение. Мы имеем в виду историю политической стабилизации миро-системы. Начинается она с Французской революции . Последняя наложила на

капиталистическую миро-систему свой культурный отпечаток. Важнейшим и наиболее долгосрочным результатом революционных потрясений и последовавшего за ними наполеоновского периода стало широкое и впервые проявившееся признание двух основных вызванных ими к жизни положений: о естественности политических перемен и вытекающей отсюда их легитимизации, а также о происхождении суверенитета государств не из личностей правителя или законодателей, а из «народа», и вытекающее отсюда отрицание нравственной легитимности недемократических режимов.

Эти идеи были поистине революционными и опасными, угрожая любой существующей власти. Отныне все, кто обладал привилегиями в рамках сложившейся системы, вынуждены были принимать эти идеи в расчет и стремиться нейтрализовать их воздействие. Основным средством на этом пути стало создание и распространение идеологий, представляющих собой, по сути, политические стратегии противодействия широкому распространению подобных ценностей. Исторически сформировались три основных идеологии, три стратегии защиты. Первой из них, наиболее прямолинейной и четкой, был консерватизм, выросший из стремлений попросту отвергнуть эти популистские ценности как еретические. Либерализм возник как противостоящая консерватизму идеология, приверженцы которой считали его примитивной реакцией на брошенный вызов, обреченной на саморазрушение. Либералы говорили о необходимости структурировать популистские ценности, на словах признавая их легитимность, а на практике препятствуя их претворению в жизнь. Они шли к этому, утверждая, что осмысленная реализация таких ценностей требовала усилий специалистов и экспертов. Радикализм, или социализм, стал третьей идеологией, выделившейся из либерализма. Радикалов возмущала нерешительность либералов и не убеждали заверения специалистов об их мотивах и намерениях. Поэтому они подчеркивали значение общественного контроля за осуществляемыми переменами. Они также утверждали, что лишь резкая трансформация способна охладить дестабилизирующее общество народное возмущение и открыть путь к воссозданию гармоничной социальной реальности. Борьба между сторонниками этих трех идеологий была основным политическим сюжетом XIX и XX веков. Оценивая их противоборство с ретроспективных позиций, следует отметить две их характерные черты. Во-первых, ни одна из этих идеологий не была *на деле* антигосударственной, хотя использовавшаяся всеми тремя риторика свидетельствовала, казалось бы, об обратном. Движения, создававшиеся во имя любой из этих идеологий, во всех случаях стремились к обретению политической власти и, если им удавалось таковую достичь, использовали ее для достижения политических целей. Результатом стал непрекращающийся и весьма существенный рост государственной бюрократии, [сопровождавшийся] как расширением возможностей контроля государства над гражданами, так и появлением у правительств новых возможностей регулирования законодательства. Для обоснования такой практики использовался тезис о претворении в жизнь ценностей, популяризированных Французской революцией.

Во-вторых, нельзя не отметить, что в течение долгого периода - если быть более точным, между 1848 и 1968 годами - либерализм оставался доминирующим среди этих трех идеологий, определяя геокультуру миро-системы. Это подтверждается и тем, что с 1848 года (и до 1968-го) и консерваторы, и радикалы перестраивали практические и даже теоретические программы с целью представить свои идеологии как всего-навсего варианты политических программ либерального центра. Их отличия от либералов, первоначально фундаментальные и принципиальные, во все большей мере сводились к вопросу о темпах перемен: консерваторы ратовали за более медленные, радикалы - за быстрые, а либералы - за «оптимальные». Подобное сведение спора к обсуждению скорее темпа перемен, а не их содержания породило усиливавшееся с течением времени недовольство минимальным характером изменений, сопровождавших в среднесрочной перспективе смену правительств, особенно заметным, если эти изменения объявлялись «революционными».

Конечно, это не исчерпывает политической истории XIX и XX веков. Следует объяснить и то, почему реализация идей, обретших в эпоху Французской революции значительное влияние (столь значительное, что все основные политические силы вынуждены были в конце концов признать их в своей риторике), так успешно блокировалась на практике. Вряд ли этого легко было достичь. Тот период 1848-1968 годов, который я назвал эпохой успехов либерализма в миро-системной геокультуре (и, следовательно, периодом превалирования программы весьма умеренных

политических перемен, проводимых под контролем элит), был в то же время и периодом зарождения, подъема и даже триумфа так называемых «старых левых». Последние заявляли, что стремятся к разрушению системы, к продолжению начатой Французской революцией борьбы за достижение, на этот раз подлинных, свободы, равенства и братства. Несмотря на то что в начале XIX века идеалы Французской революции обрели значительное влияние, масштабное и постоянно растущее социальное неравенство делало политическую организацию народных масс исключительно сложной задачей. Они не имели ни влияния, ни денег, ни опытных кадров. Создание структур, способных впоследствии развиться в глобальную сеть массовых радикальных движений, требовало долгой, напряженной и трудной борьбы. Во второй половине XIX столетия началось медленное формирование бюрократических структур - профсоюзов, социалистических, рабочих и националистических партий - в основном в Европе и Северной Америке, хотя и в то время примеры такого рода встречались также в неевропейском мире*. На этом этапе проведение в парламент хотя бы одного представителя или успех хотя бы одной важной стачки казались достижением. Противостоявшие системе организации направляли свои усилия на создание групп профессиональных революционеров, мобилизацию широких масс на коллективные действия и подготовку их к политической борьбе.

На этот период пришлось и последнее значительное расширение миро-хозяйственной системы, включившей в себя в том числе и Восточную Азию. В те же годы происходил и последний акт масштабного политического подчинения периферии - колонизация Африки, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Кроме того, то было время первой впечатляющей демонстрации подлинных возможностей технического прогресса, способного оказать влияние на стандарты повседневной жизни: железные дороги, затем автомобили и самолеты; телеграф и телефон; электрическое освещение; радио; бытовая техника - все это поражало воображение и, как казалось, подтверждало осуществимость либеральной программы постепенного улучшения условий жизни всех и каждого.

* Значение, вкладываемое автором в понятие Европы, пояснено в примечании к стр. 237 гл. XI. - *Прим. ред.*

57

Если свести эти элементы воедино - эффективную организацию трудящихся классов в Европе и Северной Америке и их участие (пусть даже минимальное) в традиционной парламентской политике; начало роста уровня жизни европейских рабочих и достижение Европой своего максимального господства над миром, - нетрудно понять, почему триединая политическая программа, предложенная либералами европейским трудящимся (всеобщее избирательное право, государство благосостояния и формирование национальной идентичности, что иногда сочеталось с белым расизмом), смогла к началу XX века успокоить эти опасные классы.

Именно в этих условиях «Восток» начал свое политическое возвышение в масштабах миро-системы. Поражение, нанесенное Японией России в 1905 году, стало первым сигналом возможного отката европейской экспансии. Китайская революция 1911 года дала толчок к переустройству Средней империи - самого древнего и самого населенного государства в мире. В этом смысле Восточная Азия, последней инкорпорированная [в состав миро-системы], инициировала перелом в процессе европейского триумфализма⁴. Выдающийся лидер американского негритянского движения У.Э.Б.Дюбуа еще в 1900 году предположил, что XX столетие станет веком цветных. Он оказался совершенно прав. Опасные классы Европы были усмирены, но значительно более многочисленные опасные классы неевропейского мира в XX веке бросили мировому порядку новый вызов, пришедший на смену преодоленным опасностям XIX столетия.

Либералы предприняли героическую и, как вначале показалось, успешную попытку еще раз применить свою проверенную стратегию и к усмирению опасных классов неевропейского мира. С одной стороны, на мировой периферии национально-освободительные движения усиливались в организационном и политическом аспектах, оказывая все больший нажим на империалистические державы. Процесс этот был особенно мощным на протяжении двадцати пяти лет, последовавших за окончанием Второй мировой войны. С другой стороны, либералы выступили с масштабными программами самоопределения наций (аналогом всеобщего избира-

тельного права) и экономического развития отсталых стран (аналогом государства благосостояния), что, по их мнению, отвечало основным требованиям, исходившим от неевропейского мира.

В различных регионах планеты «старые левые» в 1945-1970 годах пришли к власти в основном на базе этих либеральных политических программ. В Европе и Северной Америке «старые левые» добились полной легитимизации своих партий и претворили в жизнь гораздо более радикальные, нежели предлагавшиеся ранее, идеи полной занятости и государства благосостояния. В оставшейся части мира национально-освободительные и коммунистические движения пришли к власти в значительном числе стран, достигнув своей ближайшей политической цели и развернув программы развития национальных экономик.

Однако результаты, достигнутые «старыми левыми», радикально отличались от всего того, чего стремились достичь в середине XIX века. Система не была разрушена. Демократический, открывающий перед всеми равные возможности мир не был построен. То, чего они добились, было в лучшем случае лишь половиной пирога, тем, что либералы предлагали еще в первой половине XIX столетия. И если «старые левые» и успокоились на этом, сочтя возможным действовать в рамках миро-системы, преследуя эволюционные и реформистские цели, то не потому, что они удовлетворились этой половиной. Отнюдь. Они приостановились потому, что свято верили в то, что находятся на пути к обретению всего пирога целиком. Народные массы уверовали в лучшее будущее своих детей, и именно это позволило движениям променять их революционный порыв на реформистское ёрзанье. Ведь людские надежда и вера основывались отнюдь не на обещаниях либералов и центристов, стремившихся умерить их демократическое рвение и не вызывавших доверия, но, скорее, на двух других обстоятельствах, первым из которых выступал сам факт того, что за столетие борьбы народные движения уже добыли половину пирога, вторым же становились заверения лидеров этих движений о том, что история находится на их стороне, а потому дальнейшие успехи несомненны. 59

Гениальность либералов заключалась в том, что они оказывались способны сдерживать народные массы, с одной стороны, пустыми посулами (в том числе и о том, что половина станет со временем целым пирогом), а с другой стороны, превращением противостоявших им движений (в особенности своих оппонентов радикально-социалистического толка) в свои собственные подвиги, которые, сами того [иногда] не желая, начали пропагандировать либеральную доктрину постепенных реформ, проводимых профессионалами и экспертами. Ограниченность либералов, однако, была не меньшей, чем их гениальность. В определенный момент неизбежно должно было проясниться, что половине пирога не дано стать целым, поскольку в таком случае капитализм не смог бы более существовать. И с наступлением этого момента поддержка «старых левых», этих радикально-социалистических реинкарнаций либерализма, обречена была исчезнуть. И такой момент настал. Его называют [эпохой] 1968-1989 годов. Здесь вновь заметны особенности Восточной Азии. Всемирная революция 1968 года проявилась всюду - в США и Франции, Германии и Италии, Чехословакии и Польше, Мексике и Сенегале, Тунисе и Индии, Китае и Японии. В каждой из стран были свои поводы для недовольства и выдвигались свои особые требования, но две темы рефреном проходили всюду: во-первых, осуждение миро-системы, в которой господствовали Соединенные Штаты, пусть и действовавшие в тайном сговоре со своим оппонентом, Советским Союзом; и, во-вторых, критика «старых левых» за их неудачи, и в особенности за то, что большинство организованных ими движений переродились, по существу, в проповедников либеральной доктрины.

Сами по себе драматические события 1968 года были заматы и забыты в последовавшие два-три года. Но всемирная революция 1968 года имела и такой прямой и долгосрочный результат, который ощущался на протяжении двух следующих десятилетий. Этим результатом стал крах либерального консенсуса и освобождение как консерваторов, так и радикалов из пут сладкоголосого либерализма. После 1968 года облик миро-системы вновь стал похож на тот, каким он был 60

в 1815-1848 годах, в период борьбы трех идеологий. Консерватизм ожил, зачастую выступая под обманчивым названием неолиберализма. Он оказался столь силен, что теперь вовсе не собирается представлять себя воплощением либерализма, а напротив, либерализм тщится выглядеть воплощением консерватизма. В то же время радикальные и социалистические движения также попытались возродиться в различных формах: от разнообразных и недолговечных вариантов маоизма в начале 70-х годов до так называемых «новых левых» движений (зеленых, борцов за [культурную] идентичность, радикальных феминистов и т. д.), которые оказались более жизнеспособными, но не смогли полностью отринуть наследие либерализма в том его облике,

который существовал до 1968 года. Крах коммунизма в Восточной и Центральной Европе и распад СССР стали лишь последней точкой в критике того ложного радикализма, который был не более чем подобием прежнего либерализма.

Другой переменной, инициированной событиями 1968 года и потребовавшей для своего полного осуществления двух десятилетий, явилась утрата народами веры в грядущее улучшение своего положения и доверия к тем «старым левым» движениям, которые проповедовали эту веру в системе своих революционных взглядов. Надежда (и вера), что потомки широких народных масс унаследуют мир, была разбита, или, по меньшей мере, оказалась значительно поколебленной. К тому же на два десятилетия, последовавшие за 1968 годом, пришлось нисходящая фаза кондратьевского цикла. Период 1945-1970 годов стал самым впечатляющим примером восходящей фазы в истории капиталистического миро-хозяйства, в то же время будучи отмечен приходом к власти в самых разных регионах мира разнообразных антисистемных движений. Оба этих обстоятельства подпитывали иллюзорные надежду и веру в то, что все элементы капиталистической миро-системы могут «развиваться», что народы могут надеяться на скорое сокращение экономического и социального неравенства в масштабах миро-хозяйственной системы. Поэтому обусловленное нисходящей фазой разочарование оказалось особенно драматическим. 61

Эта нисходящая фаза цикла продемонстрировала узость тех рамок, которыми обусловлено так называемое экономическое развитие отсталых стран. Индустриализация, даже если ее осуществление и было возможным, сама по себе не приносила избавления. В большинстве случаев индустриализация в периферийных и полупериферийных регионах предполагала как бы избавление от груза; из центра в соответствующие страны перемещались производства, которые более не могли оставаться монополизированными и потому уже не обеспечивали высоких уровней прибыли. Это относится, в частности, к производству стали, не говоря о текстильной промышленности, которая была основной [в Европе] в конце XVIII века. Это относится и к тем секторам сферы услуг, деятельность в которых наиболее стандартизирована.

Между тем игры капиталистов, бросающихся от одного бизнеса к другому в поисках такого из них, который легче всего монополизировать, или такого, который приносит наибольшую прибыль, отнюдь не закончились. При этом всеобъемлющая экономическая и социальная поляризация не только не сократилась, но, напротив, резко интенсифицировалась. Насколько бы быстро ни развивались так называемые отсталые страны или регионы, другие развивались быстрее. Несомненно, позиции отдельных стран и регионов могут меняться, но подъем одних всегда означает относительный упадок других, если только предположить, что соотношение потенциалов отдельных укрупненных экономических регионов в рамках миро-хозяйства остается относительно стабильным.

Первые последствия нисходящей фазы кондратьевского цикла наиболее тяжело ударили по самым незащищенным регионам, таким как Африка. Весьма явным образом ощущались они и в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Восточной и Центральной Европе, странах бывшего СССР и Южной Азии. Пусть даже и намного более слабые, они были заметны даже в Северной Америке и Западной Европе. Единственной частью мира, почти не испытавшей на себе их негативного влияния, была Восточная Азия. Разумеется, когда говорят, что определенный регион ощутил негативное воздействие, это не означает, что все его жители пострадали в 62

равной степени. Отнюдь нет. В каждом из депрессивных регионов наблюдался рост внутренней поляризации; это значит, что нисходящая фаза цикла приносит с собой увеличение доходов и новые возможности накопления капитала для избранных, но не для большинства. И в этом отношении Восточная Азия или, по меньшей мере, ее часть оказалась менее подверженной нарастанию внутренней поляризации.

Рассмотрим политические последствия тех трудностей, с которыми столкнулась мировая экономика в 1970-1995 годах. В первую очередь эти проблемы дискредитировали «старых левых» и иные антисистемные силы - национально-освободительные движения в бывшем колониальном мире, народные движения в Латинской Америке, а также коммунистические партии в Восточной и Западной Европе и социал-демократические и лейбористские партии в Западной Европе и Северной Америке. Многие из них начали осознавать, что для политического выживания им следует стать еще более центристскими, чем прежде. Убедительность их обращений к народу стала гораздо меньшей, и настолько же уменьшилась их уверенность в собственных силах. Так

или иначе, в глазах обедневшего и раздраженного населения они вряд ли могут оставаться гарантами либерального реформизма. И поскольку они уже не в состоянии контролировать (что ранее они делали столь уверенно) политическую реакцию изменившегося электората, многие из них свернули с прежнего пути, впав в политическую апатию (являющуюся, однако, не более чем промежуточным пунктом), или обратились в сторону разного рода фундаментализма, а в некоторых случаях даже неофашизма. Сами же их народы вновь стали непредсказуемыми и потому, если судить с позиций существующей в масштабах миро-системы привилегированной страты, опасными.

Вторым политическим последствием стало то, что повсюду в мире народы повернулись против государства. Это новое отношение, безусловно, в значительной мере культивировалось возрождающимися консервативными силами, стремившимися воспользоваться представившейся им возможностью разрушить последние оплоты либерально-центристской 63 политической парадигмы, господствовавшей в мировой политике с 1848 по 1968 год. Но население, даже приняв такую позицию, как правило, не оказывает поддержки неким реакционным утопиям. Оно, скорее, выражает неверие в идею о том, что поступательные реформы [с их относящимся к будущему результатом] способны избавить их от страданий. И они повернулись против государства, выступавшего воплощением этого реформизма. Антигосударственный подход проявляется не только в неприятии роли государства в перераспределении благ, но и в негативном отношении к уровню налогообложения, а также к эффективности и мотивации блюстителей правопорядка. Он отражается и в возросшем недоверии к бюрократам и экспертам, которые столь долго считались посредниками либерального реформизма. Он проявляется и в растущем открытом пренебрежении к юридической практике и даже в криминализации, возникающей как форма протеста. Такая антигосударственная политика имеет кумулятивный эффект. Население, разочарованное отсутствием безопасности, стремится обеспечить ее собственными силами. В результате люди еще меньше хотят платить установленные налоги. Каждый такой шаг ослабляет государственную машину и создает дополнительные трудности в деле исполнения государством его функций, что, в свою очередь, делает исходное недовольство еще более обоснованным и приводит к еще большему неприятию государства. Сегодня, впервые со времен формирования миро-системы модернисты, мы переживаем период резкого снижения власти государства, причем в самых разных странах. Единственным регионом, еще не затронутым всплеском антигосударственных настроений, является именно Восточная Азия, ибо только этот регион на протяжении периода 1970-1995 годов еще не пережил сужения горизонтов своего хозяйственного прогресса, и, как следствие, только сюда еще не проникло разочарование в прогрессистской политике. Существование же в восточноазиатских государствах относительного внутреннего порядка лишь усиливает ощущение подъема Восточной Азии как у самих ее жителей, так и за ее пределами. Это обстоятельство может также служить 64

объяснению того факта, что восточноазиатские коммунистические государства стали единственными, пережившими коллапс, постигший остальные коммунистические страны начиная с 1989 года.

Выше я пытался рассмотреть прошлое и настоящее Восточной Азии в рамках миро-системы. Каким может быть ее будущее? Нет ничего менее определенного. Существуют два наиболее вероятных сценария. Миро-система может продолжить свое развитие на более или менее прежних основах и вступить в новую волну циклических изменений. Или же миро-система может достичь кризисной точки и подвергнуться радикальным структурным трансформациям, пережить направленный вовне или вовнутрь взрыв, влекущий за собой становление какой-либо новой исторической системы. В зависимости от того, какой из сценариев окажется реализованным, перспективы Восточной Азии могут быть весьма различными.

Если мы последуем первому сценарию и предположим, что происходящие ныне в миро-системе процессы представляют собой лишь ситуацию, раз за разом воспроизводящуюся на ранних стадиях упадка страны-гегемона, можно ожидать такого «нормального» набора событий, который можно резюмировать в следующих тезисах :

- В ближайшем будущем мы станем свидетелями очередной восходящей фазы кондратьевского цикла, в основе которой будут лежать новые виды продукции, производство которых началось в последние двадцать лет.

- Между Японией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами возникнет жесткая конкуренция за лидерство в производстве этой новой продукции.
- Одновременно обострится конкурентная борьба между Японией и Европейским Союзом за статус страны-гегемона, утрачиваемый Соединенными Штатами.
- Так как в ходе жесткой конкуренции триада обычно превращается в биполярную конструкцию, наиболее вероятным станет сближение Соединенных Штатов и Японии для противостояния Европейскому Союзу, сближение, основанное как на хозяйственных, так и на (что парадоксально) культурных факторах.

65

- Этот альянс вернет нас к классической модели противоборства державы, которая контролирует море и воздух и имеет поддержку со стороны прежнего гегемона, и сухопутной державы; и в этом случае геополитические и хозяйственные факторы дают основание предсказать в итоге победу Японии.
- Каждый член триады будет продолжать укреплять экономические и политические связи с определенными регионами: Соединенные Штаты - со странами Северной и Южной Америки, Япония - с Восточной и Юго-Восточной Азией, Европейский Союз - со странами Восточной и Центральной Европы и бывшего СССР.
- Наиболее сложными политическими проблемами в ходе этого геополитического реструктурирования стали бы инкорпорирование Китая в японско-американскую зону, а России - в зону Европейского Союза, причем условия, на которых такое инкорпорирование станет возможным, несомненно, могут быть выработаны.

В рамках такого сценария лет через пятьдесят можно ожидать серьезного обострения отношений между Европейским Союзом и Восточной Азией и, возможно, успеха Восточной Азии. Сможет ли Китай в этих условиях отнять у Японии доминирующую роль в новой структуре, остается неясным.

Я не хочу обсуждать этот сценарий дальше, так как нахожу его не слишком реалистичным. Точнее, я считаю, что движение в этом направлении уже началось и продолжится, но оно не дойдет до кажущегося «естественным» результата вследствие неизбежного структурного кризиса капиталистической миро-системы [именно] как системы. И в этом случае я также предпочту схематически изложить свои взгляды, поскольку уже имел возможность представить их более подробно⁶:

- Нельзя уверенно утверждать, чем завершится нынешняя нисходящая фаза кондратьевского цикла - кризисом или сползанием в болото, случится ли дефляционный крах или нет. Не думаю, что это очень важно, хотя, конечно, крах усугубил бы ситуацию. Однако, так или иначе, я полагаю, что мы приближаемся к периоду дефляции.

66

- Переход к восходящей фазе кондратьевского цикла требует помимо прочего расширяющегося эффективного спроса. Это предполагает, что некая часть населения планеты существенно повысит свою покупательную способность по сравнению с нынешним уровнем. Вполне вероятно, что она окажется сосредоточенной по большей мере именно в Восточной Азии.
- В любом случае реализация тенденции к росту потребует значительных производственных инвестиций, и легко предсказать, что они окажутся диспропорционально размещены в странах Севера, в то время как капиталовложения, направляющиеся в периферийные и полупериферийные регионы в поисках дешевой рабочей силы, существенно сократятся. Результатом станет дальнейшая маргинализация мирового «Юга».
- Дерурализация мира практически уничтожила традиционный компенсаторный механизм, заключавшийся во включении [в миро-систему] новых производственных регионов, и отныне связанные с оплатой труда издержки будут повсеместно расти в ущерб накоплению капитала.
- Серьезные экологические проблемы поставят правительства перед сложным выбором: либо сокращать иные статьи расходов и направлять средства на восстановление приемлемого уровня биологического равновесия и предотвращение его нарушения впредь, либо заставить предпринимателей интернализировать соответствующие издержки. Последнее резко сократит возможности накопления капитала. Первое же потребует либо более высокого налогообложения предприятий, что приведет к аналогичным последствиям, либо повышения налогов, взимаемых с населения, причем на фоне снижения качества предоставляемых государством услуг, что породит политические проблемы, особенно значительные в условиях того разочарования в государстве, о котором говорилось выше.

- Претензии населения к предоставляемым государством услугам, в особенности к образованию, здравоохранению и обеспечению минимального размера доходов, не ста-

67

нут ниже, даже если массы отвернутся от государства. Такова плата за «демократизацию».

- Маргинализированный «Юг» станет намного более нестабильным в политическом отношении, и угроза всемирной дезорганизации значительно обострится.

- Крах «старых левых» приведет к устранению наиболее эффективных сил, способных противостоять этим тенденциям к дезинтеграции.

Результатом всего этого могут стать долгие смутные времена, возникновение очагов гражданских войн (локальных, региональных и, возможно, даже принимающих мировой масштаб). Здесь сценарий завершается, ибо итоги подобного процесса подтолкнут к «поискам порядка» в противоположных направлениях (бифуркации) с их абсолютно непредсказуемыми последствиями. Географические рамки этого конфликта также вряд ли могут быть предсказаны заранее. Отдельные регионы могут в большей мере выиграть или больше пострадать, чем другие. Но какие именно? Восточная Азия? Я не берусь утверждать.

Итак, имело ли место возвышение Восточной Азии? Безусловно. Но сколь долгим оно будет? Продолжится оно десять, сто или тысячу лет? Является ли оно благом для всего мира или только лишь для самой Восточной Азии? Не существует, повторю еще раз, ничего менее определенного.

Кода. Так называемый азиатский кризис

Геополитика в исторической перспективе*

Политиков, журналистов, да и многих ученых то и дело возбуждают свежие заголовки периодических изданий. Можно лишь сожалеть по этому поводу, так как результатом становятся порой забавные и неадекватные оценки смысла и значения даже самых важных событий. Это относится и к падению коммунистических режимов, и к геополитическому вызову со стороны Садама Хусейна, и к так называемому азиатскому финансовому кризису. Осмысливая это «событие», полезно помнить о той многомерности социального времени, которая только и позволяет нам, как подчеркивал Фернан Бродель, анализировать существующую действительность достаточно реалистично.

Позвольте мне начать с примечательного редакционного комментария, помещенного в газете *Financial Times* от 16 февраля 1998 года (стр. 15):

В чем причина нынешнего упадка [восточноазиатских стран]? В значительной мере он объясняется непостоянством внешних инвесторов, которые вначале вели себя так, как если бы азиатские страны не могли совершить ни одной экономической ошибки, а затем так, как если бы они были неспособны сделать ни одного правильного шага...

Кредиторы в панике. Стремление наращивать инвестиции [в восточноазиатские страны] было столь всеобщим, что неопытные бизнесмены, действовавшие на основе государствен-

- Выступление на заседании Ассоциации международных исследований, Миннеаполис, штат Миннесота, США, 20 марта 1998 года.

69

ных гарантий, финансовые учреждения, а также продажные и некомпетентные политики не могли ему противостоять. Отток капиталов лишь усугубил последовавшее наказание; раздутость активов может регулироваться лишь национальными финансовыми институтами. Но по мере утечки капиталов, резкого обесценения местных валют и массового банкротства частных компаний государства оказались отданными на милость охваченных паникой частных и требовательных институциональных кредиторов...

Это мир паники. Как только она начинается, каждый инвестор стремится вывести свои средства раньше остальных. Это порождает ущерб, намного превосходящий тот, что мог бы проистекать непосредственно из сложившейся хозяйственной ситуации.

Следует обратить внимание на несколько пунктов этого анализа. Финансовый крах в Восточной Азии оценивается с точки зрения инвесторов, преимущественно иностранных, и в редакционном комментарии отмечается, что именно их паникой объясняется масштаб проблемы. Если внимательнее вчитаться в статью, можно понять, что в ней подразумеваются в первую очередь мелкие инвесторы, имеющие наименьшее политическое влияние и наиболее веские основания спастись как можно быстрее. Вторым характерным моментом оказывается то, что соображения геополитического характера вообще не представлены в данном анализе. И в-третьих, необходимо

отметить вывод, к которому приходят в *Financial Times*, вывод, едва ли не отвечающий стандартам политики левых сил:

Следует переосмыслить целесообразность излишне поспешной интеграции еще только формирующихся экономик в структуру глобальных финансовых рынков. Значение прямых иностранных инвестиций трудно переоценить. Однако упрощенный доступ частного сектора к краткосрочным займам может иметь роковые последствия. Только подготовленные и искусные навигаторы могут вести свой корабль в этом океане. В отсутствие надежного глобального кредитора, готового прийти на помощь, хрупкие формирующиеся экономики должны держаться поближе к берегу. 70

В первую очередь статья критикует новоявленную неолиберальную мудрость, коль скоро в ней говорится об «излишне поспешной интеграции еще только формирующихся экономик в структуру глобальных финансовых рынков». Затем она указывает, что миро-хозяйство является (всегда или только сегодня?) «океаном», в котором «могут вести свой корабль только подготовленные и искусные навигаторы». Из нее также следует, что необходимо опасаться «неопытных бизнесменов, действующих на основе государственных гарантий финансовых учреждений или продажных и некомпетентных политиков». Возможно, продажным политикам следует стать более компетентными. Наконец, в заключение констатируется отсутствие «надежного глобального кредитора», что может быть истолковано как намек на структурные финансовые слабости Соединенных Штатов, которые являются скорее не «надежным глобальным кредитором», способным помочь в случае необходимости, а крупнейшим в мире заемщиком, зависящим от Японии.

Несмотря на всю свою краткость, этот редакционный комментарий кажется более разумным, чем многие прогнозы текущей ситуации, поскольку он свободен от иллюзий о том, что для улучшения ситуации необходимо увеличить финансовые вливания со стороны Международного валютного фонда, и поскольку в нем подчеркивается проблема «паники». Паника никогда не относится к так называемой реальной экономике. Она возникает там, где есть спекуляция, то есть там, где группы людей обогащаются не за счет прибылей, полученных в производственном секторе, а при помощи финансовых махинаций. Циклическое чередование периодов, на протяжении которых основное внимание уделяется доходам то от производственной деятельности, то от финансовых операций является характерной чертой капиталистического миро-хозяйства¹, напоминающей нам о том, что объяснение происходящего следует искать в том, что мы находимся сейчас на нисходящей фазе кондратьевского цикла, продолжающейся с 1967-1973 годов.

Представляется полезным вспомнить некоторые факты из недавней хозяйственной истории миро-системы. Мы мо-71

жем оценить то, что произошло после 1967-1973 годов в двух регионах: с одной стороны, в ведущих странах, включающих США, Западную Европу (как единое целое) и Японию (именно Японию, а не Восточную Азию), и, с другой стороны, в полупериферийных и периферийных регионах, куда входят так называемые восточноазиатские тигры, Китай и Юго-Восточная Азия. Начнем с ведущих стран. Сущность нисходящей фазы кондратьевского цикла состоит в том, что производство превышает существующий эффективный спрос, и вследствие этого норма прибыли в производственной сфере снижается. Очевидным решением в мировом масштабе могло бы стать сокращение производства. Но кто решится первым пожертвовать собой? Обычной реакцией производителей на падение нормы прибыли оказывалось стремление либо *увеличить* масштабы производства (тем самым сохраняя общий объем прибыли при снижении ее *нормы*), либо перенести его в регионы с более низким уровнем реальной заработной платы (тем самым повышая норму прибыли). Нарращивание производства (первый вариант) в глобальном масштабе, несомненно, контрпродуктивно и не может быть продолжительным. Перемещение производственных мощностей (второй вариант) снимает проблему на более длительный срок, чем наращивание производства, однако лишь до тех пор, пока оно также не приведет к росту объемов производства без увеличения (или, по крайней мере, достаточного увеличения) эффективного спроса.

Именно это и имело место на протяжении последних тридцати лет. Мировое производство самых разных товаров (в том числе автомобилей, стали, электроники, а в последнее время и программного обеспечения) передислоцировалось из Северной Америки, Западной Европы и Японии в другие части планеты. Это породило высокую безработицу в ведущем регионе.

Безработица, впрочем, не обязательно распределена равномерно. На деле характерной чертой кондратьевского хозяйственного спада оказывается стремление правительств ведущих стран экспортировать безработицу друг к другу. Если взглянуть на эти тридцать лет, станет ясно, что Соединенные Штаты понесли наибольший ущерб вначале, в 72

70-е и особенно в начале 80-х годов; затем пришел черед Европы, и поныне не преодолевшей этих проблем, и лишь совсем недавно волна докатилась до Японии, проблемы которой, начиная с 1990 года, позволили уровню занятости в США вновь пойти вверх.

Тем временем инвесторы повсеместно были увлечены всевозможными финансовыми спекуляциями. Повышение цен на нефть в 70-е годы, инициированное ОПЕК, привело к колоссальным накоплениям, из которых были выделены кредиты странам «третьего мира». Эти кредиты в конечном счете сделали заемщиков беднее, но на протяжении целого десятилетия они поддерживали доходы ведущих стран, пока все это не закончилось так называемым долговым кризисом начала 80-х годов. За этой манипуляцией последовала новая эпопея, сочетавшая в себе займы правительства США (финансировавшие кейнсианскую политику Рейгана в военной сфере) и частных предпринимателей (выпускавших высокорискованные облигации) и продолжавшаяся до тех пор, пока снова не наступил кризис, определявшийся американским бюджетным дефицитом². Манипуляции 90-х заключались в притоке глобального капитала в виде «краткосрочных заимствований» в Восточную и Юго-Восточную Азию, который, как утверждает *Financial Times*, «может иметь роковые последствия».

В результате всех этих комбинаций некоторые нажили огромные состояния, тогда как многие другие потеряли последнее. Не слишком отставали от крупных капиталистов и прекрасно оплачивавшиеся яппи, которые добивались значительных успехов, если только оказывались в нужной стране в нужное время. Однако проблема по-прежнему заключалась в том, что большая часть прибылей проистекала из финансовых манипуляций. Пожалуй, единственной сферой, где прибыль извлекалась из производства, оставалась компьютерная отрасль, которая была самой «новой» в промышленности, но и здесь мы сегодня приближаемся к перепроизводству - с сопутствующим ему падением нормы прибыли, по крайней мере, в сфере производства самой компьютерной техники. Если обратиться к группе периферийных и полупериферий-

ных стран, то им нисходящая фаза кондратьевского цикла сулит как новые бедствия, так и новые возможности. Проблемой может стать сокращение рынков сбыта, в особенности сырьевых товаров, обусловленное общим снижением производства в мировом масштабе. К этому добавляется и повышение цен на нефть, которое на фоне сокращения производства в мировом масштабе ведет к росту импортных расходов периферийных стран. Сочетание сократившегося экспорта и возросших цен на импортные товары сделало исключительно сложной проблемой поддержание платежного баланса в этих странах (особенно в 70-е годы), что заставило их правительства обратиться к займам (обеспеченным сверхприбылями нефтеэкспортеров), а это и привело в последовавшее десятилетие к так называемому долговому кризису.

Но нисходящая фаза кондратьевского цикла открывает и новые возможности. Так как одним из ее важных эффектов является вынесение производственных мощностей за пределы ведущих стран, то страны периферии, а если быть точным, *некоторые* из них, извлекают из этого выгоду. Необходимо иметь в виду, что объемы перемещения производственных мощностей ограничены и что все страны периферии конкурируют друг с другом за право стать для них новой площадкой. В 70-е годы был изобретен новый термин - «новые индустриальные страны». В литературе того времени приводились четыре основных примера таких государств: Мексика, Бразилия, Южная Корея и Тайвань. К 80-м годам Мексика и Бразилия исчезли из списка, и стали говорить о «четырех драконах» - Корее, Тайване, Гонконге и Сингапуре. К 90-м годам появились признаки дальнейшего перемещения производства в страны, следующие за «четырьмя драконами», - в Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и (материковый) Китай. И теперь так называемый финансовый кризис поразил прежде всего эту последнюю группу стран, но затронул также и «четырех драконов». Известно, что и Япония испытывала определенные экономические трудности с самого начала 90-х годов, и алармисты предполагают, что нынешний кризис может распространиться и на Японию, а затем и далее, например в Соединенные Штаты. 74

В эту ситуацию вмешался Международный валютный фонд, пользующийся мощной поддержкой американского правительства; он предложил «решение», выработанное применительно к

долговому кризису начала 80-х годов: рекомендовать правительствам пораженных кризисом стран соединить жесткую финансовую и налоговую политику с еще более широким открытием национальных рынков для внешних инвесторов. Как отметил главный экономист Deutsche Bank в Токио, чьи слова были с одобрением процитированы самим Генри Киссинджером, МВФ действует «подобно врачу, специализирующемуся на лечении кори, но пытающемуся излечить все болезни одним и тем же лекарством».

Киссинджер указывает, что азиатские страны действовали в полном соответствии со «здравым смыслом» и что ни сами эти страны, ни мировые финансовые центры «не предполагали возможности кризиса». Что же стало его причиной? По мнению Киссинджера, сочетание «внутренних проблем и чрезмерной активности иностранных инвесторов и кредиторов [извлекавших] сверхприбыли... [из] рискованных инвестиций». В любом случае Киссинджер предупреждает, что рецепты МВФ, приводящие «к полному параличу национальной банковской системы [в странах], не обладающих системой социальной поддержки», имеют катастрофические последствия и ведут к политическим кризисам с их потенциально весьма негативным влиянием на положение Соединенных Штатов в миро-системе. Киссинджер адресует власть ИМУЩИМ следующее наставление:

Очевидно, что мировые лидеры нуждаются в более глубоком понимании глобальных направлений движения капиталов и их потенциального воздействия на экономики как промышленно развитых, так и развивающихся стран. И они должны в большей степени учитывать возможные международные последствия мер, принимаемых зачастую в контексте решения внутренних проблем.

Здесь Киссинджер выступает как политико-эконом, внимание которого сосредоточено на поддержании стабильности капиталистического миро-хозяйства как исторической 75 системы и который вполне осознает ограниченность политически допустимых масштабов поляризации, особенно в случае, если непосредственную причину ухудшения ситуации можно списать на финансовые спекуляции. Но, разумеется, он выступает и в роли водопроводчика, дающего совет, как ликвидировать протечку, и в этом своем качестве он не предлагает долгосрочного анализа.

Попытаемся оценить так называемый восточноазиатский кризис в трех аспектах: двух конъюнктурных и одном структурном. Только что мы представили его как проявление текущего кондратьевского цикла, пока еще не завершившегося. На нисходящей фазе этого цикла по некоторой причине (к ней мы еще обратимся) регион Восточной и Юго-Восточной Азии извлек наибольшие выгоды из передислокации производственных мощностей, вызванной хозяйственным спадом. Это означало, что, в отличие от других периферийных и полупериферийных регионов, в этих странах имело место резкое ускорение темпов роста и они казались преуспевающими, пока и их не поразил экономический кризис. Тогда в произошедшем нет ничего необычного или неожиданного. Разумеется, в этом случае следует забыть все восторженные речи по поводу восточноазиатских ценностей, ныне сменившиеся кислыми ремарками в адрес «коррупцированного капитализма». В 70-е и 80-е годы Восточная Азия поступала абсолютно правильно, привлекая изменявшую свою конфигурацию мировую промышленность. Нынешний кризис лишь доказал, что даже самые правильные шаги недостаточны для обеспечения долгосрочного, фундаментального улучшения экономических позиций региона в рамках миро-системы.

Но существует и другой цикл конъюнктуры, более продолжительный, чем кондратьевский. Это цикл гегемонии. Истоки продолжающегося и поныне цикла этого типа, отражающего подъем, а затем и упадок миро-системной гегемонии Соединенных Штатов, относятся не к 1945-му, а приблизительно к 1873 году. Он начался с долгого противоборства между США и Германией за право наследования лидирующего статуса Великобритании. Кульминацией этой борьбы явилась Тридцатилетняя война* между ними, шедшая с 1914 по 1945 год и закончившаяся победой Соединенных Штатов. За ней последовал период подлинной гегемонии, продолжавшийся с 1945 по 1967/73 год. Однако такая гегемония не может быть вечной. Ее основа, каковой является хозяйственное превосходство, неизбежно подрывается выходом на арену других сильных соперников, в данном случае Западной Европы и Японии. С этого времени имеет место относительно быстрый экономический упадок США, открывающий перед их конкурентами новые перспективы. До поры до времени США компенсировали его политическими методами, используя

угрозы «холодной войны», позволявшие держать союзников в определенных рамках. Однако такая возможность исчезла вместе с распадом Советского Союза в 1989-1991 годах. В силу различных причин Япония добилась в этот период даже больших успехов, нежели Западная Европа, - отчасти потому, что ее экономические механизмы были более «новыми» (эффект Гершенкрона), а отчасти потому, что американские компании считали более выгодным укреплять долгосрочные связи с Японией, а не с Западной Европой. Как бы то ни было, Япония, которую еще в 60-е годы американские эксперты сравнивали с Турцией⁴, превратилась в хозяйственную сверхдержаву. То, что «четыре дракона», а позднее и Юго-Восточная Азия, сумели добиться столь масштабных успехов в 80-е годы, объясняется их географической и экономической близостью к Японии (так называемый эффект гусяного клина). Через пять лет Таиланд, возможно, будет выглядеть не лучше Венесуэлы, а Корея - не лучше Бразилии, но Япония останется хозяйственной сверхдержавой, и в начале XXI века, в условиях новой восходящей фазы кондратьевского цикла, вполне сможет претендовать на роль важнейшего центра на-

* В данном случае автор подчеркивает историческое значение эпохи 1914-1945 годов, используя аналогию с событиями, традиционно называемыми Тридцатилетней войной (1618-1648 годы), результатом которых стала система соглашений, известная под названием Вестфальского договора (1648 год); в ней было впервые закреплено современное понятие государственного суверенитета и определены фундаментальные положения международного права, используемые и поныне. - *Прим. ред.*

77

копления капитала в масштабах миро-системы. Вопрос о том, сколь значительной окажется роль поднимающегося Китая в этом японско-восточноазиатском хозяйственном центре, пока не имеет ответа; эта роль является одним из основных факторов, придающих неопределенность современной геоэкономической и геополитической трансформации, новому циклу гегемонии и конкуренции между Японией (или Японией и Китаем) и Западной Европой за место лидера. С этой точки зрения так называемый восточноазиатский финансовый кризис представляется малозначительным и временным явлением, которое вряд ли остановит поступательный подъем Японии, или Японии и Китая, или Японии и Восточной Азии.

Если восточноазиатский кризис породит депрессию глобального масштаба, весьма вероятно, что Соединенные Штаты окажутся затронутыми ею в наибольшей степени. И даже если всем странам удастся перейти от последней субфазы нисходящей фазы кондратьевского цикла к началу его восходящей фазы, это может стать началом ежевековой дефляции, подобно тому, как это было в мировой экономике в XVII и XIX столетиях.

Наконец, существует еще и структурный аспект. Капиталистическое миро-хозяйство как историческая система существует с «длинного» XVI века. Любая историческая система проходит через три периода: становление, нормальное существование, или развитие, и структурный кризис. Каждый из них заслуживает отдельного анализа. Существует множество оснований полагать, что современная миро-система, в которой мы все живем, вступила в период структурного кризиса. Если это так, то мы вряд ли станем свидетелями полного развертывания нового цикла гегемонии. Япония может никогда не испытать своего звездного часа в качестве исторического преемника Соединенных Провинций*, Соединенного Коро-

* Соединенные Провинции - термин, традиционно используемый историками для совокупного обозначения семи суверенных государств: Голландии, Зеландии, Утрехта, Гельдерланда, Оверисселя, Фрисланда и Гронингена, существовавших в XVI-XVIII веках на территории современных Нидерландов; зачастую их называют также Голландией (Hollande, Holland), а их жителей - голландцами (hollandaises, Dutchmen); многие авторы не считают возможным рассматривать Соединенные Провинции в качестве единого государства (см., напр.: Braudel, F. 'Ya-t-il un "Etat" des Provinces-Unies?' en Braudel, F. *Civilisation materielle, economie et capitalisme XVe-XVIIIe siecle*, tome 3: *Le temps du monde*. Paris: Armand Colin, 1979, pp. 161-163).- *Прим. ред.*

78

левства и Соединенных Штатов. Без сомнения, мы сможем вступить в очередной кондратьевский цикл, однако его оптимистичная восходящая фаза непременно обострит структурный кризис, но не разрешит его.

В этом случае мы можем оказаться в состоянии, называемом учеными «бифуркацией», когда миро-система обретет «хаотический» характер, означающий на языке математики, что одновременно существует множество решений описывающих состояние миро-системы уравнений, а краткосрочные перспективы, как следствие, окажутся [принципиально] непредсказуемыми. Но именно из такого состояния родится некий новый «порядок», абсолютно неопределенный (в том смысле, что его пока невозможно предсказать), но зависящий от массы обстоятельств (в том смысле, что даже незначительные воздействия могут иметь кардинальное значение для системы, находящейся в состоянии кризиса). С этой точки зрения восточноазиатский кризис является своего рода знаменем. И не первым.

Первым была всемирная революция 1968 года. И на фоне рассуждений неолибералов об их способности восстановить стабильность системы восточноазиатский кризис может продемонстрировать всю бесплодность и неадекватность их идеологии. Именно это заставляет паниковать тех, кто, как *Financial Times* и Генри Киссинджер, озабочен политическими последствиями «паники» инвесторов. Они правы в своей критике МВФ, но им нечего нам предложить, поскольку они считают своей задачей обосновать непреходящий характер нынешней исторической системы, и потому должны ограничивать себя в оценке ее дилемм. Но ни одна система не может быть вечной, и тем более не может быть вечной та, которая породила величайшую экономическую и социальную поляризацию в истории человечества. 79

Глава четвертая. Государства? Суверенитет?

Дилеммы капиталистов переходной эпохи*

Как всем нам известно, спор об отношениях между государством и капиталистами имеет долгую историю. Позиции разнятся; одни исследователи обращают особое внимание на масштабы, в которых капиталисты, преследующие свои личные и коллективные интересы, манипулируют государством, другие подчеркивают степень независимости государства, относящегося к капиталистам как лишь к одной из социальных групп, пусть и имеющей свои особые интересы. Идут дебаты и по вопросу, в какой мере способны капиталисты избегать контроля со стороны государственной машины, и здесь многие сходятся в том, что их возможности в этой сфере значительно расширились в последние десятилетия с формированием транснациональных корпораций и [нарастанием процессов] так называемой глобализации.

Помимо этого, давно обсуждается и проблема отношений так называемых суверенных государств друг с другом. В этом случае спектр мнений простирается от тех, кто подчеркивает реальный характер суверенитета каждого из государств, до тех, кто весьма цинично оценивает способность слабых государств противостоять давлению (и льстивым речам) сильных. Эти споры чаще всего ведутся независимо от дискуссии по вопросу отношений между государством и капиталистами, словно речь идет о двух различных вопросах. Мне, однако,

* Основной доклад на конференции «Государство и суверенитет в мировой экономике», Калифорнийский университет в городе Ирвайн, штат Калифорния, США, 21-23 февраля 1997 года. 80

представляется весьма неперспективным обсуждать эти проблемы вне их связи друг с другом, что обусловлено особенностями структуры современной миро-системы.

Современная миро-система, существующая по меньшей мере на некоторой части земного шара начиная с длинного XVI века, представляет собой капиталистическое миро-хозяйство. Это подразумевает ряд положений. Система является капиталистической, если основным ее двигателем оказывается безграничное накопление капитала. Иногда это называют законом стоимости. Конечно, не все люди мотивированы именно этой целью, и лишь немногим удастся преуспеть в ее достижении. Но система имеет [все же] капиталистический характер, если те, кто вовлечен в подобную активность, в среднесрочной перспективе обнаруживают преобладание над теми, кто следует иным мотивам. Бесконечное накопление капитала требует, в свою очередь, непрерывно растущей ком-модификации чего бы то ни было, и капиталистическое миро-хозяйство должно демонстрировать постоянное развитие именно в этом направлении, что как раз и прослеживается в современной миро-системе.

Далее это порождает второе требование - необходимость объединения товаров в так называемые товарные цепочки - не только потому, что такие цепочки «эффективны» (в том смысле, что они минимизируют издержки производства), но и потому, что они исключают прозрачность (если воспользоваться терминологией Броделя). Закамуфлированный характер распределения прибавочной стоимости в условиях длинной товарной цепочки способен наиболее эффективно нейтрализовать политическую оппозицию, поскольку он скрывает реальное положение дел и причины резких диспропорций в распределении, обусловленных бесконечным накоплением капитала, причины той поляризации, которая сегодня заметна более, чем в любой предшествующей исторической системе.

Протяженность товарных цепочек определяет пределы миро-хозяйственного разделения труда. Сама же она определяется несколькими факторами: видом сырья, необходимого для производства, техническими характеристиками транс*.

порта и связи и - возможно, в наибольшей мере - мощью тех политических рычагов, которыми доминирующие силы капиталистического миро-хозяйства располагают для включения в него новых регионов. Я уже отмечал, что историческая география современной нам структуры характеризуется тремя главными моментами. Во-первых, это этап первичного формирования, продолжавшийся с 1450 по 1850 год, когда миросистема модерни охватила большую часть Европы (за исключением России и Османской империи), а также некоторые части Американского континента. Во-вторых, это мощная экспансия с 1750 по 1850 год, когда в систему были включены Россия, Османская империя, Южная и отдельные части Юго-Восточной Азии, значительные территории в Западной Африке, а также оставшаяся часть обеих Америк. В-третьих - последнее расширение в период 1850-1900 годов, когда в систему разделения труда были инкорпорированы Восточная Азия, ряд регионов Африки, не затронутые ранее этим процессом территории Юго-Восточной Азии и Океании. На этом этапе капиталистическое миро-хозяйство впервые обрело поистине глобальный характер. Оно стало первой исторической системой, географически охватившей весь земной шар.

Хотя сегодня стало модным говорить о глобализации как о феномене, относящемся самое раннее к 70-м годам XX столетия, на деле транснациональные товарные цепочки хорошо известны с тех времен, когда система лишь зарождалась, и приобрели глобальный характер еще во второй половине XIX века. Разумеется, прогресс технологий открыл возможности транспортировки огромных масс товаров на значительные расстояния, но я рискну утверждать, что структура и функционирование товарных цепочек не претерпели в XX веке кардинальных изменений, и таковые вряд ли произойдут даже под воздействием так называемой информационной революции. Тем не менее прогресс капиталистического миро-хозяйства на протяжении последних пяти столетий был беспрецедентным и впечатляющим, и нас, конечно, поражают все более совершенные машины и иные продукты прикладного научного знания, постоянно входящие в нашу жизнь. Экономисты-82

сты-неоклассики считают, что этот хозяйственный рост и этот технологический прогресс являются результатом предпринимательской деятельности капиталистов, и потому с устранением последних сохранившихся препятствий на пути безграничного накопления капитала мир будет становиться все более прекрасным, богатым и, следовательно, удовлетворенным. Неоклассики и их научные единомышленники рисуют будущее исключительно оптимистичным при условии, что их установки будут приняты, и крайне мрачным - в случае их полного или частичного неприятия. Но даже экономисты-неоклассики вынуждены будут признать, что последние пятьсот лет отнюдь не были периодом ничем не ограниченного «свободного движения факторов производства». Именно об этом свидетельствуют разговоры о «глобализации». Только сегодня наблюдаем мы это свободное, да и то не в полной мере, движение. Каким же образом предприниматели-буржуа достигали столь масштабных успехов задолго до последних десятилетий? Ведь с тем, что как класс они за несколько веков невиданно преуспели в накоплении капитала, согласны исследователи практически любой интеллектуальной и политической ориентации. Чтобы объяснить эту кажущуюся аномалию, нужно обратиться к тому разделу истории, который экономисты-неоклассики со времен Альфреда Маршалла пытаются старательно замалчивать, а именно - к политической и социальной истории. И здесь на сцену выходят государства. Современное государство представляется странным созданием хотя бы потому, что каждое из них считается суверенным, но существует в рамках межгосударственной системы. Я настаиваю на том, что политические структуры в некапиталистических системах функционировали иначе, что это были институты совершенно иного типа. Каковы же в таком случае особенности современного государства? Прежде всего, это его претензия на суверенитет. Суверенитет, как его определяют начиная с XVI века, - это требование, порождаемое не столько самим государством, сколько межгосударственной системой. Это по сути двуединое требование направлено как внутрь государства, так и вовне его. Обращенный 83

внутри государства суверенитет предполагает, что в рамках своих границ (которые, однако, должны быть четко определены и легитимизированы на уровне межгосударственной системы) государство имеет право проводить любую политику, которую полагает разумной, принимать любые законы, которые считает необходимыми, и при этом никто - ни отдельные индивиды, ни группы, ни внутригосударственные структуры - не вправе отказаться от их исполнения.

Суверенитет, обращенный вовне, предполагает, что никакое иное государство не имеет права претендовать - ни прямо, ни опосредованно - на полномочия данного государства [, осуществляемые им] в пределах собственных границ, поскольку такая попытка означала бы покушение на его суверенитет. Разумеется, и прежние государственные образования стремились к обретению всей полноты власти в своих пределах, но «суверенитет» предполагает еще и признание правомочности таких требований каждого из входящих в межгосударственную систему государств со стороны остальных. Таким образом, суверенитет в современном мире предполагает взаимность. Однако достаточно лишь изложить эти условия на бумаге, как станет ясно, сколь отличаются они от реальной картины функционирования современного мира. Ни одно современное государство практически никогда не становилось полным сувереном даже в своих пределах, так как всегда ощущало сопротивление действиям власти. На деле такое сопротивление привело большинство государств к институционализации юридических границ внутреннего суверенитета, прежде всего в форме конституционного права. В такой же мере ни одно государство не реализовывало все свои суверенные права и во внешней политике; вмешательство одного государства в дела другого было и остается обычной практикой, да и весь кодекс международного права (опора, впрочем, довольно шаткая) представляет собой не что иное, как совокупность ограничений внешнего суверенитета. В то же время сильные государства печально известны тем, что далеко не всегда проявляют должное уважение к суверенитету⁷ слабых. Почему же столь абсурдная идея выдвигается на первый план? И почему можно утверждать, что требование суверенитета выступает 84

политической особенностью современной миро-системы, отличающей ее от других ее типов? Концепция суверенитета сложилась в Западной Европе в то время, когда государственные структуры оставались еще крайне слабыми. Бюрократический аппарат государств был немногочислен и неэффективен, их вооруженные силы зачастую выходили из-под контроля, а наличие сильной местной власти и накладывавшиеся друг на друга юрисдикции лишь усугубляли ситуацию. Сбалансированная система начала складываться лишь в так называемых новых монархиях в конце XV века, и это были ее первые шаги. Доктрина абсолютной власти монархов была теоретическим выражением требований слабых правителей, надеявшихся установить прозрачную утопию. За их стремлением выступать в роли арбитров скрывалась реальная беспомощность. Современная дипломатия, признающая принцип экстерриториальности и провозглашающая дипломатическую неприкосновенность, была изобретена в Италии эпохи Возрождения и распространилась по всей Европе лишь в XVI столетии. Создание хоть как-то организованной межгосударственной системы заняло почти целое столетие и завершилось в 1648 году подписанием Вестфальского мира.

История последних пяти столетий отмечена медленным, но поступательным нарастанием - на фоне развития капиталистического миро-хозяйства - как внутренней мощи [отдельных] государств, так и полномочий межгосударственных институтов. Не будем, однако, преувеличивать масштабы этого процесса. Все эти структуры, начав свое развитие чуть ли не с нуля, достигли определенных позиций, далеких, впрочем, от того, что можно было бы назвать абсолютной властью. При этом некоторые государства (которые называют сильными) всегда обладали более внушительным внутренним и внешним могуществом, чем большинство прочих. Здесь, разумеется, следует уточнить, что понимается под могуществом. Могущество - это не напыщенные речи и не юридически безграничная власть. Могущество измеряется результатами; оно определяется достижением целей. Действительно могущественные люди могут быть (и чаще всего бывают) тихими, почти-85

тельными, спокойно делающими свое дело; по-настоящему наделенные могуществом преуспевают. К таким людям прислушиваются даже в тех вопросах, на которые не распространяется их легитимность. Их угрозы применить силу нередко делают ненужным ее применение. Те, кто обладает могуществом и властью, следуют принципам Макиавелли. Они понимают, что их свобода применить силу в будущем уменьшается пропорционально масштабам ее применения в настоящем, и поэтому они пользуются ею ограниченно и разумно. Такая политическая структура, предполагавшая существование суверенных государств в рамках межгосударственной системы и наделявшая как государства, так и межгосударственную систему ограниченной властью, вполне отвечала потребностям предпринимателей-капиталистов. Ибо что необходимо людям для достижения цели, если она заключается в бесконечном накоплении

капитала? Или, говоря иначе, что нужно им для этого, кроме свободного рынка? Могут ли они еще завиднее процветать в мире, где вообще не существует никакой политической власти? Ответ на этот вопрос очевиден, ведь ни один капиталист и ни один апологет капитализма - даже Милтон Фридман или Эйн Рэнд - никогда не высказывал подобного пожелания. Максимум, на чем они настаивали, - это наличие такого государства, которое играло бы, если можно так выразиться, роль ночного сторожа.

А чем занимается ночной сторож? Он сидит в укромном месте, изнывает от безделья, перекладывает из руки в руку дубинку или вертит револьвер, когда не спит, и ждет. Призванный отпугивать незваных гостей, вознамерившихся что-нибудь украсть, он достигает цели одним лишь своим присутствием. Такова основная задача, вытекающая из универсального требования защиты прав собственности. Ведь бессмысленно наживать капитал, если его нельзя сохранить. Помимо рыночных операций, предприниматели могут потерять накопленный капитал в трех случаях. Он может быть украден, конфискован или обложен налогами. Воровство в той или иной его форме остается вечной проблемой. До формирования современной миро-системы главным средством защиты от краж было создание частных служб безопасности. 86

Это оставалось актуальным и на ранних этапах развития капитализма. Существует, однако, и альтернатива, состоящая в делегировании функции защиты от грабителей государству; в самом общем виде это может быть названо полицейской функцией. Экономические преимущества такой альтернативы великолепно описаны в книге Фредерика Лэйна «Выгоды власти», где он вводит понятие «рента с защищенности», применяя его для описания доходов, возросших вследствие этой исторической смены функций, и отмечая, что из этого нововведения некоторые предприниматели (жившие в «сильных» государствах) извлекли гораздо большие преимущества, чем все прочие. Однако для по-настоящему богатых людей кражи всегда представляли меньшую проблему, чем конфискация. В условиях докапиталистических обществ таковая неизменно оказывалась важнейшим политическим и экономическим оружием в руках правителей, особенно наиболее могущественных. Конфискации оставались одним из самых мощных средств, препятствовавших буржуа излишне увлечься безграничным накоплением капитала. Именно поэтому признание практики конфискаций нелегитимной не только через упорядочение прав собственности, но и через утверждение «верховенства закона» стало необходимым условием формирования капиталистической системы. Следует заметить, что конфискация была широко распространена и в период становления современной миро-системы, осуществляясь если и не прямо, то опосредованно, через банкротства государств (достаточно вспомнить четыре последовательных банкротства испанских Габсбургов), и даже в XX веке, когда она приняла форму конфискации через национализацию. Однако удивляет не то, как широко применялась конфискация, а, напротив, то, сколь редко к ней прибегали. Ни в одной иной миро-системе интересы капиталистов не были так защищены, и с течением времени степень их защищенности лишь возрастала. Подчас и национализация проводилась «с компенсацией», а нередко, как известно, за ней следовала денационализация, что с системной точки зрения придавало конфискациям временный характер. В любом случае, последовательное утверждение 87

принципа законности обеспечивало предсказуемость уровня ожидаемых в будущем доходов, а это открывало перед капиталистами возможность для более продуманных инвестиций, приносящих в конечном итоге более высокие прибыли.

Что касается налогообложения, то, конечно, платить налоги не хочется никому, однако капиталисты как класс никогда не противились разумному, с их точки зрения, налогообложению. Для них такое налогообложение представляло собой покупку услуг государства. Как и в любом ином случае, капиталисты предпочитают платить самую низкую цену, но при этом прекрасно отдают себе отчет в том, что такие услуги не будут бесплатными. Кроме того, установленные налоги - это совсем не то же самое, что и налоги уплаченные. Справедливости ради, однако, следует сказать, что за столетия существования капиталистического миро-хозяйства реальный уровень налогообложения возрос, но причиной тому был рост объема государственных услуг. Нет никакой уверенности в том, что капиталистам было бы выгоднее непосредственно самим платить за эти необходимые им услуги. Более того, я настаиваю, что относительно высокие ставки налогов выгодны крупным капиталистам, поскольку значительная, если не большая часть этих денег так или иначе возвращается к ним, ибо налогообложение служит способом перераспределения добавленной стоимости от трудящихся и мелких фирм к крупным капиталистам.

В каких же услугах государства нуждаются капиталисты? Первой и наиболее важной из них является защита от свободного рынка. Свободный рынок - это смертельный враг накопления капитала. Гипотетический свободный рынок, который так дорог авторам экономических трактатов, рынок множества покупателей и продавцов, обладающих достоверной информацией, был бы для капиталистов катастрофой. Кто способен заработать в таких условиях? Доходы капиталистов свелись бы к доходу гипотетического пролетария XIX века, определяясь действием «железного закона прибыли в условиях свободного рынка», и едва позволяли бы им сводить концы с концами. На самом деле этого не происходит, поскольку реально существующий ныне рынок отнюдь не свободен. 88

Очевидно, что любой производитель может увеличивать свою прибыль в той мере, в какой он монополизирует рынок. Но свободный рынок подрывает монополии, о чем всегда говорили капиталисты. Если операция выгодна, а монополизированные операции выгодны по определению, то и другие предприниматели, если смогут, выйдут на рынок, снижая тем самым цену реализации того или иного товара. «Если смогут!» Сам по себе рынок создает лишь крайне незначительные препятствия для вступления на него новых игроков. Эти препятствия именуется эффективностью. Если новичок способен обеспечить уровень эффективности, соответствующий сложившемуся на рынке, он будет радостно принят. Реальным же ограничителем входа на рынок является деятельность государства или, скорее, государства.

В распоряжении государств имеются три основных механизма, видоизменяющих характер рыночных сделок. Наиболее очевидным являются юридические рамки. Государства могут учреждать и запрещать монополии, равно как и устанавливать квоты. Наиболее широко используются запреты на импортно-экспортные операции и, что даже более важно, патенты. Переименование монополий во [владельцев] «интеллектуальной собственности» происходит в надежде, что никто не заметит, насколько несовместимо это последнее понятие с представлениями о свободном рынке, или, напротив, позволяет осознать, в какой мере несовместимо с этими представлениями понятие собственности. В конечном итоге даже классическая формула грабителя «Кошелек или жизнь!» предлагает альтернативу, характерную и для свободного рынка. То же самое относится и к угрозам террориста: «Сделайте так, а не то...».

Прямые запреты также важны для предпринимателей, но они противоречат основной линии риторики; поэтому по политическим соображениям ими стараются не злоупотреблять. Государство может создавать монополии и иными средствами, менее заметными и потому даже более важными. Например, оно способно с легкостью исказить рыночные условия. Поскольку рынок изначально благоприятствует наиболее эффективным производителям, а эффективность определяется сокращением издержек на производство единицы 89

продукции, государству достаточно принять на себя часть издержек предпринимателя. Это и происходит в случае предоставления каких-либо субсидий. Их можно выделить производителям определенных товаров. Но, что еще более важно, то же самое можно сделать во имя целого ряда предпринимателей, причем двумя способами. Государство способно создать так называемую инфраструктуру, что лишит предпринимателей потребности принимать на себя соответствующие издержки. Обычно такие действия обосновываются тем, что подобные издержки чересчур высоки для отдельных предпринимателей, и осуществляемые государством затраты представляют собой пропорциональное распределение расходов, направленных на достижение выгодных всем целей. Подобное объяснение предполагает, однако, что все предприниматели извлекают одинаковые выгоды, но на деле такое случается весьма редко: само собой разумеется, что это не относится к предпринимателям из разных стран, а весьма часто - и к представителям одного государства. Во всяком случае, затраты на создание инфраструктуры обычно ложатся не только на тех, кто ею пользуется, но на всех налогоплательщиков, а порой непропорциональная их часть приходится на тех, кто не собирается использовать открывающиеся возможности.

Но и прямое государственное финансирование инфраструктурных проектов - это не самый значительный канал предоставления предпринимателям помощи со стороны государства. Оно позволяет им не нести расходов по возмещению убытков, которые они наносят тому, что им не принадлежит. Если фабрикант загрязняет реку и не несет расходов ни на очистные сооружения, ни на восстановление изначальной чистоты воды, государство фактически разрешает переложить эти издержки на все общество, и хотя этот счет иногда не оплачивается долгие годы, когда-нибудь он все же будет предъявлен. Между тем непринятие соответствующих мер по отношению к

предпринимателю, предоставление ему возможности скрыть подлинные издержки само по себе есть большая субсидия.

Но дело на этом не заканчивается. Существует особая выгода быть предпринимателем из сильной по мировым меркам страны. Определенное позиционирование страны в меж-90 государственной системе дает предпринимателям явные преимущества. Мощные государства способны, например, препятствовать более слабым вводить особые, обладающие монопольным характером преференции собственным гражданам или местным предпринимателям. Это объясняется очень просто. Реальные прибыли такого размера, который открывает путь поистине безграничному накоплению капитала, возможны лишь в условиях монополии, независимо от срока ее существования. А такие монополии немыслимы без поддержки государства. Более того, само наличие множества стран, в совокупности составляющих межгосударственную систему, крайне выгодно для предпринимателей, так как рождает в них уверенность, что государства скорее придут к ним на помощь, чем переступят определенные границы и нанесут им вред. Специфическая межгосударственная система позволяет предпринимателям, в особенности крупным, перехитрить излишне самонадеянные государства, ища покровительства у других, равно как и использовать одну государственную машину для сдерживания другой.

Так мы подходим к пониманию третьего пути, посредством которого государства могут помешать свободному действию рыночных сил. Государства являются основными покупателями на своих национальных рынках, а наиболее крупные из них контролируют значимую часть спроса на мировом рынке. Нередко они оказываются монополистами или почти монополистами на рынке самых дорогих товаров, таких, например, как оружие и суперкомпьютеры. Конечно, они могли бы использовать это свое положение, чтобы снизить цены, по которым сами приобретают подобные товары, но вместо этого они чаще всего позволяют производителям монополизировать примерно равные доли рынка и бессовестно взвинчивать цены.

Но возникает вопрос, по какому поводу столь волновался Адам Смит? Разве он не выступал против участия государства в создании монополий? Разве он не призывал к реализации принципа невмешательства - «laissez faire, laissez passer»? Да, но до определенного предела. И тем более важно выяснить, какова тому причина. Конечно, монополия для одного - это яд для 91 других. И предприниматели в любой ситуации конкурируют прежде всего между собой. Поэтому, что вполне понятно, проигравшие яростно протестуют против допускаемых государством монополий. Адам Смит выступал идеологом этих бедных, несчастных неудачников. Однако как только им удастся уничтожить чуждые им монополии, они охотно начинают создавать собственные и перестают цитировать Адама Смита, предпочитая вместо этого спонсировать неоконсерваторов.

Конечно, монополии - это не единственная выгода, получаемая капиталистами от государства. Другая важная выгода, которая всегда бросается в глаза, - это поддержание порядка. Порядок внутри государства означает в первую очередь предотвращение выступлений трудящихся классов. И это нечто большее, чем исполнение полицейских функций, направленных на пресечение воровства; эта роль государства состоит в снижении эффективности классовой борьбы рабочих. Последнее достигается сочетанием силы, обмана и уступок. Либеральным мы считаем такое государство, в котором значение силы сокращается, а роль обмана и уступок возрастает. Такой механизм функционирует неплохо, но применим не везде, особенно в периферийных регионах миро-хозяйства, где прибавочный продукт слишком мал, чтобы позволить государству задействовать в ходе реализации уступок значительные средства. Даже в самых либеральных государствах существуют серьезные законодательные нормы, ограничивающие свободу действий трудящихся, и в целом эти ограничения намного строже тех, что одновременно налагаются на предпринимателей. Нет ни одной юридической системы, которая не носила бы классового характера, хотя после 1945 года в результате политической активности рабочих на протяжении последних двух столетий произошло некоторое улучшение ситуации. Именно против этого улучшения положения трудящихся классов и выступает неоконсервативная идеология, возрождающаяся повсюду в мире начиная с 70-х годов.

Каков же порядок на уровне межгосударственной системы? Шумпетер в одном из своих немногих наивных рассуждений настаивал на том, что нарушение нормальных отношений между государствами представляет собой негативное с точки

зрения предпринимателей явление и [выглядит] социальным атавизмом. Возможно, Шумпетер придерживался такой позиции и не вследствие наивности, а по причине явного нежелания принимать экономическую логику ленинского «империализма». В любом случае, мне представляется вполне очевидным, что капиталисты относятся к войне так же, как к налогам, и это отношение зависит от тех или иных обстоятельств. Некоторые из них могут считать войну против Садама Хусейна благом, сохраняющим им возможности для накопления капитала. Даже мировые войны выгодны капиталистам, особенно тем, кто служит победителям и находится далеко от передовой, а если говорить о поставщиках оружия, то даже независимо от того, какую из сторон они поддерживают.

В то же время Шумпетер придерживается и той важной позиции, согласно которой хаос в межгосударственных отношениях, если он становится масштабным или излишне затягивается, усложняет прогнозирование ситуации на рынках и ведет к непредсказуемым посягательствам на собственность. Он делает невозможными или по меньшей мере весьма затруднительными определенные виды трансакций, разрывая устоявшиеся товарные связи. Если бы миро-система постоянно находилась в состоянии «мировой войны», функционирование капитализма вряд ли было бы успешным. Государства призваны препятствовать этому. Можно даже признать полезным наличие доминирующей силы, способной привести в систему определенную организованность, повышающую предсказуемость ее функционирования и минимизирующую случайные потери. Но порядок, устанавливаемый этой доминирующей силой, всегда будет предполагать наличие привилегированной группы капиталистов. Этому не воспрепятствует даже сплоченность капиталистических классов. В итоге можно констатировать, что в определенные периоды времени и для отдельных капиталистов война является выгодной, хотя и не всегда. Я, разумеется, не хочу утверждать, что капиталисты, поодиночке или вместе, могут начинать и прекращать войны. Могушество капиталистов в капиталистическом миро-хозяйстве велико, но не безгранично. Не в их власти решать вопросы войны и мира. 93

Здесь следует обсудить вопрос так называемой автономии государств. Капиталисты стремятся к накоплению капитала. Политики по большей части хотят занять и сохранить те или иные должности. К ним можно относиться как к мелким предпринимателям, чья власть, однако, не определяется их собственным капиталом. Пребывание на государственном посту проистекает из поддержки прежде всего групп предпринимателей, но в то же время и широких слоев граждан, имеющих право голоса. Именно поддержка со стороны последних придает легитимность государственной структуре. Без такой легитимности, пусть даже минимальной, издержки удержания того или иного поста были бы крайне высокими, а государственная структура в долгосрочной перспективе вряд ли была бы стабильной.

Что обеспечивает легитимность государства в капиталистическом миро-хозяйстве? Конечно же, не справедливое распределение прибавочной стоимости и даже не справедливое исполнение законов. И даже если мы признаем, что государства умело используют мифы о своем происхождении, истории и добродетелях, следует задаться вопросом, почему люди в них верят. И это вовсе не праздный вопрос. Во всяком случае, известно, сколь часто случаются народные восстания, причем некоторые из них сопровождаются революционными процессами в культуре, что ставит под сомнение эти мифы.

Таким образом, понятие легитимности нуждается в пояснении. Созданная Вебером типология позволяет нам осознать различные способы легитимизации народами своих государств. То, что Вебер называл рационально-юридической легитимизацией, проповедуется, разумеется, идеологией либерализма. В значительной части современного мира эта форма стала преобладающей и остается таковой если не постоянно, то по крайней мере большую часть времени. Но почему она доминирует? Я настаиваю не только на важности этого вопроса, но и на том, что ответ на него далеко не самоочевиден. Мы живем в мире неравенства. Это мир нарастающей поляризации, где, даже несмотря на общий абсолютный рост материального благосостояния, представители наиболее бес-

94
печенных слоев общества во все большей степени отрываются от среднего класса. Почему же так много людей, кто мирится с таким положением вещей и даже приветствует его? На этот вопрос возможны, на мой взгляд, два ответа. Первый состоит в относительности обездоленности. Мы можем быть бедны или по меньшей мере недостаточно богаты, но *они* и

вправду бедны. Поэтому не будем раскачивать лодку и, что даже важнее, не дадим делать это другим. Важнейшая роль этой коллективной психологии широко признана - вне зависимости от того, одобряют ли ее те, кто говорит о широком среднем классе как основе демократической стабильности, или критикуют те, кто считает извращенным классовое сознание рабочей аристократии, и даже вне зависимости от того, рассматривается ли данный вопрос в рамках отдельных государств или всей миро-системы в целом. Это объяснение имеет структурный характер; можно сказать, что определенная коллективная психология проистекает из самой структуры капиталистического миро-хозяйства. Если последняя остается неизменной, то есть если сохраняется социальная иерархия, то и степень легитимизации, обусловленной этой структурой, должна оставаться постоянной. Но реалии социальной иерархии действительно остаются сегодня неизменными, и потому такой структурный подход не может объяснить новых форм легитимизации.

Существует, однако, и второй важный фактор, который объясняет сохраняющуюся легитимизацию государственных структур. Он более конъюнктурен и потому подвержен трансформациям; он и в самом деле изменяется. Степень легитимизации капиталистического миро-хозяйства до начала XIX века была весьма низкой, такой она остается и в конце XX века в большинстве районов мировой периферии. Казалось, что продолжающаяся коммодификация производственных транзакций несет с собой перемены, многие из которых, если не большая их часть, имели негативный характер с точки зрения непосредственных производителей. Однако после Французской революции ситуация стала меняться. Вряд ли уменьшилось отрицательное влияние коммодификации, по крайней мере для подавляющего большинства. Но недовольство 95 людей приняло такую форму, которая не предполагала обсуждения проблем суверенитета в контексте определения власти и законности. На повестку дня были поставлены вопросы: кто реализует эту власть? кто является сувереном? Если это не абсолютный монарх, то кто? Как известно, широкое распространение получил новый ответ на этот вопрос: *народ*. Заявить, что народ является сувереном, - значит не сказать ничего определенного, поскольку прежде следует выяснить, что представляет собой народ и каким образом он может реализовать свое право суверена. Но уже само положение, согласно которому имеет место такая сущность, как «народ», способный осуществлять суверенную власть, было крайне важным для реальных субъектов власти. В результате вокруг вопроса о том, как претворить в жизнь и [в то же время] обуздать использование народом его суверенитета, в XIX и XX веках поднялся большой политико-культурный шум.

История ограничения суверенитета народа есть история идеологии либерализма - ее создания, ее триумфа в XIX веке в качестве геокультуры капиталистического миро-хозяйства, развития ее способности превратить две конкурирующие идеологии (с одной стороны, консерватизм, с другой - радикализм и социализм) в собственные производные. Подробности этого процесса описаны мною в книге «После либерализма». Позвольте привести здесь основные положения. Либерализм преподносил себя как центристская доктрина. Либералы проповедовали желательность и неизбежность прогресса, достигаемого на путях рациональных реформ, контролируемых специалистами, которые способны на основе серьезного анализа провести в жизнь все необходимые преобразования, используя в качестве главного политического рычага государственную власть. Столкнувшись с решительными требованиями «опасных классов» XIX столетия - городского пролетариата Западной Европы и Северной Америки, - либералы предложили программу реформ, включавшую в себя три основных пункта: всеобщее избирательное право, создание элементов государства благосостояния и проповедь имевшего расовый оттенок национализма, способствовавшего политической консолидации. 96

Эта программа принесла впечатляющие результаты: к 1914 году ранее опасные классы - городской пролетариат Западной Европы и Северной Америки - уже не представляли угрозы. Но в это время либералы обнаружили, что им противостоят новые «опасные классы» - народные движения в остальной части мира. Поэтому в XX веке они попытались реализовать похожую программу реформ и на межгосударственном уровне. Самоопределение наций стало функциональным эквивалентом всеобщего избирательного права. Экономическое развитие отсталых стран было предложено как эквивалент государства благосостояния. Сформулировать же третий пункт программы оказалось невозможно, так как с точки зрения цивилизации в целом не существовало устойчивой группы, к которой можно было бы применить политику национализма и расовой

дискриминации.

Несмотря на это, предложенная в XX веке версия всемирного либерализма казалась успешно функционирующей в течение определенного времени, особенно в «славные» годы, наступившие после окончания Второй мировой войны. Данная политика дала сбой в 1968 году. Самоопределение наций не было главной проблемой. Однако всемирное перераспределение [богатства], пусть даже в скромных масштабах, серьезнейшим образом испытывало на прочность возможность бесконечного накопления капитала. При этом полностью отсутствовал третий пункт программы. В 70-е годы глобальный либерализм не казался больше жизнеспособным. Чтобы понять, сколь губительные последствия имело это для системы, следует разобраться в том, что предлагал либерализм и почему он так долго служил стабильности политической системы. Триединая программа, которую либералы использовали для обуздания опасных классов, не предлагала им того, чего они желали и чего изначально требовали, - реализации классического лозунга Французской революции «Свобода, равенство, братство», легко обобщившего эти требования. Если бы они были выполнены, капиталистическое миро-хозяйство перестало бы существовать в силу невозможности бесконечного накопления капитала. Поэтому предложения либералов [если так можно выразиться,] были поло-97

винчатыми или даже менее того: они отвечали интересам примерно одной седьмой части населения мира, того самого знаменитого среднего класса, которому и обеспечивался пристойный уровень жизни. И хотя при этом седьмая часть [населения мира] получала значительно больше благ, чем когда-либо прежде, ее доля оставалась заниженной, а оставшиеся шесть седьмых не получали почти ничего.

Столь незначительные уступки не могли существенно ограничить возможности накопления для крупных капиталистов, но реализовывали среднесрочную политическую задачу - погасить революционное брожение. Седьмая часть мирового населения, выигрывавшая в материальном отношении, проникалась благодарностью, особенно при сравнении своих жизненных условий с тем, как приходилось жить остальным. (Вспомните, как Тауни именовал талантливыми тех, «кто, прилагая все силы, стремился добраться до берега, нисколько не останавливаясь мыслью на идущих ко дну товарищах»¹.) Особенно интересна в данном контексте реакция тонущих, которые интерпретируют способность талантливых доплыть до берега как источник надежды для самих себя. Это психологически объяснимо, хотя логически непоследовательно.

Либерализм предлагал наркотик надежды, и он был проглочен. Не в последнюю очередь его проглотили и лидеры мировых антисистемных движений, которые мобилизовывали людей обещаниями надежды. Они утверждали, что построят справедливое общество на путях революции, но, разумеется, фактически имели в виду' реформы, которые намеревались в качестве специалистов развернуть после обретения контроля над рычагами государственной власти. Я полагаю, что если вы тонете и кто-то подает вам надежду, вполне разумно ухватиться за любое подобие спасательного круга. Оглядываясь назад, нельзя упрекать народные массы [в различных частях] мира за то, что они оказывали поддержку и отдавали свою нравственную энергию бесчисленным антисистемным движениям, выразившим их протест.

Власти предрержащие, сталкиваясь с многословными, энергичными и обличительными антисистемными движениями, могли реагировать одним из двух способов. Если они 98 были напуганы, а это случалось часто, они могли попытаться снести головы тем, кого считали ядовитыми змеями. Но поскольку эти твари, подобно гидре, имели много голов, более дальновидные защитники существующего положения вещей осознавали потребность в более тонкой реакции. Они пришли к пониманию того, что антисистемные движения, пусть и весьма странным образом, служили интересам системы. Мобилизовать массы - значило направить их в определенное русло, и обретение их лидерами государственной власти оказывало на последних весьма реакционное воздействие. Как только такие движения приходили к власти, они сами отвергали радикальные требования своих сторонников, причем делали это с не меньшей, если не большей суровостью, чем их предшественники. При этом убаюкивание надеждами оказывалось даже более эффективным, если исходило от проверенного революционного лидера. Народные массы верили, что если будущее принадлежит им, то можно немного подождать, особенно если им выпало жить в «прогрессивной» стране. По крайней мере их дети наверняка унаследуют весь мир. Потрясение 1968 года было более чем значительным. Оно заключалось в осознании того, что вся геокультура либерализма, и особенно насаждение исторического оптимизма антисистемными

движениями, оказалась ошибкой, даже мошенничеством, что юным поколениям народных масс не суждено унаследовать мир; на деле их жизнь может оказаться даже более трудной, чем жизнь их родителей. И потому люди начали охладевать к антисистемным движениям и, более того, к либеральному реформизму в целом, а соответственно - и к государственным структурам как инструменту улучшения жизни всех и каждого.

Вряд ли можно с легким сердцем сойти с проторенной тропы надежд. И, разумеется, шесть седьмых человечества не были готовы смириться с участью угнетенных и нереализовавшихся людей. Напротив. Когда приходится отказаться от испытанных источников надежды, человек ищет иные ее источники. Проблема в том, что их не так уж легко найти. Но дело обстоит еще хуже. Государства, возможно, и не обещали большинству населения планеты последовательного

улучше-99 ния его положения, но гарантировали определенный уровень сиюминутной безопасности и защиты от насилия. Однако если люди отказываются признавать легитимность государства, они вряд ли захотят повиноваться полиции и платить налоги. В свою очередь, у государств сокращаются возможности обеспечивать сиюминутную защиту от насилия. В результате как гражданам, так и компаниям приходится возвращаться к старым рецептам и самим обеспечивать собственную безопасность.

В той мере, в какой частная безопасность вновь становится важной проблемой общественной жизни, подрывается вера в торжество закона и, как следствие, разрушается гражданское сознание. Замкнутые группы становятся единственным надежным прибежищем (или возрождаются в этом своем качестве), проявляя при этом склонность к нетерпимости и насилию и стремясь контролировать свои «зоны ответственности». По мере роста межгруппового насилия власть обретает все более выраженный мафиозный характер - в том смысле, что сочетает использование силы для достижения безоговорочного подчинения внутри групп с грязной спекуляцией. Уже сегодня мы повсеместно наблюдаем это, а в ближайшие десятилетия нам придется сталкиваться с этим все чаще.

Враждебность по отношению к государству вошла сейчас в моду, и мода эта лишь набирает популярность. Антигосударственные положения, всегда наличествовавшие в консервативной, либеральной, а также радикальной и социалистической идеологиях, которыми [общественная] практика пренебрегала более 150 лет, находят сегодня громкий резонанс в поведении политиков любой партийной принадлежности. Довольны ли капиталисты таким положением вещей? Вряд ли, поскольку они нуждаются в государстве, причем в государстве сильном, в гораздо большей степени, чем это когда-либо признавалось в их официальной риторике.

Конечно, они не хотят давать странам периферии возможность вмешиваться в ход мирохозяйственных трансакций, и сегодня, когда антисистемные движения находятся в глубоком кризисе, крупные капиталисты способны использовать Международный валютный фонд и другие институты для 100

реализации этого своего предпочтения. Но одно дело, когда российское государство лишается возможности закрыть двери перед иностранными инвесторами, и совсем другое - когда оно не способно гарантировать личную безопасность посещающим Москву предпринимателям. В недавнем номере *CEPAL Review* Хуан Карлос Лерда весьма осторожно оценивает утрату правительствами их автономии в условиях глобализации. При этом он отмечает то, что считает позитивной стороной усиливающегося диктата мировых рыночных сил:

Феномен глобализации серьезно ограничивает свободу действий национальных правительств. Однако дисциплинирующая сила международной конкуренции, которая в значительной мере лежит в основе этого процесса, может благотворно повлиять на становление новых принципов публичной политики в странах региона. Таким образом, следует с осторожностью говорить о «потере автономии», поскольку на деле это может означать, скорее, желанное «снижение масштабов произвола», с которым иногда сопряжена публичная политика².

В этом суждении отражается то, что можно назвать официальной линией. Рынок объективен и поэтому способен «дисциплинировать». Дисциплинирует же он, видимо, всеобщий извращенный инстинкт принятия общественных решений на основе соображений, отличных от максимизации прибыли. Когда государства принимают общественные решения на подобной основе, они действуют по собственному произволу. Но как только государство пытается не допустить «произвола» там, где затрагиваются важные

интересы капиталистов, сразу же начинается шум. Когда в 1990 году крупнейшие финансовые институты США оказались на грани банкротства, Генри Кауфман писал в статье, помещенной на полосе редакционных материалов в *New York Times*:

Финансовые институты являются держателями и, следовательно, стражами сбережений и временно свободных средств американцев, приняв на себя исключительную социальную ответственность. Позволить рынку в полной мере дисциплинировать финансовую систему - значит молчаливо согласиться на лавину потенциальных банкротств³. 101

Здесь все написано черным по белому. Замечательно, когда рынок дисциплинирует произвольно действующие государства, но безответственно со стороны государства позволять этому самому рынку дисциплинировать банки. Решение общества сохранить систему социального обеспечения безответственно, а решение общества спасти банки - нет.

Всегда следует иметь в виду не только то, что монополия (или произвольные решения) одного человека [могут быть] губительны для другого, но и то, что капиталисты во множестве ситуаций зависят от вмешательства государств, что губительно любое реальное ослабление государственной власти. Следует признать, что глобализация не столь существенно, как это может показаться, влияет на свободу действий государств, да и не в интересах крупных капиталистов к этому стремиться. Однако государства, впервые за пятьсот лет, развиваются по нисходящей, теряя свой суверенитет, как внутренний, так и внешний. Это обусловлено не изменением миро-хозяйственных структур, но трансформацией геокультуры, и прежде всего утратой народными массами веры в либеральный реформизм и его последователей на левом фланге политического спектра.

Разумеется, геокультурные изменения оказываются следствием миро-хозяйственных трансформаций, и в первую очередь достижения системными противоречиями такого уровня, когда проблемы, коренящиеся в циклической природе процесса капиталистического [производства], уже не могут решаться за счет незначительных модификаций. Эти принципиальные системные противоречия включают, наряду с прочими, повсеместное разрушение сельского уклада жизни, достижение предела устойчивости экосистемы и кризис государственных финансов, вызванный политической демократизацией и сопутствующим ей ростом требований в сфере образования и здравоохранения.

Суверенитет государств - их способность самостоятельно вершить внутренние и внешние дела в рамках межгосударственной системы - выступает фундаментальной опорой капиталистического миро-хозяйства. Если она будет разрушена или хотя бы серьезно накренится, капитализм как система 102

окажется несостоятельным. Я считаю, что сегодня эта опора накренилась впервые в истории современной миро-системы. И это главный признак явного кризиса капитализма как исторической системы. Капиталисты - как каждый в отдельности, так и все вместе как класс - стоят перед необходимостью судьбоносного выбора: либо в полной мере извлечь сиюминутные выгоды из ослабления государств, либо попытаться сделать «текущий ремонт», чтобы возродить легитимность государственных структур, либо же направить свою энергию на строительство альтернативной системы. Несмотря на всю их риторику, дальновидные защитники существующего положения вещей сознают опасность ситуации. Пытаясь заставить всех нас обсуждать псевдопроблемы глобализации, они стараются представить себе, какой могла бы быть система, приходящая на смену капитализму, и как следует двигаться в этом направлении. Если мы не хотим жить в будущем, построенном на выдвигаемых ими принципах неравенства, нам следует задать себе тот же вопрос. Позвольте же мне резюмировать свою позицию. Капиталистическое миро-хозяйство нуждается в структуре, состоящей из государств, функционирующих в рамках межгосударственной системы. Эти государства критически важны для предпринимателей в первую очередь потому, что принимают на себя часть издержек производства, гарантируют квазимонополиям их устойчивые прибыли и поддерживают их усилия, направленные как на ограничение возможностей трудящихся классов защищать свои интересы, так и на смягчение недовольства народных масс за счет частичного перераспределения прибавочной стоимости. Однако эта историческая система, подобно любой другой, не лишена противоречий, и когда они достигают критического уровня (иными словами, когда нарушается равновесие), нормальное функционирование системы становится невозможным. Система достигает точки бифуркации. Существует множество признаков, что мы вплотную приблизились к этой точке. Разрушение

сельского уклада жизни, истощение экосистем и демократизация общества, каждое по-своему, ограничивают возможности накопления капитала. Этому способствует также и то, что впервые за последние пятьсот лет госу-103

дарства утрачивают свою власть - и не столько вследствие роста влияния транснациональных корпораций, как это часто утверждается, сколько в силу утраты легитимности, придаваемой государствам их народами, все более теряющими веру в последовательное улучшение своего положения. Государство еще остается значимым, прежде всего для предпринимателей. И поэтому потеря государствами их власти оборачивается серьезными испытаниями для транснациональных корпораций, которые впервые сталкиваются с долгосрочной тенденцией к снижению прибыли и уже не могут рассчитывать на то, что государства выручат их из беды.

Мы вступаем в период испытаний. Его последствия неопределенны. Мы не знаем, какой тип исторической системы придет на смену ныне существующему. Но мы наверняка знаем, что та своеобразная система, современниками которой мы являемся, система, в которой государства играли ключевую роль в обеспечении безграничного накопления капитала, не способна более функционировать.

Глава пятая. Экология и издержки производства при капитализме

Нет выхода*

Сегодня практически все согласны с тем, что природная среда, в которой мы живем, серьезно деградировала за последние тридцать лет, и в еще большей степени - за последнее столетие; о том же, в какой мере она разрушена за последние пятьсот лет, и говорить нечего. Все это происходит, несмотря на непрерывную цепь впечатляющих технологических изобретений и расширение научного знания, что, как можно предположить, должно было бы иметь прямо противоположные последствия. В результате сегодня, не в пример временам тридцати-, сто- или пятисотлетней давности, экология превратилась в серьезную политическую проблему во многих частях мира. Появились даже достаточно сильные политические движения, организованные во имя защиты окружающей среды от дальнейшего разрушения и, насколько это возможно, обращения существующих тенденций вспять.

Конечно, актуальность проблемы оценивается в наши дни по-разному - одни говорят о приближающемся конце света, другие считают, что вопрос можно быстро решить на чисто техническом уровне. На мой взгляд, большинство занимает позицию, которая находится между этими крайностями. Я не претендую на оценку данного вопроса с научной точки зрения. Я хочу лишь встать на эту промежуточную позицию как наиболее правдоподобную и обратиться к анализу значения этой проблемы для политической экономики миро-системы.

* Основной доклад на PEWS XXI, «Глобальная окружающая среда и миро-система», Калифорнийский университет в г. Санта-Крус, штат Калифорния, США, 3-5 апреля 1997 года. 105

Вселенная, разумеется, находится в процессе постоянного изменения, и отличие нынешней ситуации от прежней представляется банальным фактом, который сам по себе не заслуживает никакого внимания. Более того, именно в этом постоянном турбулентном движении имеют место те модели структурного обновления, которые мы и называем жизнью. Индивидуальное бытие живых, или органических, существ имеет начало и конец, но эти существа дают потомство, позволяющее поддерживать существование вида в целом. Подобное циклическое обновление, однако, никогда не бывает совершенным, и потому природная среда не остается статичной. Кроме того, все живые существа потребляют внешние по отношению к ним объекты, включающие зачастую и иные живые существа, причем соотношение хищников и жертв также не может быть совершенным, что порождает постоянные изменения биологического баланса. Кроме того, вредные вещества представляют собой вполне естественное явление, игравшее свою роль в экологическом балансе задолго до появления человека. Современные знания в химии и биологии, несомненно, намного обширнее, чем у наших предков, и, возможно, мы лучше осознаем присутствие токсинов в окружающей среде; но может быть, что это и не так: ведь сегодня становятся известными все новые и новые факты, свидетельствующие о том, как много знали люди о ядах и противоядиях еще до появления письменности. Все это становится нам известно еще в начальной и средней школе, а также из наблюдения различных жизненных ситуаций. Однако мы имеем обыкновение игнорировать очевидные обстоятельства, когда дело доходит до

экологической политики.

Вообще, подобные проблемы заслуживают обсуждения лишь в том случае, если мы уверены, что в последние годы происходит нечто особенное, нечто отличное от предыдущих периодов, что опасность нарастает, и мы полагаем, что этой растущей опасности следует противопоставить некоторые действия. Обоснования, обычно выдвигаемые «зелеными» и представителями других экологических движений, включают в себя оба аргумента: как указания на новые угрозы (исходящие, например, от озоновых дыр, парникового эффекта или 106 аварий на атомных станциях), так и [обоснования] возможности их преодоления. Как я уже отмечал, хотелось бы начать с тезиса о наличии свидетельств нарастающей угрозы, которая требует незамедлительной реакции. Однако прежде чем вырабатывать ответные меры, следует задать самим себе два вопроса: кому угрожает эта опасность и чем объясняется ее нарастание? Вопрос о том, кому угрожает опасность, в свою очередь, распадается на два: кому из людей и кому из живых существ? Первый вопрос поднимает проблему сравнения подходов [стран] Севера и Юга к экологическим проблемам, в то время как второй относится собственно к проблемам экологии. Оба подразумевают оценку природы капиталистической цивилизации и функционирования капиталистического миро-хозяйства; это означает, что анализ вопроса, кому угрожают происходящие изменения, следует предварить определением источника угрозы. Этот сюжет начинается с двух исходных признаков исторического капитализма. Один из них хорошо известен: капитализм представляет собой систему, насущная потребность которой заключается в расширении - как совокупного производства, так и собственных географических пределов, - что позволяет достигать основной цели - накопления капитала. Второй признак привлекает меньше внимания. Важным средством, позволяющим капиталистам, особенно крупным, накапливать капитал, является отказ платить по счетам. Именно это я называю «грязным секретом» капитализма.

Позвольте мне подробнее остановиться на этих двух моментах. Во-первых, непрекращающаяся экспансия капиталистического миро-хозяйства - общепризнанный факт. Апологеты капитализма превозносят эту экспансию как одно из великих достоинств капитализма. Люди же, обеспокоенные экологическими проблемами, считают ее одним из главных пороков капиталистического миро-хозяйства и особенное внимание уделяют одной из ее идеологических посылок, согласно которой «покорение природы» является естественным правом (если не обязанностью) человека. Разумеется, и экспансия, и покорение природы имели место и до того, как в XVI веке возникло капиталистическое миро-хозяйство. Но, 107

как и многие другие общественные явления, они не считались приоритетами в предыдущих исторических системах. Капитализм же выдвинул оба эти феномена - и саму экспансию, и ее идеологическое оправдание - на передний план, вследствие чего капиталисты смогли преодолеть общественное недовольство этим ужасным дуэтом. Именно в этом и состоит истинное различие между историческим капитализмом и предшествующими историческими системами. Ценности капиталистической цивилизации восходят к глубокой древности, но то же самое относится и к другим противоречивым ценностям. Под историческим капитализмом мы понимаем систему, в которой сложившиеся институты позволили капиталистическим ценностям стать приоритетными, направить миро-хозяйство по пути всеобщей коммодификации ради превращающегося в самоцель бесконечного накопления капитала.

Разумеется, последствия всего этого проявились не на следующий день и даже не спустя столетие. Экспансия имела кумулятивный эффект. Для вырубki деревьев требуется время. В Ирландии леса были вырублены в XVII столетии. Однако тогда в мире оставалось еще очень много растительности. Сегодня мы говорим о джунглях Амазонии как о последнем исконном лесном массиве, который также быстро сокращается. Для того чтобы слить токсины в реки или выпустить их в атмосферу, также нужно время. Всего пятьдесят лет тому назад слово «смог» было неологизмом, впервые использованным для обозначения необычного явления в Лос-Анджелесе. Оно призвано было описать жизнь в местности, где демонстрировалось полнейшее пренебрежение качеством жизни и высокой культурой. Сегодня смог распространен повсеместно; он отравляет Афины и Париж. Между тем капиталистическое миро-хозяйство с бешеным темпом продолжает свою экспансию. И если даже на нисходящей фазе кондратьевского цикла мы слышим о впечатляющих темпах роста в Восточной и Южной Азии, то чего следует ожидать в условиях нового кондратьевского подъема?

К тому же демократизация мира - а она действительно имеет место - означает, что эта экспансия остается чрезвычайно популярной на большей части планеты. Возможно, се-
108

го дня она даже более популярна, чем когда бы то ни было прежде. Ширится круг людей, требующих соблюдения своих прав, и одним из основных провозглашается право на кусок общего пирога. Но предоставление большинству жителей планеты их кусков пирога неизбежно означает расширение производства, причем не следует забывать о том, что в абсолютном выражении растет и численность населения земного шара. Таким образом, к экспансии стремятся не только капиталисты, но и простые люди. Это, однако, не мешает многим из них желать замедления деградации окружающей среды. Но это лишь доказывает наличие еще одного противоречия данной исторической системы. Многие люди хотят одновременно располагать как большим числом деревьев [на планете], так и большим количеством материальных благ для себя лично, и в их сознании эти стремления попросту разделяются.

Для капиталистов цель расширения производства состоит, как известно, в извлечении прибыли. Последнее предполагает производство ради обмена, а не ради потребления, и я не считаю эту отличительную черту капитализма преодоленной. Прибыль от каждой операции определяется разницей между ценой реализации продукции и ее себестоимостью, то есть суммарными затратами, необходимыми для доведения продукта до момента его продажи. Разумеется, реальные прибыли, извлекаемые из всех произведенных капиталистом операций, рассчитываются умножением указанной выше разницы на совокупный объем продаж. Следует отметить, что предел повышения цены реализации определяет «рынок», поскольку в какой-то момент цена может оказаться столь высокой, что прибыль от продажи соответствующего объема продукции становится меньшей, чем если бы цена была ниже [а объем продаж больше].

Но что определяет предел совокупных издержек? Крайне важную роль в этом играют цены на труд, причем на труд, затрачиваемый на всех этапах производства. Между тем рыночная цена труда зависит не только от соотношения спроса и предложения на рынке рабочей силы, но и от способности трудящихся отстаивать свои требования. Предмет этот весьма сложен, и указанная способность определяется множе-
109

ством факторов. Следует, однако, отметить, что на протяжении всей истории капиталистического миро-хозяйства конкурентные возможности трудящихся неизменно возрастали, причем независимо от случившихся циклических подъемов и спадов. Сегодня, вступая в XXI век, мы находимся накануне нового периода их роста, вызванного дерурализацией* мира.

Дерурализация исключительно важна для определения цены рабочей силы. Резервные армии труда отличаются друг от друга по их возможности влиять на состояние рынка рабочей силы. Наименьшими возможностями всегда обладали жители сельских районов, впервые прибывающие в город в поисках заработка. В самом общем смысле городские зарплаты, пусть они и кажутся весьма низкими с позиций мировых и даже местных стандартов, обеспечивают этим людям экономические преимущества по сравнению с оставшимися в деревне. Как правило, должно пройти от двадцати до тридцати лет, чтобы такие работники изменили свои экономические представления, в полной мере осознали потенциальные возможности, предоставляемые им как городским рабочим, и начали предпринимать те или иные скоординированные действия, направленные на обеспечение более высокой заработной платы. Люди, давно уже живущие в городах, даже если они официально не имеют работы и влачат существование в жутких трущобах, в большинстве случаев требуют более высоких заработков, прежде чем взяться за какую бы то ни было оплачиваемую работу. Это обусловлено тем, что в ходе городской жизни они научились получать из альтернативных источников минимально приемлемые доходы, причем нередко более высокие, нежели те, на которые могут рассчитывать мигранты, только что прибывшие из сельской местности.

И хотя в масштабах миро-системы все еще наличествует огромная армия резервного труда, одно лишь то, что эта система быстрыми темпами дерурализуется, предполагает, что в целом в ней происходит неуклонный рост цены рабочей

* Дерурализация (от англ. rural) - разрушение сельского уклада жизни. - Прим. ред.

110

силы. Это, в свою очередь, означает, что средняя норма прибыли должна со временем неизбежно снижаться. В условиях такого давления на норму прибыли особое значение приобретает сокращение издержек, не связанных с оплатой труда. Но, конечно, каждый фактор производства

подвержен пагубному воздействию все той же тенденции - роста издержек, направляемых на оплату персонала. Хотя технические нововведения по-прежнему способны удешевлять отдельные факторы производства, а правительства, как и прежде, могут устанавливать и защищать монопольный статус предприятий, позволяющий им поддерживать высокие цены на свою продукцию, у капиталистов сохраняется жизненная необходимость в том, чтобы часть их издержек возмещалась кем-то иным.

Этим «кем-то», конечно, оказывается государство, если и не непосредственно, то как «общество». Рассмотрим, как это происходит и как оплачивается счет. Готовность государства компенсировать издержки может быть реализована двумя путями. Правительство в состоянии сделать это вполне официально, приняв решение о предоставлении тех или иных субсидий. Субсидии, однако, слишком заметны и потому становятся все более непопулярными. Против них громко протестуют как конкурирующие предприятия, так и налогоплательщики. Субсидии становятся политической проблемой. Но есть и другой, более важный [для капиталистов] и более простой для правительства путь, требующий лишь одного - бездействия. С тех пор как сложился исторический капитализм, правительства позволяли предпринимателям скрывать многие типы издержек. Такой результат может достигаться участием государства в финансировании инфраструктурных проектов, а может (как это чаще всего и случается) обеспечиваться и даруемым властью избавлением от необходимости включать в себестоимость производственной операции те издержки, которых потребовало бы восстановление прежнего состояния окружающей среды.

Поддержание окружающей среды [в состоянии устойчивого равновесия] может достигаться двумя различными способами. Первый сводится к преодолению негативных последствий производственной деятельности (например, нейтрали-

зации токсинов, оказывающихся побочным продуктом основного производства, или консервации отходов, не подлежащих естественному разложению). Второй предполагает капиталовложения в восстановление ранее использованных природных ресурсов (например, в высадку саженцев взамен вырубленных деревьев). Экологические движения вновь и вновь выдвигают массу конкретных предложений, направленных на решение подобных проблем. В большинстве случаев они встречают резкое сопротивление со стороны компаний, которые столкнулись бы с трудностями в случае, если бы такие предложения были приняты; утверждается, что эти меры крайне дороги и потому неизбежно вызовут сокращение производства.

В данном случае предприниматели, по существу, правы. Подобные меры действительно слишком дороги, если исходить из необходимости сохранения ныне существующей среднемировой нормы прибыли. Реализация таких программ потребует гигантских финансовых ресурсов. Если принять в расчет глобальную дерурализацию, уже оказывающую серьезное воздействие на процессы накопления капитала, то осуществление масштабных природоохранных мер могло бы стать тем жестоким ударом, который окончательно подорвет жизнеспособность капиталистического мироздания. Поэтому какие бы позиции ни доводили до сведения общественности отдельные компании, следует ожидать упорного сопротивления планам реализации подобных проектов со стороны капиталистического класса. В такой ситуации перед нами открываются три альтернативы. Во-первых, правительства могут настаивать на полном выявлении и компенсации издержек; в этом случае следствием окажется резкое сокращение совокупной прибыли [производственных компаний]. Во-вторых, правительства могут за свой счет, то есть используя налоговые поступления, взяться за реализацию экологических программ (утилизировать отходы, восстанавливать экосистемы и предпринимать профилактические меры). Но если они увеличивают налоги, то это либо налоги на корпорации, что приведет к резкому снижению совокупной прибыли, либо налоги на граждан, что может вызвать резкое социальное возмущение. Наконец, в-третьих, можно пустить все на самотек и ни-

112 чего не предпринимать; этот путь ведет к тем катастрофам, о которых и предупреждают экологические движения. Пока именно эта третья альтернатива и имеет место. Поэтому я и говорю об «отсутствии выхода», подразумевая, что ни один из трех названных вариантов не дает рецепта решения проблемы в рамках ныне существующей исторической системы.

Разумеется, если правительства откажутся использовать первую альтернативу и не станут требовать [от корпораций] компенсации расходов на возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, они могут попытаться выиграть время. Именно это сегодня в основном и происходит. Один из лучших способов выиграть время - это попытаться сделать проблему, с

которой столкнулись мощные в политическом отношении страны, проблемой тех, кто политически слабее, то есть перенести ее с Севера на Юг. Для этого существуют два приема. Первый состоит в том, чтобы переместить сбрасывание и захоронение отходов на Юг. Хотя в данном случае Север и выигрывает для себя некоторое время, в мировом масштабе рост массы отходов продолжается, и его потенциальные последствия остаются столь же опасными. Другой заключается в попытке вынудить страны Юга замедлить «модернизацию», истребовав их согласия жестко ограничить промышленное производство или использовать более экологически безопасные, но при этом и более дорогостоящие производственные технологии. Это сразу же ставит вопрос о том, кто будет нести издержки глобальных ограничений, и смогут ли эти отдельные ограничения оказаться полезными. Если, например, Китай согласится сократить использование твердого топлива, то насколько изменятся его перспективы как растущего сегмента мирового рынка и, следовательно, перспективы [глобального] накопления капитала? Мы вновь возвращаемся к прежней проблеме.

Честно говоря, оно, может быть, и к лучшему, что перенос экологической нагрузки на страны Юга по сути своей не обеспечивает долгосрочного решения существующих проблем. Конечно, подобная практика существовала на протяжении всех последних пятисот лет. Но мирохозяйственная экспансия оказалась столь масштабной, а вызванная ею деградация природной среды столь существенной, что у нас нет больше возможности решать проблему путем ее экспорта на периферию. Поэтому сегодня мы вынуждены возвращаться к истокам. Такого требования прежде всего политической экономии, и лишь во вторую очередь это нравственный и политический выбор.

Стоящие перед нами экологические проблемы являются прямым следствием того, что мы живем в рамках капиталистического миро-хозяйства. Хотя каждая из предшествовавших исторических систем трансформировала окружающую среду, а некоторые из них даже нарушали региональное экологическое равновесие (что порождало угрозу для выживания существовавшей здесь исторической системы), лишь капитализм, в силу того что он стал первой системой на всем земном шаре с невообразимой скоростью расширяющей масштабы производства (и умножающей численность населения), начал угрожать самой возможности выживания человечества. По сути дела, это происходит потому, что в рамках данной системы капиталистам удалось свести на нет возможности любых иных сил устанавливать для них пределы, определяемые ценностями и целями, иными чем бесконечное накопление капитала. Именно освобождение [этого] «Прометей» и определяет природу проблемы.

Но освобожденный Прометей не является символом человеческого сообщества. Снятие с него оков, что ставят себе в заслугу адепты современной системы, было неочевидным достижением, и обусловленный им долгосрочный ущерб перевешивает сегодня среднесрочные выгоды. С точки зрения политической экономии характерная черта нынешней ситуации заключается в том, что исторический капитализм находится в кризисе, будучи не в состоянии найти осмысленного решения порожденных им проблем, важнейшая, если не единственная, среди которых - это неспособность предотвратить разрушение природной среды.

На основе этого анализа я прихожу к нескольким выводам. Первый состоит в том, что реформистское законодательство ограничено заранее заданными пределами. Если измерять успех способностью заметно снизить степень загрязнения окружающей среды в масштабах всей планеты на протяжении, скажем, ближайших десяти-двадцати лет, то я риск-114 нул бы предположить, что [применение] такого законодательства вряд ли будет успешным. Объясняется это возможностью появления политической оппозиции, которая, как можно ожидать, окажется весьма жесткой, учитывая влияние такого законодательства на накопление капитала. Из этого, однако, не следует, что продолжать подобные попытки бессмысленно. Возможно, даже наоборот. Политические усилия, направленные на поддержку такого законодательства, способны обострить дилеммы капиталистической системы. Они могут высветить истинные проблемы, стоящие на повестке дня, что весьма важно, так как лишь на четко сформулированные вопросы можно найти ответ.

Предприниматели настаивают, что этот вопрос следует рассматривать, противопоставляя [наличие реальных] рабочих мест [абстрактному] романтизму человеческого начала - силам природы. Многие из тех, кто озабочен экологическими проблемами, поддаются соблазну и оказываются в ловушке, приводя в ответ два разных, но, на мой взгляд, одинаково неверных аргумента. Первый

сводится к утверждению, что «с умом потраченная копейка сберегает рубль». Иными словами, некоторые полагают, что в рамках существующей ныне системы правительствам разумнее потратить некую сумму средств сегодня ради того, чтобы не тратить значительно больше в будущем. Такая аргументация и в самом деле выглядит небезосновательной. Но я уже отмечал, что, с точки зрения капиталистов, такие «копеечные траты», даже если они и способны воспрепятствовать нанесению [большого] ущерба, отнюдь не являются целесообразными, так как несут в себе серьезную угрозу самой возможности непрерывного накопления капитала. Существует и второй, абсолютно отличный от первого довод, который в политическом аспекте я нахожу столь же непрактичным. Его сторонники апеллируют к добродетелям природы и порокам науки. На практике это проявляется в защите экзотических животных, о которых большинство людей никогда не слышало и потому испытывает к ним полное равнодушие; в такой ситуации ответственными за сокращение рабочих мест становятся принадлежащие к среднему классу чудаковатые городские интеллектуалы. Проблема тем 115

самым полностью теряет связь со своей основой, определяемой двумя обстоятельствами. Первое сводится к тому, что капиталисты не платят по своим счетам. Второе заключается в том, что бесконечное накопление капитала представляет собой иррациональную цель, которой есть реальная альтернатива: сравнение различных выгод (в том числе приносимых [развитием] производства) между собой исходя из их целесообразности для общества в целом. Имеет место удручающая тенденция выставлять в качестве врагов науку и технологии, в то время как подлинным источником проблемы является капитализм. Именно он использовал величие безграничного технологического прогресса как одно из оправданий собственного существования. Он превратил одну из разновидностей науки - ньютоновскую науку, проникнутую идеями детерминизма - в своего рода культурное оправдание политического лозунга о том, что люди могут и должны «покорять» природу, а все негативные последствия хозяйственной экспансии будут преодолены по мере неизбежного прогресса науки.

Сегодня мы знаем, что это видение науки и эта ее форма не могут считаться универсальными. Сомнения в их адекватности высказываются ныне самими естествоиспытателями, весьма широкой группой ученых, вовлеченных в «исследования неравновесных систем», как они сами их называют. Науки, изучающие поведение таких систем, по ряду направлений радикально отличаются от ньютонианства: в них отрицается сама идея предсказуемости; признаются нормальными системы, серьезно отклоняющиеся от равновесного состояния, с их неизбежными бифуркациями; утверждается центральная роль стрелы времени*. Но наибольшим значением для нашей дискуссии обладает, возможно, акцент на самосозидательной креативности естественных процессов и неразличимости [границы] между человеческим и природным - с вытекающим отсюда утверждением, что наука является со-

* И. Пригожий и И. Стенгерс писали в своей книге «Порядок из хаоса» (М., 1986): «Стрела времени является проявлением того факта, что будущее не задано». - Прим. ред. 116

ставным элементом культуры. Представления о возвышенной интеллектуальной деятельности, направленной на раскрытие фундаментальных и вечных истин, уходят в прошлое. Их место занимают представления о реальном мире, доступном для понимания, мире, в котором открытия дней будущих не могут свершиться сегодня, поскольку само будущее еще надлежит создать. Будущее не предписывается настоящим, даже если оно определяется прошлым. Политические приложения такого взгляда на науку представляются мне абсолютно ясными. Настоящее - это всегда дело выбора, однако, как было когда-то сказано, хотя мы и творим собственную историю, мы ее не выбираем. Но все же мы творим ее. И поскольку настоящее - это предмет выбора, область такого выбора существенно расширяется в моменты, непосредственно предшествующие бифуркации, в моменты, когда система наиболее далека от равновесия, ибо тогда незначительные усилия вызывают масштабные последствия (и наоборот, в моменты, близкие к равновесию, даже масштабные усилия могут иметь лишь незначительные последствия). Вернемся теперь к проблеме экологии. Я рассмотрел ее в рамках политической экономии мир-системы. Я показал, что причиной деградации окружающей среды оказывалась потребность предпринимателей скрывать издержки и недостаток стимулов к принятию экологически целесообразных решений. Я также объяснил, что сегодня эта проблема является гораздо более серьезной, чем когда-либо прежде, по причине переживаемого нами системного кризиса. Этот кризис резко ограничил возможности накопления капитала, сделав сокрытие издержек единственным из простых и доступных его методов. И именно поэтому, утверждаю я, сегодня

сложнее, чем на любом из предшествующих этапов истории [капиталистической] системы, добиться одобрения предпринимательскими кругами мер по борьбе с экологической опасностью. Все это можно легко перевести на язык науки о неравновесности. Мы переживаем период, непосредственно предшествующий бифуркации. Существующая историческая система находится в состоянии кризиса, завершающего ее разви-

117 тие. Перед нами стоит вопрос о том, что придет ей на смену. Именно он определит суть политических споров на ближайшие двадцать пять - пятьдесят лет. Проблема разрушения среды обитания, хотя, конечно, не одна она, окажется в центре этих дебатов. Можно, на мой взгляд, сказать, что спор идет вокруг [представлений] о независимой, сущностной рациональности, и мы боремся за то решение или за ту систему, которые были бы сущностно рациональными. Концепция сущностной рациональности предполагает, что все принимаемые в обществе решения опосредованы конфликтами - как между различными ценностями, так и между различными группами, зачастую выступающими защитниками противоположных ценностей. Она предполагает, что не может существовать системы, способной одновременно удовлетворять требованиям каждого из этих наборов ценностей, даже если мы ощущаем, что все они того заслуживают. Сущностная рациональность предполагает выбор оптимального соотношения. Но что означает этот оптимум? В какой-то мере он описывается старым лозунгом Джереми Бентама - обеспечением максимального количества благ для максимального числа людей. Проблема состоит в том, что хотя этот лозунг и ведет нас в правильном с точки зрения результата направлении, он имеет множество слабых мест.

Кого, например, следует считать большинством? Экологические проблемы обостряют актуальность этого вопроса. Вполне понятно, что оценивая масштабы ущерба, наносимого окружающей среде, нельзя ограничиться пределами той или иной страны. В этом вопросе нельзя ограничиться даже пределами [всего] земного шара. Существует еще и проблема будущих поколений. С одной стороны, то, что является несомненным благом для нынешнего поколения, может нанести гигантский ущерб следующим поколениям. С другой стороны, нынешнее поколение тоже имеет свои права. Сегодня мы погрязли в спорах, касающихся наших современников: как, например, определить долю средств, которые следует направлять на социальные нужды детей, работающих граждан и стариков? Если добавить сюда еще и тех, кто не появился на свет, достичь справедливого распределения будет почти невозможно. 118

Но именно к такой альтернативной социальной системе мы и должны стремиться: к системе, в которой обсуждаются, взвешиваются и коллективно решаются фундаментальные вопросы. Производство имеет большое значение. Мы должны использовать деревья как источник древесины и топлива, но они нужны нам и для отдыха в их тени, и для эстетического наслаждения. И мы должны сохранить возможность и в будущем использовать деревья для каждой из этих целей. Если следовать старому аргументу предпринимателей, подобные общественные решения должны воплощать собой совокупность индивидуальных решений, ибо нет более совершенного механизма выработки коллективных суждений, чем этот. Сколь бы правдоподобными ни казались такие рассуждения, они не могут оправдать ситуацию, в которой один человек принимает выгодное для себя решение, перекладывая его издержки на других, мнения, предпочтения или интересы которых не принимаются при этом в расчет. Между тем именно это и происходит в условиях сокрытия издержек.

Нет выхода? Нет выхода в рамках существующей исторической системы? Но ведь мы переживаем выход из самой этой системы. Главный вопрос, стоящий сегодня перед нами, - это вопрос о том, куда нам двигаться дальше. Следует здесь и сейчас поднять знамя сущностной рациональности, вокруг которого необходимо сплотиться. Мы должны сознавать, что выбирая сущностную рациональность, мы встаем на долгий и трудный путь. Он предполагает не только новую социальную систему, но и требует новых структур знания, где философия и естественные науки не будут разделены, где произойдет возвращение к той единой эпистемологии, которая определяла накопление знаний до становления капиталистического миро-хозяйства. Если мы выберем этот путь, как применительно к общественной системе, в которой живем, так и к структуре знаний, которые используем для постижения ее закономерностей, то следует понимать, что мы находимся в самом его начале, но отнюдь не в конце. Первые шаги всегда сопряжены с неопределенностью, опасностями и трудностями, но они порождают надежды, а ведь это и есть самое большое, на что можно рассчитывать.

Глава шестая. Либерализм и демократия Братья-враги?*

Понятия «либерализм» и «демократия» впитали в себя множество значений. Каждому из них даются разнообразные, нередко противоречивые определения. К тому же, начиная с первой половины XIX столетия, когда оба эти понятия стали использоваться в политических речах, и до наших дней соотношение между ними остается весьма двусмысленным. В некоторых случаях они казались идентичными или, по меньшей мере, во многом совпадающими по смыслу; в других - выступали чуть ли не как полярные противоположности. На мой взгляд, фактически они были [как бы] братьями-врагами (*freres ennemies*). В некоторых отношениях они родственны друг другу, но воплощают разнонаправленные тенденции. И их, если так можно выразиться, кровное соперничество весьма интенсивно. Продолжая, я хотел бы сказать, что сегодня поиск приемлемого соотношения между этими двумя идеями, понятиями или ценностями является важной политической задачей, предпосылкой позитивного разрешения очень острых, как я предвижу, социальных конфликтов XXI века. Это вопрос не конкретизации дефиниций, а прежде всего - социального выбора.

Оба понятия отражают реакцию, пусть и различную, на современную миро-систему. Эта миро-система представляет собой капиталистическое миро-хозяйство и основана на при-^{*} Четвертая Даалдеровская лекция, прочитанная перед межфакультетской рабочей группой по политическим наукам государственного университета Лейдена, Лейден, Нидерланды, 15 марта 1997 года. 120

оритете бесконечного накопления капитала. Такая система неизбежно оказывается неэгалитарной и даже поляризованной, причем как в экономическом, так и в социальном аспектах. В то же время значение, которое придается в этой системе проблеме накопления, является мощным фактором установления равенства. [Дело в том, что в таких условиях] подвергается сомнению всякий статус, приобретенный или поддерживаемый на основе любых иных критериев, [кроме накопления капитала], включая и те, что обеспечиваются происхождением человека. Это идеологическое противоречие между иерархией и равенством, имманентное самым глубинным основам капитализма, порождает дилеммы, с которыми сталкиваются все, кто занимает в этой системе привилегированное положение.

Посмотрим на эти дилеммы с позиций основного субъекта капиталистического миро-хозяйства - предпринимателя, иногда именуемого буржуа. Предприниматель стремится к накоплению капитала. К этой цели он идет *с помощью* мирового рынка, но редко достигает ее исключительно *посредством* рынка. Удачливые предприниматели неизбежно зависят от государственной машины, способствующей формированию и поддержанию ими относительно монопольного положения в отдельных секторах [экономики], которое одно только и служит источником настоящего значительных прибылей¹.

Если же предприниматель уже накопил значительный капитал, ему придется заботиться о его сохранности, противостоя капризам рынка, а также попыткам украсть [его собственность], конфисковать ее или отобрать под видом налогов. Но даже на этом его проблемы не заканчиваются. Он должен позаботиться также и о том, как передать свой капитал наследникам. Это является не [столько] экономической, [сколько] социопсихологической потребностью, имеющей, тем не менее, серьезные экономические последствия. За необходимостью обеспечить передачу капитала наследникам скрывается не проблема налогов (которая может рассматриваться как аспект защиты рынка от государства), а проблема предпринимательских способностей наследников (подразумевающая, что рынок враждебен наследованию). По большому 121

счету, единственный способ обеспечить некомпетентных потомков возможностью унаследовать и сохранить капитал - это переход от прибыли к ренте как источнику приращения капитала. Но хотя подобное решение и удовлетворяет социопсихологические потребности, оно принижает значимость фактора, социально оправдывающего капиталистическое накопление, а именно - рыночной компетентности предпринимателей. Последнее, в свою очередь, порождает неразрешимую политическую дилемму.

Теперь посмотрим на ту же проблему с точки зрения трудящихся, не имеющих возможности накапливать сколь-либо серьезные капиталы. Как известно, при капитализме развитие производительных сил ведет к масштабным индустриализации и урбанизации, а также к территориальной концентрации богатства и высокооплачиваемой занятости. Мы не будем сейчас

касаться причин такого положения вещей, остановимся лишь на его политических последствиях. С течением времени (и особенно в принадлежащих к центру [миро-хозяйства] , или «более развитых» странах) этот процесс порождает изменение модели стратификации в государственном масштабе, заключающееся в увеличении доли среднего класса и высокооплачиваемых работников, что, соответственно, обуславливает рост их политического влияния. Важнейшим геокультурным следствием Французской революции и установившегося затем наполеоновского режима стала легитимизация политических требований этих слоев, достигавшаяся через утверждение, будто источником национального суверенитета является «народ». И если такой суверенитет был, возможно, совместим с гипотетическим эгалитаризмом рыночного накопления, то для него были абсолютно лишними любые попытки создания рентных источников дохода.

Проблема примирения рыночной идеологии с социопсихологической потребностью в создании рентных источников дохода всегда горячо обсуждалась в предпринимательских кругах. Следствием этого стал противоречивый язык либералов. Попытки жонглирования терминами подготовили почву для взаимоотношений между «либерализмом» и «демократией», оставшихся весьма двусмысленными на протяжении 122

последних двух столетий. В первой половине XIX века, когда эти слова впервые стали широко употребляться как политические термины, основная линия политического водораздела проходила между консерваторами и либералами - «партией порядка» и «партией перемен». Консерваторы были принципиально враждебны Французской революции во всех ее проявлениях: жирондистском, якобинском, наполеоновском. Либералы же рассматривали ее как нечто позитивное, по меньшей мере - в жирондистском варианте, который, как считалось, олицетворял некую аналогию с эволюцией английской парламентской системы. Это положительное отношение к Французской революции, которое вначале, после поражения Наполеона в 1815 году, было весьма осторожным, с годами стало значительно более явным.

В период с 1815 по 1848 год, помимо консерваторов и либералов, появились и те, кого порой называли демократами, чаще - республиканцами, иногда радикалами, изредка - социалистами. Все они, однако, представляли весьма небольшой «левый придаток» либерализма, иногда игравший роль возбуждающего элемента, но чаще только смущавший основную часть либералов. Лишь позднее этот «левый придаток» превратился во вполне оформленное независимое идеологическое движение, обычно именуемое социалистическим. После 1848 года идеологическая палитра стабилизировалась в форме триады идеологий, структурировавших политическую жизнь XIX и XX веков: консерватизма, либерализма и социализма, или радикализма (известных также как правое, центристское и левое движения). Я не буду сейчас повторять, как и почему в период, последовавший за 1848 годом, либерализм как идеология взял верх над своими соперниками, сформировав вокруг себя консенсус, освященный геокulturой современной миро-системы, превратив и консерватизм, и социализм в течения, зависимые от либерализма. Не стану я повторять и того, что этот консенсус сохранялся вплоть до 1968 года, когда он был вновь подвергнут сомнению, дав консерватизму и радикализму возможность возродиться в качестве самостоятельных идеологий³.

Учитывая цели этой дискуссии, исключительно важно понимать, что после 1848 года противостояние «старому ре-123 жиму» уже не было главной задачей либералов. Их основное внимание сосредоточилось, скорее, на другой стороне политического спектра и было обращено на то, как противодействовать растущим требованиям демократии. Революции 1848 года впервые продемонстрировали потенциальную мощь воинствующих левых сил, возвестив начало настоящих общественных движений в странах центра, а также национально-освободительных движений в периферийных регионах. Сила этого подъема напугала либералов-центристов, и хотя все революции 1848 года захлебнулись или были подавлены, либералы преисполнились решимости умерить пыл излишне радикальных, как они считали, антисистемных требований, выдвигавшихся «опасными» классами. Ответные усилия либералов проявились в трех формах. Во-первых, на предстоящие полвека они предложили программу «уступок», которые, по их мнению, могли бы в такой степени удовлетворить выдвигавшиеся требования, чтобы ситуация была стабилизирована, причем без ущерба для основ системы. Во-вторых, они стали открыто отходить от фактически существовавших политических коалиций с левыми (которые они практиковали в 1815-1848 годах, когда левые были слабы, а либералы считали своим основным противником консерваторов) в

пользу политических коалиций на правом фланге, создавая их, когда бы и где бы им ни померещилась угроза со стороны левых. И, в-третьих, они выработали язык, искусно отделявший либерализм от демократии.

Программа уступок - избирательное право, элементы государства всеобщего благосостояния, объединяющий расистский национализм - была исключительно успешной во всем евро-американском мире и сделала капиталистическую систему способной преодолевать все бури и штормы, за исключением относящихся к последним двум десятилетиям. Вторая мера - политические коалиции с правыми - была реализована либералами с еще большей легкостью, так как правые и сами пришли к аналогичному выводу вследствие событий 1848 г. Основной их политической линией стал «просвещенный консерватизм», и так как по сути он был версией либерализма, не возникало серьезных препятствий на пути созда-

124
ния такой формы парламентаризма, которая предполагала регулярную передачу формальных рычагов власти от одной партии к другой, в то время как их истинные цели тяготели к центристскому консенсусу и никогда значительно от него не отклонялись.

Определенные проблемы порождal лишь третий элемент [новой] тактики, что обуславливалось желанием либералов одновременно достичь двух результатов. Они хотели разделить либерализм и демократию, но в то же время - использовать тему демократии, и даже само это понятие, в качестве объединяющего момента. Именно на этой тематике и ее проблемах я и хотел бы сконцентрировать внимание в нашей дискуссии.

Либерализм, как часто отмечается, начинает свой анализ с индивида, которого считает основным субъектом социального действия. Согласно используемой либералами метафоре, мир состоит из множества независимых индивидов, которые тем или иным образом в тот или иной момент пришли к соглашению (заключили общественный договор) о взаимных обязательствах ради общего блага. При этом либералы изображали данное соглашение как весьма ограниченное. Причина такой трактовки очевидна. Либерализм возник из попыток отстранить людей, имеющих репутацию «компетентных», от произвольного контроля над институтами (церковью, монархией, аристократией и, соответственно, государством), которые либералы предпочитали видеть в руках менее компетентных людей. Идея ограниченного общественного договора как раз и предлагала логичное обоснование такого положения дел.

Именно этот подход стоит за такими традиционными лозунгами, связывающимися с Французской революцией, как «карьера, открытая талантам». Сочетание слов «открытая» и «талант» передавало суть замысла. Однако такой четкий язык вскоре превратился в более туманный и неопределенный, толковавший о «суверенитете народа». Проблема этой формулы, широко узаконенной идеями Французской революции, заключается в том, что «народ» как группу определить гораздо труднее, чем совокупность «талантливых людей». После-

125
дние составляют исчислимую группу, имеющую свои логические пределы. Необходимо лишь договориться о некоторых критериях таланта, вне зависимости от того, являются ли они истинными или ложными, и мы сможем определить, кто достоин в нее войти. Но определение того, кто составляет «народ», в принципе не предполагает критериев, а устанавливается общественным, коллективным мнением; за ним стоит политическое решение, и этот факт никем не оспаривается.

Разумеется, будь мы готовы причислить к «народу» всех и каждого, не возникало бы и проблемы. Но «народ» как политическое понятие используется в первую очередь, чтобы апеллировать к правам, установленным в [том или ином] государстве, и потому становится спорным. Очевидно лишь, что практически никто ни прежде, ни теперь не готов считать «народом» всех, поскольку это означало бы, что любой человек должен располагать всей полнотой политических прав. Существует ряд общепринятых исключений: [в эту группу не входят] дети, умалишенные, преступники, временно проживающие иностранцы, - которые более или менее понятны для подавляющего большинства. Но ведь включение в этот список иных категорий: мигрантов, нищих, бедняков, невежд, женщин - казалось не менее очевидным, в особенности тем, кто сам не был ни мигрантом, ни нищим, ни бедняком, ни невеждой, ни женщиной. [Поэтому] вопрос о том, из кого же состоит «народ», до сих пор и всюду остается одним из основных источников политических противоречий.

На протяжении последних ДВУХСОТ лет повсюду в мире лишенные прав или обделенные ими постоянно стучались в дверь, толкали ее, пытаясь открыть и всякий раз прося о большем. Стоит

впустить нескольких - и немедленно приходят следом другие, требуя, чтобы их тоже впустили. Реакция на эту политическую реальность, очевидную для всех, бывала неодинаковой. В частности, тональность реакций, ассоциировавшихся с либерализмом и демократией, доходила до абсолютно различной, почти противоположной.

Либералы имели обыкновение сдерживать течение. Демократы были склонны рукоплескать ему и подталкивать его. Либералы с особым вниманием относились к характеру процесса; плохой процесс, считали они, приведет к плохим результатам. Демократы больше сосредоточивались на результатах; плохие результаты, по их мнению, указывали на плохой процесс. Либералы обращались к прошлому и подчеркивали, как много уже сделано. Демократы смотрели в будущее и отмечали, как много еще предстоит совершить. Стакан наполовину полон? Или он наполовину пуст? Возможно и то, и другое, но возможно и различие целей. Главным лозунгом либералов является рациональность. Они выступают наиболее верными наследниками Просвещения. Либералы верят в *потенциальную* рациональность всех людей, в рациональность не predetermined, а достигаемую, причем достигаемую посредством образования (Bildung). Образование, однако, может формировать не только просвещенных граждан, наделенных гражданскими добродетелями. Современные либералы прекрасно сознают, что демократия городских собраний, заимствованная из [древне] греческих полисов, невозможна в гораздо больших образованиях, какими являются современные государства, где необходимо принимать решения по широкому кругу сложных вопросов. Либералы разделяют метафору ньютоновской науки: сложное легче всего понять, если разложить его на более мелкие элементы путем дифференциации и специализации. Отсюда вытекает, что для исполнения роли просвещенных граждан, наделенных гражданскими добродетелями, людям необходимы советы профессионалов, руководящих ими и способных обрисовать существующие альтернативы, предложить критерии, которые позволили бы оценить эти различные варианты. Если для воплощения рациональности требуется компетентность, то необходима и гражданская культура, которая давала бы специалистам ощущение собственной значимости. Современная система образования (как гуманитарного, так и естественнонаучного) предполагает воспитание у граждан привычки соглашаться с указаниями профессионалов. Именно вокруг этого вращаются все споры об избирательном праве и других формах политического участия: кто обладает достаточным опытом, [чтобы стать экспертом], и кто имеет склад ума, позволяющий прислушиваться к словам таких экс-127

пертов. Короче говоря, хотя каждый человек потенциально рационален, на деле рациональны не все. Либерализм призывает наделить правами [лишь] рационально мыслящих людей, с тем чтобы они, а не лишённые способности рационально мыслить, принимали важнейшие общественные решения. Если же в условиях [политического] нажима и приходится наделить формальными правами многих из тех, кто неспособен все же действовать рационально, становится важным очертить эти права так, чтобы исключить любую возможность глупости. Это и есть источник озабоченности процессом. Процессом в этом случае считается откладывание решений на такой срок и таким образом, чтобы эксперты получили беспроигрышный шанс настоять на своем. Исключение [из общественной жизни] неспособных практикуется всегда и везде. При этом им обещают, однако, что они будут инкорпорированы в будущем, как только выучатся, как только начнут справляться с тестами, как только обретут рациональность *тем же путем, как и сегодняшние включенные*. Хотя необоснованная дискриминация - это проклятье для либерала, либерал находит огромное различие между необоснованной и обоснованной дискриминацией. Поэтому либеральный подход исполнен опасений перед большинством, перед неумытыми и невежественными, перед массами. Речи либералов, безусловно, всегда прославляют потенциальную интеграцию исключенных, но под ней всегда имеется в виду лишь контролируемая интеграция, усвоение тех ценностей и вовлечение в те структуры, которые сформированы и созданы ранее включенными. Перед лицом большинства либерал всегда защищает меньшинство. Но защищает он не группу, оказавшуюся в меньшинстве, а символическое меньшинство; он защищает от толпы рационально действующего героя - то есть самого себя.

Этот героический индивид компетентен и цивилизован. При этом в понятие компетентности вкладывается по существу тот же самый смысл, что и в понятие цивилизованности. Цивилизованы те, кто научился приспосабливаться к социальным нуждам граждан (civis), кто умеет быть и

гражданственным, и утонченным, кто знает, как стать участником общественного
128

договора и как выполнять определяемые таковым обязательства. Цивилизованные - это всегда «мы», а нецивилизованные - «они». Само это понятие практически неизбежно носит универсалистский характер в силу того, что ценности, которые в нем объединены, считаются универсальными; но в то же время в нем содержится и идея развития. Цивилизованности учатся; цивилизованными не рождаются. И люди, и сообщества, и народы могут *стать* цивилизованными. Компетентность представляется более инструментальным понятием. Она указывает на способность действовать (в первую очередь трудиться) в соответствии с общественными нормами. Она связана с идеей профессии, *metier*. Она является результатом образования более специального, чем то, что необходимо для цивилизованности, и сводится в основном к обретению навыков социального общения еще детьми в кругу семьи. Однако считается, что между компетентностью и цивилизованностью существует тесная связь, и тот, кто компетентен, скорее всего и цивилизован, равно как и наоборот. Исключения из этого правила удивляют, кажутся аномальными и даже тревожными. Либерализм - это прежде всего совокупность правил поведения. И то, что все эти определения, пусть даже формально абстрактные, всегда связаны с классами и классовыми пристрастиями, представляется мне очевидным.

Но как только мы касаемся цивилизованности и разумности, становится ясно, что мы говорим не обо всех и каждом - не обо всех индивидах, не обо всех сообществах, не обо всех народах. Понятия «цивилизованный» и «компетентный» по сути своей относительно и описывают иерархию, в которой одни люди более цивилизованы и разумны, нежели другие. В то же время они универсальны: теоретически каждый человек способен со временем стать цивилизованным и компетентным. И их универсализм тесно связан с другой исконной чертой либерализма: патерналистским отношением к слабым, нецивилизованным и невежественным. Либерализм считает общественным долгом развитие этих людей, которое может, конечно, достигаться и индивидуальными усилиями, но предпочтительнее - если коллективными усилиями общества и
129

государства. Потому он постоянно призывает к совершенствованию образования, *Bildung*, активизации социальных реформ.

Понятие «либеральный» имеет не только политическое значение; оно предполагает щедрость [в общественных отношениях], понимание того, что «положение обязывает», *noblesse oblige*. Сильные личности могут быть либеральны при распределении материальных и социальных благ. И здесь ясно видна связь с идеей аристократии, которую, как считается, либерализм отвергает. На деле либералы отрицают не идею аристократии как таковую, а правомерность отнесения к аристократии людей, обладающих внешними признаками статуса, определяемого заслугами предков, титулами, которые дают им привилегии. В такого рода вопросах либералы ориентированы исключительно на настоящий момент. Их интересуют, по крайней мере теоретически, только достижения той или иной конкретной личности. Аристократом, лучшим среди прочих может быть тот и только тот, кто здесь и сейчас доказывает свою наибольшую компетентность. В XX веке именно в этом смысле стало употребляться понятие «меритократия», обосновывающее социальную иерархию.

Меритократия, в отличие от знати, воплощает собой эгалитаристские представления, поскольку формально она открыта каждому, кто сможет выдержать тесты, определяющие достойных. Предполагается, что заслуги не могут быть унаследованы. Но, разумеется, наследуются преимущества, которые способны существенно расширить возможности ребенка получить навыки, которые ценятся обществом. И остается фактом, что на деле результаты никогда не бывают равными, чем постоянно недовольны те, кто не удостоился формального признания и потому не обрел соответствующих положения и статуса. На это жалуются как демократы, так и «меньшинства», под которыми понимается любая (независимо от ее численности) группа, которая исторически устойчиво считается общественно неполноценной и которая в данный момент находится на низшем уровне социальной иерархии.

Те, кто компетентен, защищают свои преимущества на основе формальных универсалистских правил. Потому они
130

отстаивают значимость формальных процедур в [разрешении] политических споров. Они по природе страшатся всего, что может называться или считаться «крайностью». Но каковы

«крайности» в современной политике? К ним относится все то, что можно обозначить как «популизм». Популизм - это такой призыв к народу, в котором акцент сделан на результатах: в области законодательства, в сфере распределения социальных ролей, в обеспечении благосостояния. Либеральный центр всегда был по сути своей антипопулистским, хотя в редких случаях, когда, например, на горизонте маячила опасность фашизма, он признавал легитимность народных движений.

В популизм обычно играли левые. В политике они традиционно были популистами или, по меньшей мере, традиционно выдавали себя за таковых. Именно левые выступали от имени народа, от имени большинства, от имени более слабых и отверженных. Политики левого толка настойчиво стремились мобилизовать народные чувства и использовать их как фактор политического давления. Если же такое народное движение возникало стихийно, левые политические лидеры старались, как правило, не отстать от него. Демократы считали важным включить в общество отверженных и изгоев, что расходилось с мнением либералов о справедливом обществе, в котором преимущества имеют люди способные и компетентные.

Популизм правого толка также имел место. Но версии популизма, в который играли левые и правые, были существенно различными. Правый популизм никогда не был подлинным популизмом уже в силу того, что правые принципиально не верили в тех людей, кто не разделял их взглядов. На практике популизм правого толка сочетал в себе враждебное отношение к специалистам и определенный интерес к социальному обеспечению; но этот интерес всегда предполагал большую избирательность, то есть ограничивался вниманием к этнически определенной группе, из которой заведомо исключались специалисты. По этой причине популизм правого толка вообще не является демократическим - в том смысле, какой мы вкладываем в это слово, считая приоритетом включение отверженных в общество. 131

То, что мы называем демократией, на деле противоположно популизму правого толка, как противоположно оно и тому, что мы понимаем под либерализмом. Демократия определенно предполагает настороженное отношение к экспертам и специалистам, сомнения в их объективности, бескорыстии и гражданских чувствах. Демократы видят прикрытие для новой аристократии в либеральных рассуждениях, весьма пагубных тем, что они провозглашают универсалистские принципы, которые всегда имеют своим результатом сохранение существующих моделей иерархии. Поэтому либерализм и демократия, символизирующие сущностно различные тенденции, всегда были не в ладах друг с другом.

Иногда это признается вполне открыто, как, например, в спорах вокруг знаменитого лозунга Французской революции, в котором, как нередко утверждается, либералы ставят во главу угла свободу, подразумевая при этом личную свободу, а демократы (или социалисты) - равенство. На мой взгляд, это глубоко ошибочный способ объяснения различий между ними. Либералы не просто отдают предпочтение свободе; они враждебны идее равенства, так как они враждебны любым идеям, нацеленным на результат, а понятие равенства имеет смысл только в этом значении. И для либерализма, защищающего рациональное управление, основанное на просвещенном мнении наиболее компетентных специалистов, равенство представляется нивелирующей, антиинтеллектуальной, несомненно экстремистской идеей.

В то же время неправда, будто демократы столь же оппозиционно относятся к свободе. Отнюдь! Демократы всего лишь отказываются разделять эти два понятия. С одной стороны, демократы традиционно считают, что свободы не может быть в системе, не основанной на равенстве, поскольку люди, не являющиеся равными друг другу, не могут иметь равных с ними возможностей участия в принятии коллективных решений. Они утверждают также, что несвободные люди не равны, ибо несвобода предполагает политическую иерархию, а последняя - социальное неравенство. Единство это с недавних пор стали называть «равносвободой» (*egaliberty* или *equaliberty*)⁴. С другой стороны, сегодня лишь очень немногие 132

из тех, кто считает себя левыми, готовы сделать лозунг «равносвободы» средством мобилизации масс, ибо ими движет тот же страх, какой побуждал либералов делать акцент на постепенности и компетентности: страх того, что люди, предоставленные самим себе, начнут действовать иррационально, то есть могут пойти по пути фашизма или расизма. Но можно уверенно утверждать, что народ неизменно требовал демократии, какими бы ни были официальные позиции левых партий. И те левые партии, которые отказывались принять идеи «равносвободы», на определенном этапе сталкивались с размыванием рядов своих сторонников, замечая, что их бывшие

приверженцы уже считают их скорее «либералами», чем «демократами».

Напряженность [в отношениях] между либерализмом и демократией не является чем-то абстрактным. Она постоянно возвращается к нам в образе целого набора политических проблем и альтернатив. Эта напряженность и эти проблемы захлестнули миро-систему в межвоенный период, когда во многих странах наблюдался подъем фашистских движений. Мы помним, какие колебания и нерешительность проявили в то время как центристские, так и левые политики. Эти колебания вновь стали заметными и резкими в 90-е годы - по мере появления многочисленных деструктивных расистских движений, скрывавшихся под маской национализма, и по мере активизации в рамках самого западного мира попыток построения новой политики исключенности, основанной на антииммигрантской риторике, апеллирующей к коренному населению.

В то же время имеет место и иной вопрос, совершенно другого рода, возникший после 1968 года по мере развития движений тех маргинализированных слоев, которые заявляли свои претензии на политические права в контексте права групп, или групповых прав. Претензии эти приняли форму призывов к «мультикультурализму». Став предметом дебатов сначала в Соединенных Штатах, он обсуждается сегодня и во многих других странах, издавна претендовавших на статус либеральных. Этот вопрос часто смешивается с проблемой 133

противостояния тому, что французы называют лепенизацией общества, но это не одно и то же*.

Сегодня отношения между этими братьями-врагами вновь находятся в центре споров о политической тактике. И мы вряд ли добьемся существенного прогресса в данном вопросе, если не разглядим сути, скрытой за этой риторикой.

Начнем с некоторых современных реалий. Я полагаю, что в сложившейся после 1989 года ситуации существуют четыре обстоятельства, являющихся базовыми в том смысле, что именно они определяют рамки, в которых с неизбежностью принимаются политические решения. Первое из них связано с глубоким и повсеместным разочарованием в «старых левых», к которым я отношу не только коммунистические, но и социал-демократические партии, а также национально-освободительные движения. Второе заключается в массивном наступлении на контроль за движением капитала и товаров, предполагающем также и демонтаж государства благосостояния. Это наступление иногда называют «неолиберализмом». Третье сводится к постоянно растущей экономической, социальной и демографической поляризации миро-системы, которая может лишь усугубиться по мере наступления неолибералов. Четвертое обстоятельство обусловлено тем, что несмотря на все это (а быть может, и благодаря этому) требования демократии - демократии, а не либерализма - звучат сегодня громче, чем когда-либо прежде в истории современной миро-системы.

Первое обстоятельство - разочарование в «старых левых» - стало, на мой взгляд, результатом того, что с течением времени они отказались от борьбы за демократию и по сути приня-^{*} Понятие «лепенизация» (lepenisation) происходит от фамилии французского политика правого толка Жана-Мари ле Пена, основателя и лидера влиятельной политической партии, так называемого Национального фронта, расширившего свою электоральную базу с 3-4 процентов в начале 80-х годов до 14-15 процентов в середине 90-х. Сам Ж.-М. ле Пен, набрав 16,9 процента голосов и заняв второе место по итогам первого тура французских президентских выборов в мае 2002 года, выбил из избирательной гонки одного из ее фаворитов, действующего премьер-министра, социалиста Л.Жоспена. - *Прим. ред.* 134

ли либеральную программу - в том смысле, что стали строить ее исходя из решающей роли компетентных людей. Нет сомнения, что они определяли компетентность несколько иначе, чем центристы, пускай хотя бы теоретически. На практике они вряд ли рекрутировали «своих» компетентных людей из социальных слоев, значительно отличающихся от тех, что выглядели привилегированными и в глазах либералов. Так или иначе, их реальные отличия [от иных партий] показались массам недостаточными, и они утратили народную поддержку.

Именно это распространившееся разочарование масс в «старых левых» открыло путь неолиберальной волне. Она поднялась на глубоко ложной риторике, касающейся глобализации. Риторика эта обманчива потому, что нынешние экономические реалии отнюдь не новы (как не новы и вызовы, порождаемые конкуренцией между компаниями на мировом рынке), но их мнимая новизна используется для оправдания отказа от одной из исторических уступок либералов - от государства благосостояния. Именно поэтому нео либерализм нельзя считать новой разновидностью либерализма. Он перенял лишь название, но по сути это вариант консерватизма, а консерватизм, несмотря ни на что, отличается от либерализма. Исконный либерализм не смог пережить крушения «старых левых», которые, отнюдь не будучи его смертельными врагами,

служили важнейшей социальной опорой либерализма, поскольку на протяжении долгого времени играли решающую роль в сдерживании «опасных» классов, требовавших демократии, поддерживая надежды (и иллюзии) относительно неизбежности прогресса. «Старые левые» утверждали даже, что этот прогресс в значительной мере станет следствием их усилий, но этот аргумент служил укреплению политической теории и практики, которые представляли собой не более чем одну из версий рассуждения либералов.

Падение «старых левых» продемонстрировало их явную неспособность противостоять поляризации миро-системы, особенно во всемирном масштабе. Неолибералы воспользовались этим, заявив, что данная проблема может быть решена **135**

на основе их программы. Эта претензия абсолютно безосновательна, ибо по сути программа неолибералов лишь подчеркивает невиданные темпы происходящей в миро-системе экономической, социальной и демографической поляризации. Более того, их нынешнее наступление возродило процесс поляризации в пределах богатых стран, относительно долго сдерживаемый государством благосостояния, причем особенно явно - в период с 1945 по 1970 год. Вместе с растущей поляризацией пришла и нарастающая иммиграция с Юга (включающего и то, что раньше именовалось Востоком) на Север, несмотря на все новые и новые законодательные и административные барьеры, воздвигаемые на пути легальной миграции.

Но что самое важное - влияние демократических настроений сегодня сильнее, чем когда-либо прежде; и, вероятно, прежде всего благодаря, а не вопреки всему отмеченному выше. Сила этих настроений проявляется в трех специфических требованиях, выдвигаемых повсюду в мире: больше возможностей для образования, лучшие условия охраны здоровья и повышение средних доходов. Причем минимально приемлемые уровни [социальной обеспеченности], озвучиваемые в этих требованиях, постоянно повышаются, но никогда не снижаются. Это, конечно, резко расходится с программой демонтажа государства благосостояния и увеличивает вероятность острого социального конфликта, [способного проявиться] как в виде более или менее стихийной мобилизации трудящихся (что случается, например, во Франции), так и в более жестокой форме гражданских волнений (как в Албании, где резко упало благосостояние людей, участвовавших в финансовых «пирамидах»).

Если с 1848 по 1968 год мы жили в мире, геоккультура которого основывалась на либеральном консенсусе, что открывало либералам возможность распоряжаться понятием «демократия» по собственному усмотрению и изматывать силы ее сторонникам, то теперь мы находимся в мире Йитса, где для «центра нет места». Мы стоим перед жестким выбором: либо «равносвобода», либо ни свободы, ни равенства; или реальные усилия, направленные на инкорпорирование в обще- **136**

ство всех и каждого, или глубоко разделенный мир, своего рода система всемирного апартеида. Влияние, которым обладал либерализм с 1848 по 1968 год, заставляло демократов либо принять установки, носившие либеральный оттенок, либо обречь себя на политическое забвение. Они выбрали первое, что и определило путь «старых левых». Сейчас, однако, перед выбором стоят выжившие либералы: они могут либо принять до некоторой степени демократические установки, либо утратить свое политическое влияние. Это можно видеть при более тщательном рассмотрении двух больших споров между либералами и демократами: дискуссий вокруг проблем мультикультурализма и лепенизации.

Какие вопросы обсуждаются в споре о мультикультурализме? Группы, которым прежде (как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе) отказывалось в участии в политической жизни, в достойном материальном вознаграждении, в социальном признании и праве на культурную самобытность, - прежде всего женщины и цветные, а также многие иные группы - выдвинули свои требования тремя различными способами. Во-первых, они подвели исторические итоги и заявили, что таковые абсолютно постыдны. Во-вторых, они обратились к тому, что считается достойным изучения и почитания, к тем, кто признан «историческими личностями», и показали, что по сей день подобный отбор ведется весьма пристрастно. В-третьих, они поинтересовались, не являются ли критерии объективности, использованные для оправдания этих реалий, ошибочными, и не сами ли эти критерии служат их главным генератором. Ответ либералов заключался в том, что требования [равенства] результатов суть требования квот, что, в свою очередь, может привести лишь к повсеместному распространению посредственности и возникновению новых иерархий. Они утверждали, что уважение и историческая значимость не устанавливаются декретами, а измеряются объективными критериями. Они говорили, что

искажение таких критериев -это скользкий путь к полному субъективизму и потому - к полной социальной иррациональности. Это слабые аргументы, но они указывают на реальные проблемы, порождаемые мульт-

137

тикультурализмом с его смутными формулировками самоопределения.

Проблема притязаний, выдвигаемых мультикультурализмом, состоит в том, что им чуждо какое бы то ни было самоограничение. Во-первых, само количество групп не имеет естественного предела и может расти бесконечно. Во-вторых, эти притязания рожают неразрешимые споры об иерархии исторических несправедливостей. В-третьих, если на протяжении жизни одного поколения и вносятся определенные корректировки, нет никакой уверенности, что они сохранятся для следующего поколения. Не следует ли сделать их периодическими? В-четвертых, эти притязания не дают ключа к распределению редких, а тем более уникальных ресурсов. В-пятых, нет и гарантии того, что мультикультуралистское распределение окажется в конечном счете эгалитарным, поскольку упомянутые притязания могут на деле просто привести к установлению новых критериев членства в кругу компетентных лиц, наделяемых привилегиями.

Трудно не заметить, сколь пусты такие антимульткультуралистские аргументы в том исполненном масштабного неравенства мире, в котором мы сегодня живем. Несмотря на вопли публицистов, протестующих против политкорректности, мы еще далеки от мира, где господствовали бы реалии мультикультурализма. Мы делаем лишь первые шаги по пути устранения исторической несправедливости. Чернокожие, женщины и многие другие все еще в значительной мере ущемляются в правах, несмотря на незначительные эпизодические улучшения своего положения. Вне всякого сомнения, еще нескоро маятник качнется в их сторону.

Гораздо важнее начать серьезное исследование путей создания таких структур и организации таких процессов, которые двигали бы нас в правильном направлении, не заводя в западни, которых справедливо опасаются либералы. И здесь либералам, пусть и вымирающему виду, но имеющим мощные интеллектуальные традиции, следовало бы поставить свои способности на службу единой команде, вместо того, чтобы осуждающе брюзжать с обочины. Например, разве не полезнее было бы для людей типа Алена Сокала подискутировать с

138

теми, кто ставит глубокие вопросы о структурах знания, чем опровергать нелепые крайности, лишь усложняя обсуждение наиболее существенных проблем?

Но следует постоянно иметь в виду [одну] проблему: проблему исключения, решение которой не стало ближе от так называемого прогресса современной миро-системы. Она стоит сегодня даже острее, чем раньше. А ведь именно демократы считают борьбу с исключенностью [людей из общества] своим приоритетом. Если инкорпорирование в социум сложно, то исключение из него аморально. И либералы, стремящиеся к построению справедливого общества, к формированию разумно устроенного мира, должны помнить о веберовском различии формальной и сущностной рациональности. Формальная рациональность решает проблемы, но ей недостает души, в силу чего в итоге она оказывается саморазрушительной. Сущностную рациональность исключительно трудно определить, она допускает произвольные искажения, но в конечном счете именно она и есть то, что необходимо справедливому обществу.

Мультикультурализм - это проблема, которая никуда не исчезнет до тех пор, пока мы живем в мире неравенства, а он будет существовать столько же, сколько будет существовать капиталистическое миро-хозяйство. Я думаю, что это продлится не так долго, как считают многие, но даже на мой взгляд, потребуются еще лет пятьдесят, чтобы нынешняя историческая система окончательно рухнула. И основным вопросом этих пятидесяти лет будет вопрос о том, какую историческую систему нам строить взамен имеющейся. А здесь встает проблема лепенизации, поскольку мир, в котором расистские, проповедующие исключительность движения обретают растущую роль и оказываются способными определять повестку политических дискуссий, - такой мир имеет все шансы породить структуры, которые покажутся сторонникам расширения «равносвободы» еще хуже нынешней.

Возьмем конкретный пример французского Национального фронта. Это движение выступает как против компетентности, так и против инкорпорирования [в общество всех потенциальных членов].

Тем самым оно отрицает как либе-

139

ральные, так и демократические принципы и цели. Что же с ним делать? Оно черпает свои силы из бессознательной тревоги представителей различных общественных классов по поводу своей

личной безопасности, физической и материальной. Эти люди имеют серьезные основания для беспокойства. Национальный фронт, как и все подобные движения, обещает три вещи: большую физическую безопасность, обеспечиваемую репрессивном государством; большую материальную безопасность, достигаемую посредством реализации невятной программы, сочетающей принципы неолиберализма и государства благосостояния; и самое важное - указывает на истинных виновников переживаемых людьми трудностей. В случае Национального фронта этими виновниками оказываются прежде всего «мигранты» (этот термин используется для обозначения всех не-белых, то есть тех, кто не может быть причислен к западноевропейцам); не забывается при этом и о надлежашей роли женщин. Еще одним козлом отпущения, осторожно упоминаемым время от времени, но не слишком открыто, чтобы избежать применения французских антирасистских законов, служат умные и богатые евреи, космополитичные интеллектуалы, а заодно и все нынешние политические элиты. Короче говоря, причина всех бед - в отверженных и умных.

На протяжении долгого времени отношение к Национальному фронту было уклончивым. Консерваторы стремились компенсировать потерю пошедших за ним избирателей смягчением своих позиций по проблеме исключенности. Либералы-центристы, независимо от того, принадлежали ли они к Объединению в поддержку Республики, Союзу за французскую демократию или Социалистической партии, вначале пытались игнорировать Национальный фронт, надеясь, что, столкнувшись с безразличием, он исчезнет сам собой. Категорически выступала против исключения [тех или иных групп] из общества горстка движений (таких, как «SOS-расизм»), отдельных интеллектуалов и, конечно, представителей самих подвергавшихся нападкам групп. Когда в 1997 году Национальный фронт впервые получил явное большинство на муниципальных выборах в Витролле, тревожная кнопка 140

оказалась нажатой, и началась общенациональная мобилизация. Правительство, разрывавшееся между консерваторами и либералами-центристами, отказалось от ряда пунктов предлагавшегося антииммиграционного законодательства, но сохранило все остальные. Победила линия, направленная на отвоевывание голосов избирателей у Национального фронта. Какой была программа демократов? В целом она предполагала, что все уже живущие во Франции люди должны быть так или иначе «интегрированы» во французское общество через наделение их правами, и провозглашала отказ от репрессивного законодательства. Критически важным в данном случае было то, что все это относилось к людям, уже проживающим во Франции, и, возможно, к добропорядочным беженцам. Никто не посмел предложить устранение *всех* ограничений передвижения людей через границы, хотя это уже стало фактом в ряде северных стран и исторически практиковалось в большинстве стран мира вплоть до XX столетия. Такая осторожность была вызвана прежде всего существовавшими у французских демократов опасениями, что подобная их позиция могла бы усилить влияние Национального фронта в рабочей среде.

И если я обращаюсь к этой «крайней» позиции, то делаю это исключительно потому, что это помогает высветить проблему. Если стоит вопрос об исключенности, то почему борьба против нее должна идти лишь в пределах [одного] государства, а не повсюду в мире? Если вопрос в компетентности, то почему ее следует определять в рамках государственных границ, а не в мире в целом? И если нас вдохновляют консервативные, так называемые неолиберальные идеи дерегулирования, то почему не начать дерегулирование передвижения людей? Ни во Франции, ни где-либо еще нельзя быть уверенным в том, что расистские, проповедующие исключенность движения будут остановлены, если эти проблемы не поставить со всей ясностью и определенностью.

Вернемся к вопросу об отношениях либералов и демократов. Одни, как я отмечал, в первую очередь стремятся защищать компетентность. Другие, на что я тоже указывал, считают приоритетом борьбу с исключенностью. Нетрудно спро-141

сить: а почему не заняться и тем, и другим? Но отнюдь не просто уделить равное внимание обеим проблемам. Компетентность, по самому ее определению, предполагает исключенность. Если есть компетентность, есть и некомпетентность. Инкорпорированность предполагает равную значимость участия каждого [в жизни общества]. На уровне правительств при принятии политических решений две эти задачи почти неизбежно вступают в конфликт. *Братья* становятся *врагами*.

Лучшие дни либералов уже позади. Сегодня нам угрожает пришествие тех, кто не хочет ни компетентности, ни инкорпорированности; иначе говоря, перед нами открывается перспектива худшего из миров. Если мы хотим поставить на их пути преграду, если мы хотим построить новую историческую систему, мы можем сделать это только на основе единения. Для либералов пришло время положиться на демократов. Если они сделают это, они по-прежнему будут играть достойную роль. Либералы по-прежнему могут напоминать демократам о рисках [решений, принимаемых] неумным и торопливым большинством, но им следует делать это лишь признавая неоспоримый приоритет большинства при коллективных решениях. Кроме того, либералы могут постоянно призывать и к исключению из сферы коллективного тех вопросов, решение которых следует оставить индивиду, а вопросов этих - несметное множество. Такая позиция приветствовалась бы в демократическом мире. И, разумеется, отдавая инкорпорированности приоритет перед компетентностью, мы говорим прежде всего о политической сфере. Мы не предлагаем игнорировать значение компетентности на рабочем месте или в мире науки. Существует старая шутка об отношениях богача и мудреца. Богач говорит мудрецу: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» Ответ: «Если ты столь богат, то почему же ты не умен?» Давайте немного изменим эту шутку. Либерал говорит демократу: «Если ты представляешь большинство, то где же твоя компетентность?» Ответ: «Если ты такой разумный, почему же ты не заставишь большинство согласиться с твоими предложениями?» 142

Глава седьмая. Интеграция во что? Отмежевание от чего?*

Слова «интеграция» и «отмежевание» сегодня часто звучат в дискуссиях по проблемам современных социальных структур. Для обществоведения как такового они являются базовыми терминами, поскольку, безусловно, связаны с самим понятием «общество». Сложность обществоведческих дискуссий определяется тем, что хотя это понятие и занимает центральное место в наших размышлениях, оно остается крайне неопределенным, и это находит свое отражение в обсуждении проблем интеграции и отмежевания.

Понятие общества существует, как я полагаю, на протяжении тысячелетий - в том смысле, что, по-видимому, не менее десяти тысяч лет, если не больше, люди осведомлены о двух особенностях того мира, в котором они живут. Они регулярно взаимодействуют с себе подобными, прежде всего с теми, кто находится поблизости. И подобная «группа» живет по правилам, которые все ее члены принимают во внимание, которые во многом формируют их видение мира. Однако численность каждой из таких групп заведомо меньше численности живущих на планете людей, и поэтому они всегда чувствуют разницу между «мы» и «они».

Классический миф, созданный людьми о своем исключительном «обществе», - это история о том, что оно появилось по воле богов в далеком прошлом и что его нынешние члены являются потомками этой избранной группы. Подобные ле-

* Основной доклад на XIX Скандинавском социологическом конгрессе «Интеграция и размежевание», Копенгаген, 13-15 июня 1997 года. 143

генды, помимо утверждения самоуважения, поддерживали представления о кровном родстве. Конечно, мы знаем, что кровное родство - это миф в полном смысле слова, поскольку никакие группы никогда не функционировали на основе таких представлений. И уж заведомо - в современном мире. А так как всегда есть люди, не принадлежащие к каким-либо группам, но стремящиеся войти в них или же вовлекаемые в них тем или иным способом, мы говорим об интеграции. И поскольку с тем же постоянством другие люди стремятся выйти из групп или вытесняются из них, мы говорим об отмежевании (маргинализации).

Основная проблема состоит в том, что современная миро-система серьезно затрудняет саму возможность определить, что собой представляет наше «общество», и тем самым усложняет понимание интеграции и отмежевания. Совершенно ясно, что на практике как минимум на протяжении двух столетий термин «общество» используется для обозначения совокупности людей в границах суверенного государства или в тех пределах, которые, на наш взгляд, могут рассматриваться как границы суверенного государства, уже существующие или же только еще устанавливаемые. Каким бы ни было происхождение этих групп людей, составляющих государство, в наше время они вряд ли связаны кровным родством.

На деле одним из принципов [организации] большинства суверенных государств являлось в последние два века то, что они состояли из «граждан» - из *демоса*, а не из *этноса* - и потому

представляли категорию скорее юридического, нежели культурологического порядка. Более того, вовсе не самоочевидно, что категория «граждан» определяется географическими границами; иначе говоря, она совершенно не обязательно совпадает со множеством людей, проживающих в то или иное время в том или ином суверенном государстве. Некоторые люди, живущие в государстве, не являются его гражданами, а некоторые его граждане живут за пределами страны. Наконец, хотя государства устанавливают порой весьма различающиеся правила получения (и утраты) гражданства, определенные нормы существуют в каждом из них, равно как существуют и правила, регулирующие въезд иностранных

144 граждан на территорию государства (иммиграцию) и юридические права нерезидентов. При этом передвижение людей (иммиграция и эмиграция) не является особенностью современной миро-системы, этот феномен (сравнительно масштабный) известен с давних времен. Начнем с истоков. Современная миро-система формировалась на протяжении долгого XVI столетия, и в ее первоначальные географические пределы входила большая часть европейского континента и отдельные территории американского. В этих пределах развивавшееся разделение труда приняло форму капиталистического миро-хозяйства. Параллельно складывалась и необходимая для поддержания этой исторической системы институциональная структура. Одним из ее элементов - весьма существенным - было создание так называемых суверенных государств, включившихся в межгосударственную систему. Разумеется, то был длительный процесс, а не единичный акт. Описывая его, историки говорят о государственном строительстве в Европе - начиная с абсолютизма конца XV века, становления дипломатии и ее правил, возникших в итальянских городах-государствах в эпоху Возрождения, создания колониальных режимов на американском континенте и в других регионах мира и заканчивая распадом «всемирной империи» Габсбургов в 1557 году и Тридцатилетней войной, завершившейся Вестфальским договором, который заложил новые основы для становления государств и определения межгосударственных взаимоотношений. Однако этот процесс государственного строительства не только не был обособленным от развития исторического капитализма, но представлял собой составную его часть. Капиталисты существенно выиграли от образования суверенных государств, гарантирующих права собственности, обеспечивающих государственную защиту, приносящую дополнительные доходы, создающих искусственные монополии, необходимые для получения сверхприбыли, защищающих их интересы в борьбе с иностранными конкурентами и поддерживающих порядок, гарантирующий их личную безопасность. Разумеется, государства не были равны по своей силе, и именно это неравенство открывало перед более сильными госу-

145 дарствами возможность оказывать большую поддержку своим предпринимателям. Но там, где существовало разделение труда, уже не было ни одной территории, которая не находилась бы под юрисдикцией того или иного государства, как не было и индивидов, не подчинявшихся той или иной государственной власти.

Период с XVI по XVIII век был отмечен институционализацией этой системы. На всем его протяжении на воплощение суверенитета претендовали так называемые абсолютные монархи, хотя с течением времени в некоторых государствах правители стали испытывать давление, вынуждающее их разделить свою власть с законодателями или магистратурой. Все это, однако, еще предшествовало эре паспортов и виз, миграционного контроля и существенных привилегий в предоставлении права голоса, даруемых лишь весьма малой части населения. Основная масса людей представляла собой «подданных», и различия между теми из них, кто обладал наследуемыми правами, и теми, кто их не имел, редко оказывались значительными. В повседневной жизни XVII века едва ли проявлялись юридические и социальные различия между, скажем, бретонцем, приехавшим в Париж, и жителем долины Рейна, перебравшимся в Лейден (хотя первый пересекал границу между государствами, пусть и не слишком четко обозначенную, а второй - нет).

Французская революция изменила эту ситуацию, сделав подданных гражданами. Она исключила возможность восстановления прежних порядков - как для Франции, так и для капиталистической миро-системы в целом. Государства стали теоретически, а в некоторой степени и практически, ответственны перед значительной группой лиц, выразивших определенные политические требования. В XIX и XX столетиях эти требования реализовывались медленно и отнюдь не повсеместно, однако соответствующая риторика набирала силу. Но если появились граждане,

возникла и категория неграждан.

Преобразование подданных в граждан было следствием давления, исходившего как сверху, так и снизу. Народные требования участия в управлении государством, что можно назвать

146

требованием демократизации, проявлялись постоянно и отстаивались самыми разными способами. Именно они воплощались в популизме и революционных выступлениях. Последние раз за разом подавлялись, но сама идея продолжала жить, пусть и незаметно, и потенциал ее возрастал, даже если в тот или иной момент он выглядел слабым.

Реакцией на требования так называемых опасных классов, рассчитанной на длительную перспективу, стала политическая программа либерализма, победоносная идеология капиталистической миро-системы XIX века. Либералы предлагали программу осмысленных реформ, умеренных уступок и постепенных институциональных изменений. Программа либерализма XIX столетия состояла из трех основных элементов: избирательное право, перераспределение благ и национализм³. Избирательное право предполагало предоставление голоса все более широким кругам населения, проживающего в государстве. В XX веке всеобщее избирательное право для совершеннолетних мужчин и женщин (за исключением некоторых категорий граждан - например, преступников и умалишенных) стало нормой. К середине XX столетия перераспределение, предусматривавшее установленный государством и обеспечиваемый им минимальный уровень заработной платы, а также социальные выплаты и пособия, определявшиеся государством, также стало нормой, по крайней мере в наиболее богатых странах, и это стало принято называть государством благосостояния. Третий элемент программы - национализм - заключался в воспитании патриотического чувства привязанности к своему государству, что достигалось систематической деятельностью двух институтов: начальных школ (а их посещение стало обязательным к середине XX века) и службы в армии (которая даже в мирное время стала нормой в большинстве стран, по меньшей мере для мужчин). Повсеместное распространение получили также коллективные националистические ритуалы.

Если присмотреться к каждому из этих трех основных политических институтов - избирательному праву, государству благосостояния и национальным ритуалам и чувствам, - мы сразу заметим различие между гражданами и не-граждана-

147

ми, по меньшей мере в том его виде, в каком оно существовало еще два десятилетия назад. Право голоса имели лишь граждане. Немыслимой казалась сама возможность предоставления этого права не-гражданам, сколь бы долго они ни жили в данной стране. Государственные социальные программы обычно, хотя и не всегда, учитывали статус граждан или неграждан. И само собой разумеется, националистические ритуалы и чувства были прерогативой граждан, в которой негражданам сознательно отказывали, вследствие чего по отношению к ним возникали подозрения, особенно в периоды обострения межгосударственных отношений.

Но дело не только в том, что эти три института развивались в качестве таковых, пусть и параллельно, в отдельных государствах, но и в том, что граждане получали привилегию участвовать в строительстве и укреплении своих государств. Поскольку государства были вовлечены в межгосударственную конкуренцию за «богатство народов» и поскольку считалось, что блага граждан зависят от успехов государства, гражданство, особенно государств, занимавших верхние строчки в рейтинге, ранжировавшем страны по уровню валового национального продукта, рассматривалось в качестве исключительной привилегии. Более того, эти государства укрепляли в своих гражданах представления об их исключительности, что также льстило тем, кто пользовался правами гражданства.

Так гражданство приобрело ценность, которой человек вряд ли мог захотеть поделиться с другими. В качестве особой милости оно могло быть предоставлено отдельным особо жаждущим его просителям, но в целом гражданство оставалось привилегией, нуждающейся в строгой охране. Это казалось тем более справедливым, что граждане верили, будто за обретение данной привилегии они боролись с внутренними (и внешними) [врагами], и гражданство не стало для них простым подарком. Они ощущали свое моральное право быть гражданами. И то, что как идея гражданство представляло собой требование низов, делало его особенно эффективным инструментом, при помощи которого власть имущие могли усмирять опасные классы. Вся совокупность государственных ритуалов служила укреплению веры в то, что «нация» - это

148

если и не единственное, то уж самое важное сообщество, к которому принадлежит человек.

Гражданство свело на нет или, во всяком случае, набросило тень на все прочие конфликты - как классовые, так и те, что определялись расовыми, этническими, тендерными, религиозными и языковыми различиями между группами или слоями населения, различиями, отличными от устанавливавшихся принадлежностью к той или иной «нации» или к тому или иному «сообществу». Гражданство выдвинуло на первый план конфликт между нациями. Оно призвано было служить средством консолидации государства, и оно им великолепно служило, давая людям определенные привилегии или, по меньшей мере, поддерживая соответствующие иллюзии. Принцип гражданства в общем и целом стабилизировал современную миро-систему. Он существенно упорядочил *внутригосударственную* жизнь, и нет оснований утверждать, что под его влиянием межгосударственные отношения разупорядочились сильнее, чем в том случае, если бы он отсутствовал. Он стал не только стабилизирующим, но и неким центральным принципом. Стоит лишь взглянуть на юридическое оформление современных государств, чтобы понять, в какой мере практика законодательства и управления зависит от идеи гражданства. Тем не менее идея гражданства вызвала к жизни и некоторые трудности, поскольку одной из социально-экономических основ капиталистического миро-хозяйства выступает требование свободного перетока рабочей силы, или миграции. Миграция является прежде всего экономической необходимостью. Постоянные смещения центров хозяйственной активности в сочетании с различающимся демографическим положением [в том или ином регионе мира] означают неизбежность несоответствия локального спроса на отдельные виды рабочей силы и их предложение. В подобных случаях миграция оказывается в интересах как части наемных рабочих, так и части предпринимателей, и потому возникает рано или поздно, в зависимости от юридических препон (а скорее - от практических возможностей их преодоления). Несоответствие спроса и предложения рабочей силы в том или ином

регионе не может быть просто рассчитано в абсолютных значениях. Различные группы работников требуют, как правило, различной заработной платы за аналогичные виды работ. Мы называем это «исторически сложившимся уровнем заработной платы». Поэтому вполне вероятна ситуация, когда в определенной местности есть люди, ищущие работу, но они тем не менее откажутся от низкооплачиваемого труда, и для заполнения вакансий работодатели обратятся к потенциальным или уже наличествующим иммигрантам.

Итак, хотя гражданство ценится весьма высоко и поддерживает «протекционистские» чувства, миграция остается постоянно воспроизводимым элементом современной миро-системы, существующим с самого ее возникновения. Я не уверен, что в наши дни миграция, как бы ее ни определяли, в относительном выражении является, несмотря на впечатляющий прогресс транспорта, более интенсивной, чем в прошлые столетия, но нет сомнения, что сегодня она гораздо настойчивее отмечается политиками и вызывает больше политических разногласий. Статус гражданина изменил значение понятия «мигрант». Выходец из сельской местности или житель поселка, переезжающий в мегаполис, расположенный всего в пятидесяти километрах, может пережить такую же социальную трансформацию, как и тот, кто уезжает в город за пять тысяч километров. И если это не вполне верно для многих стран конца XX века, то так было практически везде вплоть до середины столетия. Различие лишь в том, что уезжающий за пять тысяч километров с гораздо большей вероятностью пересечет государственную границу, чем уезжающий за пятьдесят. Поэтому первый будет официально считаться мигрантом (то есть негражданином), а второй - нет.

Значительная часть мигрантов старается остаться в той местности (или, по меньшей мере, в той стране), куда они приехали. На этом новом месте жительства они обзаводятся детьми, которые воспитываются в культурной традиции страны, где родились они сами, а не их родители. Когда говорят о проблеме интеграции, обычно имеют в виду интеграцию в общество именно таких мигрантов и их потомков. В странах-150

реципиентах существуют различные правила предоставления гражданства лицам, родившимся на их территории, - от *jus soli* в Соединенных Штатах и Канаде до *jus sanguinis*, принятого в Японии и в несколько измененной форме - в Германии, а также множество смешанных вариантов. Интеграция является культурологическим, а не юридическим понятием. Иными словами, предполагается существование неких культурных норм, которые человеку надлежит принять. В странах, где говорят на одном языке и исповедуют одну религию, такие нормы представляются достаточно очевидными и не слишком навязчивыми, хотя даже и там всегда имеются

«меньшинства», отклоняющиеся от нормативных установлений. В других странах, где население более разнородно, также имеются господствующие нормы, но они кажутся более жесткими и неприятными. Возьмем Соединенные Штаты. В период их основания культурной нормой гражданства здесь был англоязычный протестант, принадлежавший к одной из четырех церквей: англиканской, пресвитерианской, методистской или конгрегационалистской. Конечно, это было типично прежде всего для высших слоев, но касалось также части среднего и низшего классов. Постепенно эта норма распространилась и на другие разновидности протестантизма. Последователи римско-католической церкви и иудеи были полностью интегрированы в эту культурную норму совсем недавно, в 50-е годы, когда политики начали говорить об «иудейско-христианском наследии». Афроамериканцы, по существу, так никогда и не были включены в этот круг, в то время как американцы латиноамериканского и азиатского происхождения все еще ждут своего возможного включения. Мусульмане, впервые образовавшие в последние годы значительное по численности меньшинство, до сих пор остаются полностью исключенными [из процесса интеграции].

Пример США иллюстрирует гибкость, допустимую при определении нормативной культурной модели государства. Ее полуофициальная идеологическая интерпретация состоит в том, что такая гибкость демонстрирует способность американской политической системы превращать «чужаков» в граждан и тем самым «интегрировать» их в состав нации. В этом 151

нет никаких сомнений. Но мы также видим и то, что ни в один момент все мигранты не оказываются реально интегрированными. Можно даже задать вопрос: не является ли особенностью данного процесса то, что он никогда не приведет к полной интеграции всех иммигрантов? Эмиль Дюркгейм предположил однажды, что по мере преодоления реальных различий социальная система пересматривает принятые нормы, воссоздавая различия, пусть даже малозначительные. Возможно, это относится и к понятию гражданина. Когда все резиденты окажутся реально интегрированными, не попытается ли «нация» найти новое определение самой себя, превращающее те или иные группы в новых «маргиналов»?

Такая мрачная мысль предполагает, что создание маргинализованных групп несет определенную пользу обществу, и социальные мыслители в той или иной форме неоднократно высказывали подобные гипотезы: как нужен козел отпущения, на которого можно возложить ответственность за общие грехи; как полезны низшие слои, поддерживающие в опасных классах постоянный страх перед ухудшением их нынешнего положения и вынуждающие их понизить уровень выдвигаемых требований; насколько образ явно отличной страты способен укрепить лояльность той или иной группы. Все эти допущения небезосновательны; при этом они комплексны и универсальны. Ранее я отмечал, что подобная модель сохранялась практически в неизменном виде с начала XIX века вплоть до 70-х годов XX столетия, и лишь затем в ней произошли некоторые изменения. Я продолжаю придерживаться этой позиции. Всемирная революция 1968 года стала во многих отношениях поворотным пунктом в истории современной миро-системы. Однако осталось незамеченным то ее последствие, что впервые со времен Французской революции было поставлено под сомнение понятие гражданства. И дело не только в том, что 1968 год был «интернациональным» по своему духу. В конце концов, международные движения возникали на протяжении XIX и XX веков: ими были, с одной стороны, различные рабочие «интернационалы» и, с другой, всякого рода движения в защиту мира. Как известно, все они не могли сколь-либо эф-

152
 фективно противостоять приливу у своих членов или сторонников националистических чувств в условиях роста международной напряженности. Самым ярким и систематически упоминающимся примером этого была реакция социалистических партий на начало Первой мировой войны⁴. Ее причины хорошо описаны А.Кригелем и Дж.Дж.Беккером в книге, посвященной дискуссиям, развернувшимся среди французских социалистов в 1914 году, за считанные недели до начала войны:

Оказалось, что любой социализм есть не более чем современная форма якобинства, и в момент нависшей над страной опасности голос «великих предков» перевешивает лозунги социалистической теории, значимость которой в данной ситуации выглядит неочевидной. В неудержимом патриотическом вихре, охватившем страну, война вновь стала восприниматься как инструмент реализации давних стремлений: место общечеловеческого мирного братства заняло братство, устанавливаемое войной и [скрепляющееся] победой⁵. Интернационалистские ориентиры движений рабочего класса и борцов за мир исказились тем, что

все они создавали свои организационные структуры на национальном уровне. Но еще более важно, что они [сознательно] строили их именно таким образом, поскольку считали, что поставленных целей можно наилучшим, если не единственным, образом достичь именно на национальном уровне. Иными словами, они действовали прежде всего как граждане, объединившиеся в политической борьбе за влияние на свои государства и даже за их трансформацию. Они полагали, что, изменяя свои государства, внесут вклад в международную солидарность, которую проповедовали. Но даже несмотря на это, их политическая активность оставалась преимущественно, и даже практически всегда, ограниченной национальным уровнем. Отличительной чертой всемирной революции 1968 года было как раз противоположное: выражение разочарования в возможностях реформаторства на государственном уровне. Ее участники пошли даже дальше. Они всерьез утверждали, что ориентация на национальное реформаторство сама по себе выступает основным способом сохранения той миро-153 системы, которую они хотели разрушить. Революционеры отвергали не народные, а гражданские акции, даже если последние именовали себя «революционными». Именно это, скорее всего, вызвало наибольшее замешательство среди тех, кто оказался напуган восстаниями 1968 года, в особенности среди «старых левых».

Такая позиция революционеров 1968 года проистекала из двух положений, к которым они пришли, анализируя историю современной миро-системы. Первый сводился к тому, что, по их мнению, распространенная прежде двухступенчатая стратегия всех существовавших в мире антисистемных движений - сначала следует обрести государственную власть, а затем преобразовывать мир - была исторической ошибкой. Революционеры 1968 года утверждали, что антисистемные движения, возникшие в XIX и XX веках - социал-демократы, коммунисты, а также национально-освободительные силы, - все они в той или иной мере пришли к власти после Второй мировой войны. Но, даже добившись ее, они не изменили мир.

Это первое наблюдение воспринималось как еще более критическое благодаря второму положению. Получая в свои руки власть, антисистемные движения действительно инициировали реформы, которые выглядели прогрессивными, если не революционными. Но... систематически эти реформы осуществлялись в интересах строго определенного и ограниченного круга представителей низших слоев общества - в основном мужчин, принадлежавших к доминирующей в той или иной стране этнической группе и обладавших большим знанием национальной культуры (не следует ли сказать: «более интегрированных в эту культуру»?). Многие другие оставались без внимания, забытые, «маргинализированные» и не получившие ничего даже от этих ограниченных реформ - женщины, «меньшинства» и всевозможные группы, не относившиеся к основной части населения.

И после 1968 года эти «забытые люди» начали социально и интеллектуально организовываться в движения, протестуя не просто против господствующей страты общества, но и против идеи гражданства, как таковой. Одной из важнейших ха-154

актерных особенностей этих постреволюционных* движений было то, что они не просто боролись против расовой и сексуальной дискриминации. В конце концов, движения, выдвигавшие соответствующие требования, существовали и задолго до того. Но постреволюционные движения добавили нечто новое. Они не только настаивали на том, что расовая и сексуальная дискриминация является продуктом индивидуальных предрассудков и предпочтений, но подчеркивали, что она принимает и «институциональные» формы. Они предпочитали говорить не об очевидной юридической дискриминации, а о ее завуалированных формах, скрытых за ширмой понятия «гражданин», поскольку последнее представляло собой симбиоз полномочий и наследуемых прав.

Разумеется, любая борьба против *скрытого* нарушения прав наталкивается на проблему правдоподобия, подтверждений и, наконец, доказательств. Поэтому [представители постреволюционных] движений акцентировали внимание на результате. Они подчеркивали, что с точки зрения фактов сохраняются серьезные различия в иерархическом положении отдельных групп, и это, как они утверждали, могло быть следствием институционального отмежевания [некоторых из них]. На утверждение о том, что институциональное отмежевание осуществляется систематически и что оно имманентно присуще современной миро-системе, возможны, по существу, лишь две ответные реакции. Первый, консервативный, ответ состоит в отрицании этого предположения. Различия в положении

иерархизированных групп могут быть вполне очевидными, но из этого не следует, что их причиной является институциональное отмежевание. Можно настаивать, что разница результатов обусловлена другими факторами, в первую очередь связанными с культурными различиями между группами. Такая линия рассуждений наталкивается на простую логическую проблему. Даже если мы обнаружим и измерим эти культурные разли-

* Здесь и далее до конца главы постреволюционными называются движения, развивавшие требования, выдвинутые революционерами 1968 года - Прим. ред. 155

чия, чем сможем мы их объяснить - другими культурными различиями? В конце концов, мы будем вынуждены прийти либо к социально-структурному объяснению, что и делают сторонники гипотезы об институциональной расовой и сексуальной дискриминации, либо к объяснению социо-биологическому, с легкостью приводящему нас к классическим идеям расовой и сексуальной исключительности.

Если же мы хотим отказаться от консервативной позиции и принять социально-структурное объяснение, то проблема различий трансформируется в задачу снижения их остроты, что представляется нравственным благом. Не удивительно, что этот вопрос оставался одним из центральных, если не центральным, в политических дискуссиях на протяжении последних двадцати лет. Рассмотрим различные позиции, выдвигавшиеся в ходе дебатов. Самая простая позиция - вследствие того, что она наилучшим образом соотносится с традиционными аргументами либеральной идеологии - заключается в том, что институциональная расовая и сексуальная дискриминация может быть преодолена путем превращения тайного в явное. И, добавляли многие, поскольку для этого требуется время, такое превращение можно ускорить временной систематической поддержкой тех, кто исторически оказывался обделенным в условиях институционального отмежевания. В этом и заключался смысл первой из программ подобного типа - американской программы «утверждающих действий».

По сути, программы утверждающих действий предназначались для «интегрирования» в общество тех, кому теоретически давно уже надлежало быть в него интегрированными. Эти программы претендовали на возрождение изначальной сути идеи гражданства, которая, как утверждалось, была искажена силами, оппозиционными полной реализации демократических, или гражданских, принципов. Программы утверждающих действий были нацелены на то, чтобы показать добрые начала «системы» и непорядочность отдельных входящих в нее людей. Поэтому упомянутые программы редко, почти никогда, не поднимали фундаментального вопроса: насколько системным является то обстоятельство, что теоретически провозглашенные принципы гражданства никогда в

полной мере не были реализованы - даже по отношению к тем категориям лиц, к которым, казалось бы, они и должны были применяться.

В программах утверждающих действий - даже при значительных усилиях (как политических, так и финансовых), принесших лишь скромные результаты - содержались три просчета. Во-первых, имело место значительное скрытое сопротивление их реализации, проявлявшееся в разных формах. Так, например, введение в школах смешанного образования оставалось предельно сложным, пока на практике существовала жилищная сегрегация. Но бросить вызов этой реальной сегрегации означало бы вторгнуться в сферу, которая традиционно считается областью индивидуального выбора, и в то же время поднять вопрос о жилищной сегрегации на основе классового признака (так как границы классовых и расово-этнических групп тесно коррелировали друг с другом).

Во-вторых, программы утверждающих действий в определенном смысле принимали в расчет лишь тех, кто теоретически имел основания претендовать на те права, которыми обладали граждане. Но само определение этого круга лиц представляло собой часть этой проблемы. Следует ли отказать детям мигрантов (турок в Германии, корейцев в Японии и т. д.) в правах, которыми пользуются дети коренных жителей? Следует ли отказать в ряде прав самим мигрантам? Все это порождало многочисленные требования распространить права, дарованные гражданам, на тех, кто юридически таковыми не являлся, - как посредством упрощения процедуры приобретения гражданства, так и через официальное предоставление не-гражданам прав, которыми исторически обладали только граждане (например, права голоса, пусть хотя бы только на так называемых местных выборах).

В-третьих, логика утверждающих действий обусловила появление все новых типов групп, выдвигавших самые разнообразные требования, а также их структурирование. Это с

неизбежностью порождало казавшуюся не имеющей конца систему квот. Становилось неясным, когда эти временные меры уступят место так называемой реформированной или получившей свое адекватное воплощение системе граждан-157

ства, которая более не апеллировала бы к группам и подгруппам граждан. Это вызывало к жизни обвинения в «расизме наоборот» - обвинения в том, что ранее отмежеванные [от нации] группы теперь на законных основаниях получали особый статус, в первую очередь за счет других групп низших слоев населения, которые исторически были более интегрированы (в частности, мужчин-пролетариев, принадлежавших к доминирующей этнической группе). Программа утверждающих действий поэтому не только стала трудной для реализации и сомнительной с точки зрения ее полезности, но и утратила политическую поддержку. Это проявлялось не только в рамках политических структур государства, но и в университетах как структурах знания. Те, кто хотел преодолеть ограниченность традиционных представлений о гражданстве, могли, разумеется, идти и иным путем, выступая за равенство результатов. Вместо дальнейшей «интеграции» маргинализированных групп можно было пойти по пути установления равенства групп. Если программы утверждающих действий основывали свою легитимность на либеральном представлении о полном равенстве граждан, концепция равенства групп исходила из либеральной доктрины самоопределения наций. Следует заметить, что последняя предназначалась лишь для анализа межгосударственных отношений, в частности для обоснования права «колоний» стать суверенными государствами, но достаточно было лишь небольшой натяжки, чтобы применить ее к взаимоотношениям групп внутри государства.

То был путь поиска групповой «идентичности», и он приветствовался представителями женских организаций, расовых и этнических сообществ, приверженцами той или иной сексуальной ориентации, да и членами постоянно растущего числа иных групп. Путь поиска групповой идентичности вел к полному отказу от концепции интеграции. Почему маргиналы должны стремиться к интеграции в доминирующие группы? Само понятие интеграции, утверждали сторонники групповой идентичности, предполагает признание биологической или, по меньшей мере, биокультурной иерархии; оно допускает, что группа, в которую человек)' предлагается интег-158

рироваться, в определенном смысле более совершенна, чем та, к которой он принадлежит. Напротив, настаивали адепты групповой идентичности, наша историческая идентичность не менее, если не более, значима, чем идентичность тех, в чью среду нам предлагают влиться. Путь, избранный группами, убежденными в значимости своей идентичности и, соответственно, призывающими к утверждению массового осознания таковой, представляет собой путь «культурного национализма». Это, по сути, путь сегрегации, не обязательно противостоящий государственной интеграции. Можно призывать идти по этому пути во имя интеграции, структурными единицами которой являются не индивидуальные, а, так сказать, коллективные граждане.

Стоящие на этом пути трудности связаны с определением групп, которые способны стать коллективными гражданами. Эта проблема вовсе не обязательно является неразрешимой. Швейцария исторически признает в качестве своего рода коллективных граждан носителей того или иного языка. Часть населения Квебека выступает за признание двух исторически сложившихся «наций», составляющих канадское государство. По тому же пути пошла и Бельгия. Не касаясь специфики политической ситуации в этих странах, можно утверждать, что политическая дилемма, порождаемая идеей коллективных граждан, заключается в сохранении нерешенных, а может быть, и неразрешимых ключевых проблем отмежевания тех или иных групп (например, так называемых аллофонов в Канаде) или их взаимоналожения (проблема Брюсселя в Бельгии).

Но это не является главной трудностью культурного национализма. В конце концов, во многих случаях можно достичь политического компромисса. Основной проблемой, как и в случае с утверждающими действиями, выступает определение и самоопределение самих групп. Поскольку как бы мы ни определяли группы по культурному признаку, в них, как известно, все равно найдутся более мелкие, а то и пересекающиеся группы. В рамках женских движений дискуссии о пренебрежении интересами цветных женщин (на национальном уровне) или женщин из «третьего мира» (на мировом уровне)-159

не) со стороны белых женщин вызвали разногласия, сопоставимые с теми, что были спровоцированы дебатами о недостаточном внимании мужчин к интересам женщин. Еще раз следует подчеркнуть, что существуют пути политического решения этих проблем. Все они в той или иной степени тяготеют к предложениям «радужной» коалиции, коалиции, объединяющей все маргинализованные группы того или иного государства с целью воздействовать на общественный интерес в необходимом им ключе. Но такие коалиции также сталкиваются с двумя проблемами: кого считать более угнетенными и несущими большие жертвы; какие группы можно считать [достаточно] маргинализованными, чтобы их можно было включить в коалицию. Как и в случае утверждающих действий, возникают обвинения в исключении [определенных групп]. Если могут существовать отдельные школы для черных или для женщин, способствующие развитию их самосознания, допустимы ли отдельные школы для белых или для мужчин? Непримируемая последовательность представляет собой обоюдоострое оружие.

Неудивительно, что в силу трудностей, возникающих при любом варианте решения проблемы, маргинализованные группы оказываются глубоко расколоты по стратегическим вопросам и обнаруживают тактическую непоследовательность. Можно задать вопрос, не коренятся ли эти трудности в том, что подспудно все споры об интеграции и отмежевании, даже те, что шли в рамках постреволюционных групп, несмотря на их риторику, базировались все же на разделяемой ими идее гражданства, а она по самой своей сути всегда сочетает в себе понятия включенности и исключенности.

Идея гражданства не имеет смысла, если отсутствуют исключенные из этой категории лица. В конечном счете они являются произвольно составленной группой. Разумной основы для определения критериев исключения не существует. Кроме того, понятие гражданина связано с самой структурой капиталистического миро-хозяйства. Оно порождено строительством государственной системы, иерархической и полярной, и это означает, что гражданство (во всяком случае, в наиболее богатых и мощных государствах) неизбежно рас-

160
считается как привилегия, делиться которой с другими не в интересах граждан. Оно связано с необходимостью держать в узде опасные классы, а наилучшим образом это достигается через включение [в состав граждан] одних и исключение других.

Итак, я считаю, что в целом дискуссия об интеграции и отмежевании завела нас в тупик, из которого нет выхода. Лучше не ввязываться в нее, а задуматься о том, как можно выйти за пределы идеи гражданства. Разумеется, это предполагает и выход за пределы структур нашей современной миро-системы. Но поскольку я верю, что таковая находится на последней стадии кризиса (тезис, на развитие которого у меня сейчас не хватит времени)⁶, нам следует по меньшей мере рассмотреть вопрос о том, какую историческую систему мы намерены построить и возможно ли будет в ней обойтись без идеи гражданства; а если да, то чем ее можно будет заменить.

Глава восьмая. Социальные изменения?

Изменения бесконечны. Ничего не меняется*

В названии моего доклада я использовал слова, с которых начинается книга «Современная миро-система»: «Изменения бесконечны. Ничего не меняется». Эта тема кажется мне центральной для нынешних интеллектуальных исканий. Бесконечность изменений - это основополагающее убеждение современного мира. Ничего не меняется - это вечное стенание тех, кто утратил иллюзии в отношении так называемого прогресса эпохи модернити. Но это и вечная тема обобщающего научного этоса. В любом случае оба утверждения претендуют на то, чтобы отражать эмпирическую реальность. И разумеется, оба часто - и даже как правило - отражают нормативные предпочтения.

Эмпирические свидетельства крайне неполны и в конечном счете неубедительны. Во-первых, данные, которые могут быть представлены, и выводы, которые могут быть из них извлечены, зависят, по-видимому, от отрезка времени, выбранного в качестве единицы измерения. На коротких временных промежутках масштаб социальных изменений оказывается более заметным. Кто станет возражать, что мир в 1996 году выглядит иначе, чем в 1966-м? И в еще большей степени отличается от 1936 года? Не говоря уже о 1906-м? Достаточно взглянуть на Португалию - ее политическую систему, экономическую жизнь, ее культурные нормы. И все же во мно-

* Выступление на открытии III Португальского социологического конгресса «Практика и процессы социальных трансформаций», Лиссабон, 7 февраля 1996 года. 162

гих отношениях Португалия очень мало изменилась. Особенности ее культуры вполне узнаваемы. Ее социальная иерархия трансформировалась лишь незначительно. Ее геополитические союзы по-прежнему отражают те же фундаментальные стратегические интересы. Ее относительное положение в мировой экономической системе на протяжении двадцатого столетия практически не менялось. И разумеется, португальцы по-прежнему говорят по-португальски - факт немаловажный. Так какое же из утверждений верно: что изменения бесконечны или что ничего не меняется?

Возьмем более долгий период, скажем, пятьсот лет - возраст современной миро-системы. В некоторых отношениях изменения кажутся гораздо разительнее. В этот период возникла мировая капиталистическая система, которой сопутствовали фантастические технологические перемены. Сегодня самолеты кружатся вокруг планеты, а многие из нас, сидя дома, могут благодаря сети Интернет мгновенно вступить в контакт с людьми на другом краю Земли, обмениваться текстами и изображениями. В январе 1996 года астрономы объявили, что они могут теперь «заглянуть» так далеко в глубины космоса, что предполагаемый размер Вселенной увеличивается пятикратно. Речь идет о миллиардах галактик с миллиардами звезд в каждой, разделенных расстояниями в немыслимое число световых лет. В то же время астрономы сделали еще одно открытие, обнаружив подобные Земле планеты, вращающиеся вокруг двух таких звезд. Это первые планеты такого рода, которые, по их утверждениям, имеют климатические условия, способные поддерживать [существование] сложных биологических структур, иначе говоря - жизнь. Сколько еще таких планет будет открыто в ближайшее время? Пятьсот лет назад Бартоломео Диас прославился тем, что сумел на парусном судне достичь Индийского океана, но он даже не мечтал о тех экзотических возможностях, которыми мы теперь располагаем. И в то же время многие ученые, включая обществоведов, утверждают, что мы достигли конца [эпохи] модернити, что современный мир переживает завершающий кризис и что скоро мы окажемся в мире, который больше будет походить на четырнадцатый век, чем на двадцатый. 163

Наиболее пессимистично настроенные среди нас предвидят вероятность того, что миро-хозяйственную инфраструктуру, в которую было вложено пять столетий труда и капитала, ждет судьба римских акведуков.

Но раздвинем наши горизонты еще дальше, на период в десять тысяч лет. Это вернет нас в те времена, когда не было ни Португалии, ни иной современной политико-культурной общности, в те времена, которых мы почти не в состоянии исторически реконструировать, когда сельское хозяйство еще не было одним из важнейших видов человеческой деятельности. Некоторые исследователи оглядываются на многочисленные тогдашние племена - сообщества, члены которых по сравнению с нами тратили на труд, нацеленный на поддержание своего существования, гораздо меньше времени, чьи социальные отношения отличались куда большим равенством и чья природная среда была далеко не столь загрязнена и опасна. Поэтому для некоторых аналитиков так называемый прогресс последних десяти тысячелетий представляется сплошным затяжным регрессом. Более того, некоторые ждут и надеются, что этот длительный цикл близится к завершению, и мы, быть может, вернемся в «более здоровые» условия прошлого. Как следует оценивать столь разнящиеся точки зрения? И как следует относиться - с научной и философской позиций - к обсуждаемым проблемам? На мой взгляд, это ключевые вопросы, стоящие перед общественными науками в целом, равно как и перед всеми носителями и творцами знаний. Однако это не те вопросы, на которые можно ответить посредством еще одного эмпирического исследования, даже самого масштабного. Известно, сколь сложно грамотно разработать и провести эмпирическое исследование по любому конкретному вопросу, не создав прочного интеллектуального каркаса, позволяющего осуществить осмысленный анализ [тем более] в этих расширенных рамках. Слишком долго, в течение двух столетий, мы отказывались от такой задачи на том основании, что широта этих рамок порождает соблазн «философских спекуляций», которых следовало бы избегать «рационально мыслящим ученым». То была ошибка, впасть в которую мы больше не можем себе позволить. 164

Общественные науки в их нынешнем виде являются плодом эпохи Просвещения. Разумеется, в некоторых отношениях они представляют собой наиболее совершенный продукт Просвещения, поскольку в них воплощена вера в то, что человеческие общества - это постигаемые структуры,

деятельность которых поддается пониманию. Принято было считать, что из этой предпосылки следует вывод о способности людей решительным образом воздействовать на их собственный мир - рационально используя свои возможности, достичь разумно организованного общества. Следует сказать, что социология приняла, практически не подвергнув сомнению, еще одну аксиому эпохи Просвещения - [тезис] о неизбежной эволюции мира в направлении разумного общества, иными словами - о естественности прогресса.

Если верить в неизбежность прогресса и его рациональность, то изучение социальных изменений нельзя рассматривать просто как одну из конкретных областей обществоведения. Скорее, все общественные науки сводятся к изучению социальных изменений. Другого предмета для изучения просто нет. Но в таком случае справедливо сказать, что изменения бесконечны, хотя и происходят в определенном направлении. Действительно, ход истории носит вполне телеологический характер: от варварства к цивилизации, от животного поведения к богоподобному, от невежества к знанию.

Если теперь мы станем обсуждать практику и процессы социальных изменений, мы будем подгонять свои рассуждения под четкие и простые шаблоны. Мыслительный процесс превращается в техническое упражнение. От нас требуется проанализировать текущие изменения, происходящие на наших глазах, и вынести суждение о том, являются ли они более или менее рациональными или, если хотите, функциональными. В сущности, мы объясняем, почему изменения происходят так, а не иначе. Затем, если пожелаем, мы можем рекомендовать те или иные меры корректировки, дабы всем вместе быстрее двигаться в направлении разумного общества. Именно поэтому нас признают полезными, политически сознательными или практичными. Разумеется, в этих упражнениях мы можем менять параметры времени и пространства, 165

применяя наши знания к анализу действий очень маленьких групп на протяжении очень коротких периодов времени или значительно более крупных сообществ (скажем, суверенных государств) на протяжении средних по длительности временных промежутков, как, например, тогда, когда мы задаемся вопросом, что можно сделать для развития национальной экономики. Прямо или косвенно, обществоведы самых разных направлений сознательно или неосознанно занимались такого рода анализом по меньшей мере в течение столетия. Когда я говорю «косвенно», я имею в виду, что многие социологи не считали свою деятельность напрямую связанной с проявлением общественной рациональности. Они, скорее, определяли ее как стремление к более совершенному абстрактному знанию. Но даже при этом они отдавали себе отчет в том, что создаваемое ими знание используется другими людьми для совершенствования общественного устройства. Они понимали и то, что экономический фундамент их научных исследований зависит от их способности продемонстрировать общественную полезность своей работы хотя бы в долгосрочном плане.

Те же самые посылки, выработанные в эпоху Просвещения, могут, однако, повести нас в ином, и даже прямо противоположном, направлении. Предполагаемая рациональность социального мира, как и предполагаемая рациональность мира физического, подразумевает возможность формулирования положений, подобных законам, описывающим этот мир во всей его полноте и сохраняющим свою силу во времени и пространстве. Иными словами, это подразумевает наличие универсалий, которые могут быть сформулированы четко и элегантно, из чего следует вывод, что задача нашей научной деятельности заключается именно в формулировании этих универсалий и их проверке на прочность. Разумеется, это не что иное, как приспособление ньютоновской науки к изучению социальных реалий. Не случайно поэтому, что уже в начале XIX века некоторые авторы для описания такого подхода пользовались термином «социальная физика».

Поиск законоподобных положений на деле вполне совместим с политически ориентированными практическими ис-166

следованиями, нацеленными на достижение телеологической цели разумно устроенного общества. Ничто не мешает преследовать обе эти цели одновременно. И все же здесь есть одна маленькая загвоздка, и связана она с проблемой социальных изменений. Если модель человеческих взаимоотношений следует универсальным законам, сохраняющим силу во времени и пространстве, то тезис о том, что изменения бесконечны, не может быть верным. Скорее, наоборот, из этого следует, что ничего не меняется, или, по крайней мере, не происходит никаких фундаментальных перемен. Тогда утверждение о том, что общественные науки сводятся к

изучению социальных изменений, не просто ошибочно, а прямо противоположно истине. Становится возможным определить изучение социальных изменений просто как изучение нарушений равновесия. В таком случае, если даже начать, подобно Герберту Спенсеру, с того, чтобы половину времени и усилий уделить изучению социальных изменений - социальной динамики как дополнения к социальной статике, - то очень скоро исследование этих изменений превращается в придаток социологии, рудимент былого интереса к социальным реформам. О том, что именно так все и происходит, можно судить по нашим институтским учебникам, в которых «социальным изменениям» отводится последняя глава как запоздалое признание того, что при статическом описании социальных структур кое-какие проблемы остаются невыясненными. Сегодня представления о мире, свойственные эпохе Просвещения, подвергаются критике, причем с самых разных сторон. Мало кто готов признать, что принимает их без оговорок. Легко можно прослыть наивным. Тем не менее эти представления глубоко укоренились в практике и теории общественных наук. И чтобы их изжить, потребуется нечто большее, чем громогласные обличения со стороны постмодернистов. Обществоведы не решаются на фундаментальный пересмотр своих представлений о социальных изменениях, пока не убедятся в том, что в результате этого их наука не потеряет смысла своего существования. Поэтому я хочу предложить рациональное обоснование социологии, логика кото-167

рого альтернативна той, что исходит из веры в прогресс. Я полагаю, что мы не должны больше быть пленниками методологического спора (Methodenstreit) между идиографическими и номотетическими формами знания [между науками, изучающими конкретные явления и всеобщие законы]. Я считаю, что произошедший фундаментальный раскол между «двумя культурами» - наукой, с одной стороны, и философией и литературой, с другой, вводит в заблуждение и должен быть преодолен. Я убежден, что в отношении социальных перемен ни одно из утверждений - ни что «изменения бесконечны», ни что «ничего не меняется» - не может быть принято за истинное. Короче говоря, я полагаю, что нам нужно найти другой, более совершенный язык для описания социальной действительности.

Позвольте мне начать с обсуждения наиболее традиционного социологического понятия - понятия общества. Говорят, что мы живем в обществе и являемся его частью. Предполагается, что существует много обществ, но (как следует из самого термина) каждый из нас является постоянным членом лишь одного из них, а к другим, как правило, примыкает временно. Но где пролегают границы между обществами? Социологи любыми путями усердно и намеренно обходили этот вопрос. Этого, однако, нельзя сказать о политиках, поскольку корни ныне применяемого нами понятия «общество» обнаруживаются в недалеком прошлом. Оно вошло в обиход в те пятьдесят лет после Французской революции, когда в Европе широко распространилось утверждение (или, по крайней мере, предположение), что общественная жизнь в современном мире разделяется на три различные сферы - государство, рынок и гражданское общество. Границы государства были закреплены юридически. При этом подразумевалось (хотя никогда не утверждалось открыто), что границы двух других сфер совпадали с государственными - по той единственной причине, что на этом настаивало само государство. Считалось, что Франция, или Великобритания, или Португалия представляют собой национальные государства, имеют национальный рынок, или экономику, и суть национальное 168 общество. То были априорные утверждения, и они редко доказывались.

Хотя эти три конструкции существовали в одних и тех же границах, тем не менее подчеркивалось, что они отличаются одна от другой - как в том смысле, что каждая из них является автономным образованием и руководствуется собственным набором правил, так и в том, что действия каждой могли войти в противоречие с интересами других. Так, например, государство могло не представлять «общество». Именно это имели в виду французы, когда проводили различие между *le pays legal* и *le pays reel*. Действительно, первоначально общественные науки строились на этом различии. Каждой из этих гипотетических конструкций соответствовала своя «дисциплина». Экономисты изучали рынок, политологи - государство, социологи - гражданское общество. Такое разделение социальной действительности восходило непосредственно к философии Просвещения. В нем воплощалась вера в «эволюцию» социальных структур и в то, что определяющей чертой наиболее совершенных из них, т. е. социальных структур эпохи модернити, является их «дифференциация» на автономные сферы. Совершенно очевидно, что эта догма принадлежит либеральной идеологии - доминирующей идеологии двух последних столетий,

ставшей геокультурой современной миро-системы. Кстати, доказательством того, что постмодернизм не столько знаменует разрыв с модернизмом, сколько, более вероятно, является его новейшей версией, служит тот факт, что постмодернистам не удалось уйти от этой схематической модели. Когда они яростно протестуют против гнета объективных структур и превозносят достоинства «культуры», воплощающей субъективный фактор, они, в сущности, провозглашают примат сферы гражданского общества над сферами государства и рынка. Но попутно они соглашаются с тем, что разделение на три автономные сферы реально и представляет собой исходный пункт анализа.

Сам я не верю, что эти три сферы деятельности автономны и следуют разным принципам. Совсем наоборот! Я считаю, что они столь тесно переплетены друг с другом, что любое действие в пределах любой из них всегда осуществляется 169

на основе выбора, в котором определяющим моментом является общий эффект, и что попытка изолированно рассматривать цепочку последовательных действий скорее затемняет, чем проясняет картину реального мира. В этом смысле я не думаю, что современный период истории существенно отличается от предшествующих. Иными словами, я не думаю, что «дифференциация» является отличительной особенностью [эпохи] модернити. Я также не склонен считать, что мы живем среди множества отличающихся друг от друга «обществ», что в каждом государстве существует одно-единственное «общество» и что каждый из нас, по сути, является членом только одного такого «общества».

Позвольте объяснить почему. Мне кажется, что подходящей для анализа социальной действительности единицей является то, что я называю «исторической системой». Смысл, который я вкладываю в это понятие, выражен в самих этих словах. Историческая система - это система в той мере, в какой она строится на существующем разделении труда, позволяющем ей поддерживать и воспроизводить самое себя. Границы системы определяются эмпирическим путем, в зависимости от границ существующего на данный момент разделения труда. Конечно, каждая социальная система обязательно имеет в своем распоряжении различные институты, которые направляют или сдерживают общественные действия таким образом, чтобы по мере возможности обеспечивалась реализация основных принципов системы, а организованное поведение людей и групп, опять-таки по мере возможности, соответствовало ее требованиям. Мы можем, если пожелаем, назвать эти институты экономическими, политическими и социокультурными, однако эти обозначения неточны, поскольку все институты действуют методами, являющимися одновременно политическими, экономическими и социокультурными, ибо в противном случае они оказались бы неэффективными.

Но в то же время каждая система неизбежно имеет исторический характер. Это значит, что она возникла в некоторый момент времени в результате поддающихся анализу процессов; что она развивалась с течением времени и что она 170

завершилась (или подошла к своему концу) в силу наступления (как и во всех системах) момента исчерпания или близости исчерпания способов сдерживания ее внутренних противоречий. Бросаются в глаза те последствия, какие применение этой схемы имеют для анализа проблемы социальных перемен. В той мере, в какой речь идет о системе, мы говорим, что «ничего не меняется». Если структуры не остаются по сути неизменными, то в каком смысле мы можем говорить о системе? Однако в той мере, в какой мы утверждаем, что система «исторична», мы говорим, что «изменения бесконечны». Идея истории предполагает диахронический процесс. Именно это имел в виду Гераклит, утверждая, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Именно это имеют в виду некоторые естествоиспытатели, говоря о «стреле времени». Отсюда следует, что оба утверждения, касающиеся социальных изменений, верны в рамках данной исторической системы.

Существуют разные типы исторических систем. Капиталистическое миро-хозяйство, в котором мы сейчас живем, - один из них. Римская империя - другой. Сооружения майя в Центральной Америке символизируют еще один тип. Кроме того, существует бесчисленное множество малых исторических систем. Определить точное время возникновения и исчезновения какой-либо системы - трудная и спорная эмпирическая задача, хотя теоретически сделать это достаточно просто. Историческую систему можно определить как общество, характеризующееся разделением труда с интегрированными производственными структурами, набором организующих принципов и институтов, а также определенным периодом своего существования. Наша задача как

социологов - подвергнуть такие исторические системы анализу, иными словами -показать природу свойственного им разделения труда, выявить организующие принципы, описать деятельность их институтов, обрисовать историческую траекторию, от генезиса до упадка. Разумеется, каждому из нас нет необходимости выполнять эту задачу в полном объеме. Как любая другая научная деятельность, эта задача разделяется на части и выполняется сообща. Но пока у нас не будет ясности относительно 171

рамок анализа (исторической системы), наша работа не будет ни глубокой, ни плодотворной. Все изложенное выше применимо к любой исторической системе. И каждый из нас может направить свою энергию на изучение той или иной из них. В прошлом большинство тех, кто считал себя социологами, ограничивались анализом современной миро-системы, но для этого нет каких-либо разумных причин.

Однако у общественных наук есть и другая задача. Коль скоро истории известны множество исторических систем, можно поставить вопрос об их взаимоотношениях. Связаны ли они между собой онтологически, и если да, то каким образом? Эта проблема относится к сфере, которую Кшиштоф Помиан называет хронософией. Мировоззрение эпохи Просвещения дало на этот вопрос свой ответ. Взаимоотношения того, что я называю историческими системами, рассматривались как последовательные и кумулятивные: с течением времени сменяющие друг друга системы становились сложнее и рациональнее, достигая высшей точки в [эпохе] модернити. Единственный ли это способ описания их отношений? Я так не думаю. На самом деле я полагаю, что этот способ определенно ошибочен. На этом уровне вновь возникает основной вопрос - о социальных изменениях. Мы должны спросить самих себя, что именно - изменение или повторение -является нормой не только внутренней жизни каждой исторической системы, но и всей истории человеческой жизни на нашей планете. И здесь я также намерен утверждать, что ни одно из этих утверждений - ни что изменения бесконечны, ни что все остается неизменным - не является удовлетворительным.

Но прежде чем перейти ко всеобщей истории, вернемся к вопросу о социальных изменениях в рамках отдельной исторической системы. Для этого рассмотрим историческую систему, частью которой мы являемся и которую я определяю как капиталистическое миро-хозяйство. В связи с этим возникают три теоретических вопроса, которые не следует смешивать один с другим. Первый из них - это вопрос генезиса. Чем объяснить возникновение этой исторической системы, 172

почему она появилась в определенный период и в определенном месте? Второй вопрос - это вопрос системной структуры. По каким правилам действует данная историческая система или, в более общем плане, данный тип исторической системы? С помощью каких институтов эти правила воплощаются в жизнь? Что представляют собой противоборствующие общественные силы? Каковы тенденции развития этой системы? И третий вопрос - вопрос упадка. В чем заключаются противоречия данной исторической системы, в какой момент они становятся непреодолимыми, приводя к бифуркации системы с последующей ее гибелью и приходом ей на смену одной или нескольких систем? Эти три вопроса не просто представляют собой три отдельные проблемы, но требуют для своего разрешения различных методологий (способов возможного исследования). Я хотел бы подчеркнуть, насколько важно не смешивать эти вопросы. Главным образом анализ социальных изменений сводится лишь ко второй группе вопросов - функционированию исторической системы. Аналитики обычно стоят на позициях функциональной телеологии; иными словами, они исходят из того, что генезис системы получает адекватное объяснение, если им удастся показать, что описываемая ими система функционирует успешно, и они могут утверждать, что она «превосходит» в этом отношении предыдущие системы. В этом смысле генезис обретает квазиизбежный характер, вписанный в логику истории и призванный привести в движение определенную систему. Что касается гибели системы, то она объясняется не ей присущими противоречиями (противоречия имеют место в любой системе), а вероятным несовершенством способов ее функционирования, неизбежно уступающим место предположительно более совершенным способам. Следует также заметить, что этот вопрос редко ставится в отношении нынешней исторической системы - столь очевидным представляется нам ее превосходство. Такую аргументацию приводят в своих книгах многие авторы, стремящиеся представить современный западный мир как конечный итог логического процесса эволюции; их доводы сводятся обычно к поиску в исторических 173

глубинах тех семян, из коих выросла модерни - наша славная «современность». Существует и альтернативный способ рассмотрения той же самой проблемы. Проиллюстрируем его на примере современной миро-системы. Будем считать, что время ее формирования относится примерно к 1450 году, а местом возникновения является Западная Европа. Тогда в этом регионе более или менее одновременно произошли великие события, которые мы называем Возрождением, изобретением книгопечатания, Великими географическими открытиями и протестантской Реформацией. Этот период сменил мрачную эпоху, когда свирепствовала чума, жители бежали из деревень, когда разразился так называемый кризис феодальных доходов. Как можно объяснить конец феодальной системы и замену ее другой в пределах одной географической зоны?¹

Прежде всего нужно объяснить, почему существовавшая ранее система не могла больше приспособиваться к новым условиям. Я думаю, что в данном случае это объясняется одновременным крахом трех главных институтов, которые поддерживали феодальную систему: класса феодалов, государства и церкви. Резкое сокращение численности населения привело к тому, что меньше стало крестьян, обрабатывающих земли, упали доходы, снизились рентные платежи, сократилась торговля и, соответственно, пришло в упадок или исчезло как институт крепостное право. В целом крестьяне получили возможность работать на крупных землевладельцев на более выгодных экономических условиях. В результате власть и доходы феодалов значительно уменьшились. Вслед за этим рухнуло государство - как из-за снижения поступлений в казну, так и из-за того, что ради спасения личных состояний в наступившие тяжелые времена феодалы вступили в борьбу друг с другом (истребление аристократии еще более ослабило их по отношению к крестьянству). Церковь переживала внутренние потрясения как по причине своего сложного экономического положения, так и в силу того, что крах класса феодалов привел к общему ослаблению власти.

Когда историческая система приходит в упадок, обычно происходит обновление правящей страты, чаще всего в ре-174

зультате внешнего завоевания. Если бы так сложилась судьба Западной Европы в XV веке, то мы бы обратили на такую трансформацию не больше внимания, чем на замену династии Мин в Китае маньчжурской династией (именно это я имел в виду, говоря об обновлении правящего слоя в результате завоевания извне). Однако всего этого не случилось в Западной Европе. Вместо этого феодальную систему сменила радикально отличная от нее капиталистическая система. Следует отметить, что такое развитие событий вовсе не было неизбежным, а скорее - удивительным и неожиданным. Можно сказать, что это не было таким уж счастливым исходом. Но в любом случае - как и почему это случилось? Я бы предположил, что это произошло в первую очередь потому, что обновление правящего слоя извне в силу случайных и необычных обстоятельств оказалось невозможным. Наиболее вероятных завоевателей, монголов, постиг крах по причинам, не имеющим отношения к событиям в Западной Европе, а иной волны завоевателей не нашлось. Османская империя возникла немного позже, и в тот момент, когда она вознамерилась покорить Европу, новая европейская система уже достаточно окрепла - ровно настолько, чтобы сдерживать наступление завоевателей из-за Балканских гор.

Но почему же на смену феодализму пришел капитализм? Нужно вспомнить, что капиталистические предпринимательские слои давно уже существовали в Западной Европе и во многих других регионах мира; фактически такие слои существовали в течение столетий, если не тысячелетий. Однако во всех прежних исторических системах находились мощные силы, ограничивавшие их свободу действий и возможность превратить свои мотивации в определяющую черту системы. Это особенно четко проявилось в христианской Европе, где мощные институты католической церкви вели постоянную борьбу с ростовщичеством. Здесь, как и повсюду в мире, идея капиталистического предпринимательства считалась крамольной, и тех, кто занимался такой деятельностью, терпели лишь в укромных уголках социальной вселенной. Капиталистические силы не стали в одночасье более мощными или легитимными в глазах большинства. Их мощь никогда не была 175

решающим фактором; напротив, таковым выступала сила социальной оппозиции капитализму. Но внезапно институты, поддерживавшие эту оппозицию, ослабли. Неспособность их восстановить или создать им подобные в результате обновления доминирующего слоя посредством завоевания извне на какое-то время открыла перед этими капиталистическими силами беспрецедентные

возможности, и они быстро заполнили образовавшуюся брешь и сумели консолидироваться. Такое развитие событий следует признать экстраординарным, неожиданным и, во всяком случае, вовсе не predetermined (к этой идее мы еще вернемся).

Тем не менее неожиданное стало реальностью. С точки зрения социальных изменений это было то уникальное событие, к которому никак не относится утверждение, будто «ничего не меняется». В данном случае изменение оказалось фундаментальным. Это фундаментальное изменение, обычно из своекорыстных соображений именуемое «подъемом Запада», я назвал бы «моральным крушением Запада». Но поскольку капитализм, набрав силу, проявил себя как очень динамичная система, он быстро показал свою хватку и со временем вовлек всю планету в свою орбиту. Таким, обусловленным случайным стечением обстоятельств, я вижу генезис современной миро-системы, в которой мы все сегодня живем.

Теперь мы подходим ко второму вопросу относительно исторической системы: каковы законы, по которым она действует? Какова природа ее институтов? Каковы ее главные внутренние конфликты? Я не буду занимать время подробным анализом современной миро-системы, а лишь кратко суммирую основные положения. Что определяет данную систему как капиталистическую? Мне кажется, что *отличительным ее признаком* является не накопление капитала, а приоритет бесконечного накопления капитала. Иными словами, это система, институты которой приспособлены к тому, чтобы в среднесрочной перспективе вознаграждать тех, кто считает главным делом накопление капитала, и карать всех тех, кто пытается отстаивать другие приоритеты. Набор специально созданных для этого институтов включает в себя выстраивание 176 товарных цепочек, связывающих воедино географически разделенные виды производственной деятельности с целью оптимизации нормы прибыли во всей системе, сеть современных государственных структур, объединенных в межгосударственную систему, создание аккумулирующих доходы домохозяйств, служащих основной единицей социального воспроизводства, и со временем - единой геокультуры, легитимизирующей указанные структуры и призванной сдерживать недовольство эксплуатируемых классов.

Можно ли говорить о социальных изменениях внутри этой системы? И да, и нет. Как и в любой другой системе, социальные процессы постоянно совершают колебательные движения, которых мы в состоянии истолковать. В результате система обретает циклический ритм, который можно наблюдать и измерять. Поскольку такие ритмы по определению состоят из двух фаз, мы можем при желании предположить, что изменение происходит всякий раз, когда кривая совершает поворот. Но фактически мы имеем здесь дело с процессами, которые, в сущности, повторяются в широком плане и тем самым определяют контуры системы. Ничто, однако, не повторяется в точности. И что еще более важно, механизмы «возвращения в равновесное состояние» связаны с постоянными изменениями системных параметров, которые также могут быть представлены как отражающие долговременные тенденции. В качестве примера, касающегося современной миро-системы, приведу процесс пролетаризации, который медленно шел по восходящей в течение пяти столетий. Подобные тенденции показывают постоянный количественный рост, поддающийся измерению, но (старая проблема) мы по-прежнему должны задавать самим себе вопрос - в какой момент этот количественный рост приводит к качественным изменениям? Ответ, без сомнения, должен быть таким: пока система не прекратит действовать по прежним правилам. Но рано или поздно такой момент наступает, и можно говорить о том, что эти долгосрочные тенденции подготовили третью фазу - гибель системы.

То, что мы охарактеризовали как долгосрочные тенденции, - это, по существу, векторы, выводящие систему из ба-177

зисного состояния равновесия. Все тенденции, количественно выражаемые в процентах, имеют асимптотический характер. Когда они приближаются к асимптоте, становится невозможным значительно увеличивать проценты, поэтому процесс не может больше выполнять функцию восстановления равновесного состояния. По мере того как система все дальше и дальше отклоняется от равновесия, колебания приобретают все более непредсказуемый характер, и происходит бифуркация. Вы заметили, что я пользуюсь здесь моделью Пригожина и других исследователей, которые видят в этих нелинейных процессах объяснение некумулятивных, непредetermined радикальных трансформаций. Представление о том, что процессы, происходящие во Вселенной, объяснимы и в конечном счете упорядочены, хотя и недетерминированы, представляет собой наиболее значительный вклад в естественные науки за

последние десятилетия и [основу для] радикального переосмысления еще недавно господствовавших научных взглядов. Смеем сказать, что это также и самое обнадеживающее подтверждение возможности проявления творчества во Вселенной, в том числе, разумеется, и творческих способностей человека.

Я полагаю, что современная миро-система переживает сейчас период преобразований примерно такого рода, как я описал. Нетрудно заметить, что произошло множество событий, подорвавших основы капиталистического миро-хозяйства и тем самым породивших кризисную ситуацию. Во-первых, это повсеместное разрушение сельского уклада жизни (дерурализация). Разумеется, последнее всегда превозносилось как триумф принципов модернити. Теперь не требуется так много людей, чтобы прокормить человечество. Преодолено то, что Маркс называл «идиотизмом деревенской жизни» - и такое определение широко поддерживалось за пределами марксистских кругов. Но с точки зрения нескончаемого накопления капитала подобное развитие событий означает опустошение прежде казавшегося неисчерпаемым резервуара людских ресурсов, часть которых могла периодически включаться в рыночно-ориентированное производство за мизерное вознаграждение (что позволяло восстанавливать 178

среднемировую норму прибыли, снижавшуюся усилиями их предшественников, которым удавалось при помощи профсоюзов со временем повышать уровень заработной платы и увеличивать свои доходы). Эта неустойчивая резервная армия труда, состоящая из представителей низшего класса, готовых работать за минимальную плату, на протяжении пятисот лет во всех регионах мира оставалась важнейшим элементом поддержания нормы прибыли. Но ни одна группа трудящихся не задерживалась долго в этой категории, и эта армия должна была периодически пополняться. Дерурализация делает такую практику невозможной. Это хороший пример тенденции, приблизившейся к асимптоте.

Вторая тенденция - рост социальных издержек, обусловленный правом предприятий экстернализовать свои производственные расходы. Экстернализация издержек (иными словами, фактическая оплата мировым сообществом значительной части производственных расходов той или иной фирмы) является вторым важным элементом поддержания высокого уровня прибыли и, как следствие, обеспечения бесконечного накопления капитала. До тех пор, пока кумулятивные издержки казались невысокими, этому не придавалось значения. Но внезапно пришло осознание, что они слишком значительны, и в результате повсюду в мире общественность обеспокоилась проблемами экологии. Расходы на возмещение экологического ущерба огромны. Кто будет их оплачивать? Даже если эти расходы возложить на всех людей (при явной несправедливости такой меры), проблема немедленно возникнет вновь, если правительства не настоят на интернализации компаниями всех своих издержек. Но если они это сделают, то чистая прибыль стремительно пойдет вниз.

Третья тенденция - следствие демократизации миро-системы, происходящей в результате того, что геокультура узаконила [демократическое] давление как важнейший элемент политической стабилизации. Сейчас эта тенденция развилась настолько, что народные требования стали обходиться очень дорого. На удовлетворение современных социальных ожиданий большей части человечества, касающихся поддержания на адекватном уровне [систем] здравоохранения и образования-179

ния, в настоящее время уходит значительная доля создаваемой в мировом масштабе прибавочной стоимости. Фактически такие расходы являются формой социальной заработной платы, возвращающей производящим классам значительную часть прибавочной стоимости. Как правило, это происходит при посредничестве государства, например, в рамках реализации программ социального обеспечения. Сегодня мы являемся свидетелями серьезной политической борьбы вокруг масштабов этих расходов. Либо они будут сокращены (но насколько это совместимо с политической стабильностью?), либо норма прибыли снова снизится, причем весьма значительно. И наконец, имеет место крушение традиционных антисистемных движений или, как я их называю, «старых левых». Это не идет на пользу капиталистической системе, а представляет величайшую для нее опасность. Традиционные движения были де-факто гарантами сохранения существующей системы, поскольку убеждали опасные классы общества в том, что им принадлежит будущее, что более равноправное общество вот-вот будет создано (если не для них, то для их детей); тем самым эти движения подпитывали как оптимизм [простых людей], так и их терпение. За последние двадцать лет вера народа в эти движения (во всех их вариациях) рухнула, а вместе с ней и их

способность направлять гнев в безопасные русла. Поскольку фактически все эти движения пропагандировали укрепление государственных структур (с целью трансформации системы), вера в такие реформистские государства тоже была основательно подорвана. Это меньше всего устраивает защитников нынешней системы, несмотря на всю их антигосударственную риторику. Предприниматели очень рассчитывают на государство, призванное гарантировать им монопольные позиции в экономике и подавлять «анархические» выступления опасных классов. Сегодня повсюду в мире мы наблюдаем ослабление государственных структур, а это приводит к растущему чувству незащищенности и созданию все большего числа специальных охранных структур. В некотором смысле это дорога назад, к феодализму.

Что можно сказать о социальных изменениях в рамках такого сценария? Можно утверждать, что мы опять стали сви-180

детелями гибели исторической системы, аналогичной краху европейского феодализма пять или шесть столетий назад. Что будет дальше? Точного ответа на этот вопрос мы не можем знать. Мы находимся в ситуации системной бифуркации, а это значит, что весьма незначительные разрозненные действия различных групп могут радикально изменить направление векторов и институциональные формы. Можем ли мы сказать, что живем в самый разгар фундаментальных структурных изменений? Даже этого мы не в состоянии утверждать. Мы лишь можем утверждать, что нынешняя историческая система вряд ли просуществует еще сколь-либо длительный срок (быть может, максимум пятьдесят лет). Что придет ей на смену? Это может быть другая структура, в основе своей похожая на нынешнюю, а может быть, и структура, радикально от нее отличающаяся. Это может быть одна структура, общая для целого географического региона, или же множество структур в разных уголках планеты. Как аналитики мы не будем уверены в результате до тех пор, пока процесс не завершится. Как участники процесса, живущие в реальном мире, мы будем делать все, что сочтем целесообразным для создания разумного общества. В данном докладе я предложил метод анализа той или иной исторической системы с точки зрения социальных изменений, используя в качестве примера анализ современной миро-системы. Когда некая историческая система находится в стадии генезиса или распада (распад одной системы -это всегда генезис другой или других систем), можно назвать это социальным изменением, при котором историческая система одного типа заменяется исторической системой другого типа. Примером может служить ситуация в Западной Европе, когда феодализм был вытеснен капитализмом. Но если одна историческая система сменяется другой системой того же типа, то это нельзя назвать социальным изменением. Примером могут служить события в Китае, когда империю династии Мин сменила империя маньчжуров. Эти империи отличались друг от друга во многих аспектах, но не по существу. В настоящее время мы переживаем процесс глубокой транс-

181
формации нашей миро-системы, но пока не знаем, повлечет это за собой фундаментальные социальные изменения или нет.

Такой альтернативный метод анализа представлений о социальных изменениях позволяет нам убедиться, что при рассмотрении действующей исторической системы видимость социальных перемен может быть очень обманчивой. Детали могут изменяться, но качества, определяющие суть системы, могут оставаться прежними. Если нас интересуют фундаментальные социальные изменения, следует пытаться обнаружить длительные тренды и отличать их от циклических ритмов, а также прогнозировать, до каких пор эти долговременные тенденции могут набирать силу, не нарушая равновесия, лежащего в основе системы.

Более того, когда мы переходим от анализа конкретной исторической системы к анализу общей истории человечества, то у нас нет каких бы то ни было оснований предполагать наличие линейной тенденции. До сих пор в известной нам истории любые расчеты, основанные на таком предположении, давали весьма неопределенные результаты и порождали великий скепсис в отношении любых теорий прогресса. Возможно, социологи 20 000 года, имея материал для более глубокого взгляда в историю, смогут утверждать, что глобальные долговременные тенденции существовали всегда, вопреки всем циклическим ритмам, о которых свидетельствуют кажущиеся постоянными переходы от исторических систем одного типа к историческим системам другого. Может быть. Пока же мне с философских и нравственных позиций представляется более благоразумным допустить, скорее, возможность прогресса, чем его предопределенность. Мое осмысление последних пяти столетий заставляет меня усомниться в том, что история современной миро-системы являет собой пример заметного прогресса нравов и, напротив, оставляет основания

считать ее примером их упадка. И это позиция здравомыслящего человека, а не убежденного пессимиста, разуверившегося в будущем.

Сегодня, как и в другие моменты упадка исторических систем, мы стоим перед историческим выбором, на оконча-

182

тельный итог которого может реально повлиять наш личный и коллективный вклад. Однако сегодняшний выбор в одном отличается от предыдущих. Это первый выбор, в который вовлечен весь мир, поскольку историческая система, в которой мы живем, впервые охватывает всю планету. Исторический выбор - это моральный выбор, но рациональный анализ социологов может сделать его осмысленным и, таким образом, определить нашу моральную и интеллектуальную ответственность. Я умеренно оптимистичен, полагая, что мы с достоинством примем этот вызов.

183

Часть II. Мир знаний

Глава девятая. Общественные науки и современное общество. Исчезающие основания рациональности*

То, что для производящего класса представляется «политикой», для класса интеллектуалов становится «рациональностью». И странно, что некоторые марксисты ставят «рациональность» выше «политики», почитая идеологическую абстракцию больше, чем экономическую конкретику. Антонио ГРАМШИ «Тюремные тетради»

Дело не только в том, что интеллектуалы превратили политику в рациональность, но и в том, что, утверждая таким образом достоинства рациональности, они выражали свой оптимизм и подпитывали оптимизм в других. Согласно их кредо, по мере приближения к правильному пониманию реального мира формируются условия для лучшего управления реальным обществом, а следовательно, для более полного раскрытия человеческого потенциала. Общественные науки как способ упорядочения знаний не только основывались на этой вере, но и полагали себя наилучшим методом осуществления рациональных исканий.

Так было не всегда. Некогда социальная мысль находилась под влиянием всепроникающего пессимизма. Общество считалось несправедливым и несовершенным, и ему, как предполагалось, суждено было навеки таким оставаться. Мрачное представление св. Августина, что на всех нас лежит несмысла-

* Вступительное слово на Международном коллоквиуме «Университеты и обществоведение: новые пути к общественной рациональности», организованном Итальянской ассоциацией социологов, Палермо, Италия, 26-28 октября 1995 года. 187

мое клеймо первородного греха, господствовало на протяжении большей части истории христианской Европы. По сравнению с другими подходами это была, несомненно, исключительно суровая хронософия. Но и другие воззрения, более близкие к идеям стоиков, и даже к традиции, идущей от Дионисия, не гарантировали [безоблачного] будущего. Буддистское искание нирваны представлялось долгим и трудным путем, пройти которым могли столь же немногие, как и обрести святость в христианстве.

То, что современный мир торжествовал, упиваясь «модернистским» мировоззрением (Weltanschauung) так долго, обусловлено тем, что он провозгласил хронософию, обращенную к реальности, универсальную и оптимистичную. Общество, каким бы несовершенным оно ни было, можно сделать лучше, причем лучше для каждого. Вера в возможность улучшения общества служила краеугольным камнем [эпохи] модернити. При этом, что следует подчеркнуть, не утверждалось, будто люди непременно станут более нравственными. Индивидуальное преодоление греховности, на что издавна были направлены религиозные искания, оставалось во власти Божьего суда (и Божьей милости). Его признание и вознаграждение за него относились к потустороннему миру. Мир модернити, напротив, был предельно реальным. Любые обещания должны выполняться здесь и сейчас или, по меньшей мере, в ближайшем будущем. Ориентиры этого мира были однозначно материалистичны, поскольку обещался экономический прогресс - в конечном счете опять-таки для каждого. Его перспективы в нематериальной сфере, воплощенные в понятии свободы, в итоге [также] могли быть сведены к материальным выгодам, а те из предполагаемых свобод, которые к ним не сводились, обычно отвергались как ложные. Наконец, следует отметить, сколь коллективистскими были идеалы модернити. Философы и

обществоведы этой эпохи столь убежденно рассуждают о центральной роли индивида в современном мире, что мы теряем из вида, в какой степени этот мир сформировал первую в истории поистине коллективистскую геокультуру, первое в истории эгалитаристское мировосприятие. Обещалось, что наша историческая 188 система достигнет однажды такого социального порядка, когда каждый обретет должную, а следовательно, относительно равную долю материальных благ, когда никто не будет иметь привилегий. Разумеется, я говорю лишь об устремлениях, а не о реалиях. Но все же ни один философ в средневековой Европе, в Китае времен династии Тан или в халифате Аббасидов [даже] не предполагал, что однажды все люди могут стать материально обеспеченными, а привилегии навсегда исчезнут. Все прежние философские учения считали иерархию неизбежной и в силу этого отвергали возможность «земного» коллективизма.

Поэтому, если мы хотим постичь сегодняшние дилеммы нашей исторической системы - капиталистического миро-хозяйства - и разобраться, почему концепция рациональности уже не наполняет нас прежним энтузиазмом, нам следует начать, как я полагаю, с осознания той степени, в какой [эпоха] модернизируется основываясь на материалистических и коллективистских посылах. В силу ее глубокой внутренней противоречивости сделать это непросто. Raison d'être капиталистической экономики, ее движущей силой было бесконечное накопление капитала. Основанное на изъятии прибавочной стоимости у одних людей и перераспределении ее в пользу других, оно несовместимо с материалистическими и коллективистскими идеалами. Капитализм материальный вознаграждает лишь некоторых и потому никогда не обещает успеха всем. Как обществоведам, нам известно, что один из самых плодотворных подходов к анализу социальной реальности заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на центральном противоречии и попытаться объяснить как его причины, так и следствия. Именно это я и предлагаю сделать. Я остановлюсь на том, почему идеологи [эпохи] модернизировать давали своим согражданам невыполнимые обещания, почему этим обещаниям долгое время верили, почему им не верят сегодня и каковы последствия этого разочарования. И наконец, я попытаюсь оценить значение всего этого для нас как обществоведов, прокламирующих (пусть даже и не всегда практикующих) [принципы] рационализма. 189

Модернити и рациональность

В обществоведении связь между подъемом капиталистической миро-системы и развитием науки и технологий выглядит очевидной. Но почему эти процессы связаны исторически? На этот вопрос Маркс и Вебер (как и многие другие) отвечали, что капиталистам приходилось действовать «рационально», если они стремились достичь своей основной цели - максимизации прибыли. Коль скоро капиталисты направляют всю энергию на достижение именно этой цели, они будут делать все от них зависящее для снижения издержек производства и выпуска пользующейся спросом продукции, а это предполагает применение рациональных методов не только к самому процессу производства, но и к управлению им. Поэтому они считают любые технологические достижения исключительно полезными и делают все возможное, чтобы способствовать развитию науки, стоящей за этими достижениями.

Все это так, но, на мой взгляд, не вполне объясняет сути дела. Можно предположить, что люди, стремившиеся к получению прибыли, как и люди, способные двигать вперед науку, имелись, приблизительно в одинаковых пропорциях, во всех основных цивилизационных центрах, причем на протяжении тысячелетий. Джозеф Нидхэм в своей фундаментальной работе «Наука и цивилизация в Китае» показывает масштаб научных проектов [предпринимавшихся] китайской цивилизацией. И мы хорошо знаем, насколько интенсивной и коммерциализированной была экономическая жизнь Китая. Мы снова приходим к классическому вопросу: «Почему же Запад?» Я не предлагаю обсуждать его в очередной раз. Многие обращались к нему [ранее], и я в том числе¹. Я хотел бы просто отметить очевидное для меня фундаментальное отличие, которое заключается в том, что в современной миро-системе технологический прогресс приносил очевидные выгоды, определявшие отношение к нему не только предпринимателей, имевших вполне понятные причины поощрять изобретателей и новаторов, но и политических лидеров, мотивы которых всегда были более сложными и периодически 190 проявлявшаяся враждебность которых технологическому прогрессу становилась в разных странах

и в разные эпохи основным препятствием на пути научных революций, подобных начавшейся в Западной Европе в XVII столетии.

Из этого я делаю четкий вывод: именно капитализм стал основой технологического развития, а не наоборот. Это очень важно, поскольку именно здесь лежит ключ к пониманию властных отношений. Современная наука представляет собой порождение капитализма и зависима от него. Ученые получали одобрение и поддержку со стороны общества, ибо предлагали проекты конкретных улучшений реального мира - замечательные механизмы, которые позволяли увеличить производительность, преодолеть ограничения времени и пространства, обеспечить каждому человеку лучшие условия жизни. Наука работала.

Вокруг этой научной деятельности сложилось целое мировоззрение. Утверждалось, что ученые лишены и должны быть лишены собственного интереса. Утверждалось, что ученые привержены и должны быть привержены «эмпирическому» подходу. Утверждалось, что ученые посвящают и должны посвящать себя поискам «абсолютной» истины. Утверждалось, что ученые стремятся и должны стремиться к поискам «простоты». Их задачу видели в анализе сложных явлений и нахождении простых и даже простейших законов, управляющих этими явлениями. И наконец, - что, может быть, наиболее важно - утверждалось, что ученые выявляют и должны выявлять непосредственные причины [явлений], а не их первопричины. Более того, эти представления и требования казались неотделимыми друг от друга, и их следовало воспринимать как нечто единое. Идеалы науки, в той мере, в какой они претендовали на то, чтобы всеобъемлющим и достоверным образом представлять деятельность ученых, были, конечно, окутаны мифами. В своей блестящей работе «Социальная история истины»² Стивен Шейпин показал центральную роль, которую играли общественный престиж и авторитет, не связанные с научной деятельностью, в определении научной состоятельности и статуса [членов] Лондонского Королевского общества в XVII веке. 191 То была, как он отмечает, состоятельность джентльменов, основывавшаяся на цельности личности, на доверии, чести и чувстве гражданского долга. И все же наука, эмпирическая наука, особенно ньютоновская механика, казавшаяся ее воплощением, стала той моделью, к которой неизбежно стали обращаться обществоведы, моделью, которую они впоследствии стремились копировать³. А тот джентльменский дух науки, на котором неизменно настаивал мир модернисты, был единственным возможным выражением рациональности, и это надолго стало лейтмотивом всего интеллектуального класса.

Но что означает рациональность? Обширная дискуссия на эту тему хорошо знакома любому социологу. Она отражена в работе Макса Вебера «Хозяйство и общество»⁴. Вебер приводит две пары определений рациональности. Первая обнаруживается в его типологии четырех видов социального действия. Два из этих видов признаются [автором] рациональными «целерациональный» (zweckrational) и «ценностно-рациональный» (wertrational). Вторая пара встречается в его оценках экономической активности, где он отмечает «формальную» и «сущностную» рациональность. Эти две антиномии почти идентичны, хотя и не вполне; по крайней мере, как мне кажется, не во всех своих значениях.

Позвольте мне для прояснения вопроса привести довольно большой отрывок из Вебера. В его концепции целерациональное социальное действие - это действие, «в основе которого лежит ожидание определенного поведения предметов внешнего мира и других людей; эти ожидания используются в качестве 'условий' или 'средств' для достижения активным субъектом своих рационально поставленных и продуманных целей» (1:24). Ценностно-рациональное социальное действие определяется им как действие, «основанное на вере в самодовлеющую ценность неких этических, эстетических, религиозных или других форм поведения, независимо от той степени, в какой они способны обеспечивать успех» (1:24-25).

Далее Вебер поясняет эти определения на конкретных примерах: 192

Примером чисто ценностно-рациональной ориентации могут послужить действия людей, которые, невзирая на возможный для себя ущерб, претворяют в жизнь свои убеждения о долге, достоинстве, красоте, религиозных предначертаниях, благочестии или важности некоего «предмета» любого рода. В рамках нашей терминологии, ценностно-рациональное действие всегда подчинено «заповедям» или «требованиям», в повиновении которым видит свой долг данный индивид. Лишь в той мере, в какой человеческое действие ориентировано на выполнение таких безусловных требований, можно говорить о ценностно-рациональном действии. Такое встречается в различной, большей частью весьма незначительной степени. Тем не менее из дальнейшего изложения станет ясно, что значение

такого типа [социального] действия настолько серьезно, что позволяет его выделить в особый тип [действия], хотя здесь и не делается попытка дать исчерпывающую в каком-либо смысле классификацию типов [человеческого] действия.

Действие является целерациональным (zweckrational) в том случае, если цель, средства и побочные результаты рационально взвешиваются и просчитываются. Это включает в себя рассмотрение альтернативных средств достижения цели, связей между целью и побочными последствиями и, наконец, отношения различных возможных целей друг к другу. Таким образом, в данном случае действие не аффективно и не традиционно*. Выбор между конкурирующими и сталкивающимися целями и следствиями может быть ориентирован ценностно-рационально. В таком случае поведение целерационально только по своим средствам. С другой стороны, индивид, вместо того чтобы руководствоваться рациональной ориентацией на систему ценностей, может включить конкурирующие и сталкивающиеся цели просто как данные субъективные потребности в шкалу по степени их сознательно взвешенной необходимости. Впоследствии он может ориентировать свое поведение таким образом, чтобы эти потребности по возможности удовлетворялись в установленном порядке, по принципу «предельной полезности». Ценностно-рациональная ориентация может, следовательно, находиться в различных отношениях с целерацио-

* Аффективное и традиционное действия представляют собой два других выделяемых М.Вебером типа социального действия, но в данном случае не рассматриваются. - *Прим. ред.*

193

нальной ориентацией. С целерациональной точки зрения ценностная рациональность всегда иррациональна. Действительно, чем больше абсолютизируется ценность, на которую ориентируется поведение, тем более «иррационально» в этом смысле само поведение. Ибо чем безусловнее для индивида самодовлеющая ценность [поведения] (чистота убеждения, красота, абсолютное добро или выполнение своего долга), тем в меньшей степени он принимает во внимание последствия совершаемых действий. Впрочем, абсолютная целерациональность действия, игнорирующая фундаментальные ценности, рассматривается лишь как предельный случай. (1:25-26)

Обратимся теперь к другой веберовской трактовке, которую я также хотел бы воспроизвести полностью:

Формальная экономическая рациональность» определяется мерой технически возможного для хозяйства и действительно применяемого расчета. Напротив, «сущностная рациональность» характеризуется степенью, в какой обеспечение определенной группы людей жизненными благами достигается посредством экономически ориентированного социального действия, учитывающего (в прошлом, настоящем или потенциально) определенные ценностные постулаты (*wertende Postulate*), независимо от природы этих ценностей. А они могут быть весьма разнообразны.

1. Данная терминология должна служить лишь выработке более ясного понимания слова «рациональное». Она представляет собой всего лишь более последовательное определение понятий, постоянно используемых в дискуссии о «рациональности» и экономических расчетах, в которых фигурируют деньги и товары.

2. Система хозяйственной деятельности может быть названа «формально» рациональной в той степени, в какой удовлетворение потребностей - основная цель рациональной экономики - может быть выражено и выражается количественно. Техника расчетов и, в частности, то, ведутся ли они в денежной или натуральной форме, выглядят принципиальной. Данное понятие [формальной рациональности] является, таким образом, точным, по крайней мере в том смысле, что денежные оценки обеспечивают максимальную степень формальной исчислимости™. Разумеется, и это верно лишь отчасти, при прочих равных условиях.

194

3. В свою очередь, понятие «сущностной рациональности» далеко не однозначно. Лишь один элемент является общим для любого «сущностного» анализа: такой анализ не ограничивается простой констатацией чисто формального и (относительно) однозначного факта, что целенаправленное действие основано на рациональном расчете, использующем наиболее совершенные технические методы, но определенным образом принимает во внимание высшие ценности, будь то этические, политические, утилитарные, гедонистические, феодальные (сословные) *standisch*), эгалитаристские или какие-либо еще, а результаты хозяйственной деятельности, как бы «рационально» исчислены они ни были, оцениваются также и по шкале «ценностной рациональности» или «сущностной целерациональности». Для этого типа рациональности существует бесконечное множество возможных шкал ценности, причем коммунистические и социалистические идеалы представляют лишь один из возможных вариантов. Последние, не будучи никоим образом однозначными сами по себе, всегда содержат элементы социальной справедливости и равенства. Среди прочих вариантов - критерии статусных различий, способности к власти, особенно к ведению войны, способности к политическому объединению; все эти элементы, как и многие другие, потенциально обладают «сущностным» значением. Однако ценность всех этих подходов заключается прежде всего в том, что они представляют собой базу для оценки *результатов* хозяйственной деятельности. Можно также независимо от них с этической, аскетической, эстетической и других точек зрения оценивать как дух этой деятельности (*Wirtschaftsgesinnung*), так и ее *инструменты*. В рамках этих подходов «чисто формальная» рациональность денежных расчетов может рассматриваться как второстепенная или даже противоречащая предусматриваемым ими конечным целям, независимо даже от результатов, вытекающих из современного отношения к вычислениям. Целью этих размышлений не является вынесение ценностных суждений в данной сфере, но лишь определение и разграничение понятия «формального». В данном контексте «сущность» сама в определенном смысле «формальна», то есть является абстрактным родовым понятием. (1:85-86)

Когда я говорю, что смыслы этих двух пар определений не вполне идентичны, я допускаю, что

моя интерпретация весьма субъективна. Мне кажется, что, разграничивая целе-195 рациональное и ценностно-рациональные социальные действия, Вебер более высоко оценивает роль последнего. Он говорит о «безусловных требованиях». Он напоминает о том, что с точки зрения целерационального социального действия «ценностная рациональность всегда иррациональна». Однако, обращаясь к формальной и сущностной рациональности, он меняет ход своих рассуждений. Вполне рациональные подходы «не ограничиваются простой констатацией того чисто формального и относительно однозначного факта, что действие основано на 'целенаправленном' рациональном расчете», но и дают возможность оценивать его, используя соответствующую ценностную шкалу.

Можно было бы рассмотреть эту непоследовательность как одно из проявлений двусмысленности позиции Вебера по вопросу о роли интеллектуалов в мире модернити. Но сейчас меня интересует другое. Я полагаю, что эта двусмысленность, отмечаемая в веберовских классификациях, представляет собой часть геокультуры современного мира. Вернемся к цитате из Грамши, использованной в качестве эпиграфа к данному выступлению. Когда Грамши отмечает, что являющееся политическим для производящего класса представляется классу интеллектуалов как рациональное, он указывает именно на эту фундаментальную двусмысленность. Называя «политическое» «рациональным», не пытаемся ли мы отодвинуть вопросы сущностной рациональности на второй план по отношению к вопросам рациональности формальной, которые в таком случае останутся единственным предметом обсуждения? И если это так, то не потому ли, что в проявлениях формальной рациональности заключена не всегда признаваемая, но достаточно заметная приверженность ценностно-рациональному способу действий, способу, который, по Веберу, предполагает рассмотрение сталкивающихся целей «как субъективных потребностей и ранжирование их по степени сознательно взвешенной необходимости»? Как отмечает Вебер, в этом и состоит принцип предельной полезности. Но для выявления того, что именно является предельно полезным, необходимо разработать соответствующую шкалу. Кто ее задает, тот и определяет результат. 196

Рациональность и «опасные» классы

Говорить о рациональности - значит оставлять в тени политические, ценностно-рациональные альтернативы и не допускать [оценки] процесса, как того требует сущностная рациональность. В XVI-XVIII веках интеллектуалы еще могли быть уверены в том, что главным врагом рациональности является средневековый клерикальный обскурантизм. Их девиз был громко и четко сформулирован Вольтером: «Раздавите гадину». Все изменила Французская революция, трансформировавшая и прояснившая смысл всемирного культурно [-цивилизационно] го спора. Как я неоднократно утверждал⁵, она в гораздо большей степени изменила миро-систему, чем собственно Францию. Именно благодаря революции в рамках миро-системы была создана жизнеспособная и долговечная геокультура, и одним из важнейших следствий этого стала институционализация общественных наук. Здесь мы подходим к основной части наших рассуждений.

Французская революция и последовавшая за ней наполеоновская эпоха распространили в масштабах миро-системы два убеждения, которые захватили умы людей и которых не смогло поколебать жестокое сопротивление со стороны очень влиятельных сил. Эти убеждения заключаются в том, что, во-первых, политические перемены постоянны и являются нормой и, во-вторых, суверенитет принадлежит «народу». Они не были широко распространены до 1789 года, но затем обрели огромный вес и сохраняют свое влияние по сей день, несмотря на множество содержащихся в них противоречий. Проблема, связанная с этими идеями, заключается в том, что в качестве аргументов они доступны всем - не только тем, кто обладает властью, авторитетом и/или высоким социальным положением. Этими аргументами могут воспользоваться и «опасные классы» (данное понятие появилось в начале XIX века и обозначило людей и [социальные] группы, которые не обладали ни властью, ни авторитетом, ни [достойным] социальным статусом, но тем не менее заявляли о своем желании участвовать в политической жизни). К ним относились: численно растущий городской пролетариат За-197

падной Европы; обезземеленные крестьяне; ремесленники, чье развитие машинного производства могло лишить средств к существованию, и нищие иммигранты из иных культурных

Проблемы социальной адаптации таких групп и возникающие при этом конфликты в обществе хорошо знакомы социологам и представителям других общественно-исторических наук; они издавна исследовались в нашей литературе. Но какое отношение это имеет к понятию рациональности? В действительности самое прямое. Как известно, политическая проблема, поставленная опасными классами была не из простых. В тот самый момент, когда развитие капиталистического миро-хозяйства начало набирать обороты в смысле роста производительности и максимального устранения препятствий, создаваемых временем и пространством на пути быстрого накопления капитала (что мы ошибочно назвали индустриальной революцией, будто она началась только в то время), когда капиталистическое миро-хозяйство распространялось по всему земному шару (что мы ошибочно назвали переходом к «империализму», как будто раньше ничего подобного не происходило), опасные классы стали серьезнейшей угрозой стабильности миро-системы (что мы больше не хотим называть классовой борьбой, хотя это была именно она). Можно предположить, что образованные и стоящие на страже своих интересов привилегированные классы должны были находить на новые вызовы все более изощренные ответы. В то время этому служили общественные идеологии, общественные науки и общественные движения. Все они заслуживают внимания, но я буду говорить преимущественно об общественных науках.

Если политические перемены считаются нормой и если повсеместно признано, что суверенитет принадлежит народу, то вопрос состоит в том, как усмирить тигра или, говоря более строго, как умерить социальную стихию, преодолеть смуту и раскол [в обществе], но при этом остаться на пути перемен. Для этого и нужны идеологии - политические программы для управления переменами. Три основные идеологии XIX-XX веков представляют собой три возможных спо-198 ба контроля над переменами: замедлить их насколько возможно, выбрать единственно правильный темп или подстегнуть их. Они получили разные ярлыки: правая, центристская и левая. Или (что более выразительно): консерватизм, либерализм и радикализм (социализм). Их мы хорошо знаем.

Консерваторы обращались к ценности старых, проверенных временем институтов - к семье, общине, церкви, монархии - как к источникам человеческой мудрости, способным регулировать политические решения и нормы поведения. Утверждалось, что любые перемены, одобренные этими «традиционными» структурами, получают высшую санкцию и должны осуществляться с большим благоразумием. Радикалы, напротив, считали, что политические решения должны выноситься на основе «всеобщей воли», которая, согласно Руссо, воплощает в себе идею народного суверенитета. Они утверждали, что политические решения должны отражать эту «всеобщую волю», и чем оперативнее, тем лучше. Приверженцы среднего пути, известные как либералы, ставили под сомнение вечную ценность традиционных институтов, слишком зависимых от императивов сохранения существующих привилегий, равно как и адекватность выражения «всеобщей воли», излишне зависимой от прихотей большинства, способного преследовать лишь краткосрочные цели. Они предлагали передать сферу вынесения решений в ведение специалистов, которые, тщательно оценивая степень рациональности существующих и проектируемых институтов, выработали бы вариант постепенных и сбалансированных реформ, то есть выбрали бы нужный темп политических перемен.

Я не буду рассматривать здесь европейскую политическую историю XIX века или всемирную историю XX-го, а ограничусь подведением итогов. Либеральная идея «среднего пути» одержала победу. Либеральные убеждения легли в основу геокультуры нашей миро-системы. Они определяют политические структуры ведущих государств, создавших модель, к воплощению которой следовало и следует стремиться другим государствам. В наибольшей мере очевидно воздействие либерализма на консерватизм и радикализм. Эти два движения, бывшие некогда идеологическими альтернативами ли-199

беральному пути, оказались сведены до уровня вариантов либерализма, вполне уподобились ему (по крайней мере, в период с 1848 по 1968 год). При помощи триединой политической программы (всеобщее избирательное право, государство благосостояния, формирование национальной идентичности в сочетании с ориентированным вовне расизмом) либералам XIX столетия удалось устранить угрозу, которую представляли опасные классы. В XX веке либералы пытались воспользоваться подобной программой для усмирения опасных классов «третьего мира», и, как

долгое время казалось, безуспешно⁶.

Стратегия либерализма как политической идеологии заключалась в *управлении* переменами, чем должны были компетентно заниматься компетентные люди. Таким образом, во-первых, либералы считали своим долгом позаботиться о том, чтобы к управлению допускались лишь *компетентные* люди. И поскольку они полагали, что компетентность не передается по наследству (как ошибочно считали консерваторы) и не приходит вместе с предпочтениями большинства (как неверно полагали радикалы), то оставался один выход: управлять должны наиболее достойные. Это означало обращение к классу интеллектуалов или, по крайней мере, к тем его представителям, которые были готовы заняться «практическими» делами. Второе требование заключалось в том, чтобы эти компетентные люди действовали не на основе предрассудков, а на основе заранее получаемой информации о возможных последствиях предлагаемых реформ. Для этого им требовалось знать принципы функционирования общественных механизмов; значит, им нужны были исследования и исследователи. Обществоведение оказалось жизненно необходимо либерализму.

Связь между либеральной идеологией и обществоведением была и остается весьма тесной, причем не только на экзистенциальном уровне. Я говорю не о том, что все социологи были адептами либерального реформизма (это действительно так, но не имеет особого значения). Главное, что я хочу подчеркнуть, - это то, что либерализм и обществоведение базируются на одном и том же убеждении - на уверенности в 200

способности человека к совершенствованию, проистекающей из умения регулировать общественные отношения на научной (то есть рациональной) основе. Дело не только в том, что либералы и обществоведы разделяли это убеждение - без него они не могли бы существовать; они встроили его в свои институциональные структуры. Фундаментальное сходство вылилось в неразрывный союз. Я вовсе не отрицаю того, что среди обществоведов было немало консерваторов или радикалов. Следует отметить, однако, что почти никто из них не отклонился слишком далеко от центральной посылки, согласно которой все наши действия должны диктоваться самодостаточной рациональностью.

Единственное, чего не предприняли обществоведы, так это просчитывания последствий разделения рациональности на формальную и сущностную, что позволило бы четко осознать социальную роль каждого из типов рациональности. Но до тех пор, пока социальный мир достаточно хорошо функционировал с точки зрения либеральной идеологии, то есть до тех пор, пока господствовало оптимистическое мнение о необратимости прогресса, пусть даже и нестабильного, эти вопросы могли быть отодвинуты на задний план. Думаю, что так было даже в то страшное время, когда фашисты обрели гигантскую власть. Их мощь поколебала незатейливую веру в прогресс, но так и не сломила ее.

Недовольство рациональностью

Заголовок для этого раздела я выбрал с намеком, разумеется, на знаменитую работу Зигмунда Фрейда «Недовольство культурой»⁷. Эта работа - важное социологическое заявление, даже несмотря на то, что для объяснения своих основных положений автор пользуется теорией психоанализа. Фрейд излагает центральную проблему довольно просто:

Данная нам жизнь слишком тяжела, она приносит нам слишком много боли, разочарований, неразрешимых проблем. Чтобы ее вынести, нам не обойтись без облегчающих средств (как говаривал Теодор Фонтане, нам не обойтись без вспомо-

201

гательных конструкций). Такие средства, по всей видимости, подразделяются на три группы: сильное отвлечение, позволяющее нам едва замечать свои несчастья; заменители удовлетворения, несколько их уменьшающие; и наркотики, делающие несчастья неощутимыми. Что-нибудь подобное всегда необходимо. (25)

Но почему людям так трудно быть счастливыми? Фрейд выделяет три источника человеческого страдания:

а именно: всемогущая природа, брэнность нашего тела и недостатки учреждений, регулирующих взаимоотношения людей в семье, государстве и обществе. Насчет первых двух наш ум не знает колебаний: мы принуждены признать эти источники страданий неизбежными и подчиниться. Мы никогда не добьемся полноты власти над природой; наш организм, сам часть природы, всегда останется брэнным, ограниченным в приспособлении и в деятельности. Такое признание не ведет

к параличу деятельности, напротив, оно указывает направление нашим действиям. Если уж мы не в силах избавиться от всех страданий, то мы можем устранить одни, смягчить другие - в этом убеждает нас опыт многих тысячелетий. Иным является наше отношение к третьему, социальному источнику страданий. Его нам хотелось бы вообще устранить, ибо мы не в состоянии понять, почему нами же созданные институты не должны служить нам, скорее, защитой, быть благодеянием. (43-44)

Сделав это заявление, Фрейд начинает говорить как историк. Размышляя в 1920-е годы об отношении людей к социальным источникам их бед, он отмечает появившееся чувство разочарования:

За время жизни последних поколений люди достигли изумительного прогресса в естествознании и его технических применениях, их господство над природой необычайно укрепилось. Всем известны различные стороны этого прогресса, вряд ли есть нужда их перечислять. Люди гордятся этими достижениями и имеют на то право. Но они заметили, что ново-обретенное господство над пространством и временем, подчинение сил природы, исполнение желаний тысячелетней давности не увеличили наслаждения от жизни и не сделали их счастливее. (46) **202**

Посмотрим, что хочет сказать нам Фрейд. Люди пытаются искоренить социальные источники своих бед, поскольку они кажутся единственно им подвластными. Фрейд не говорит о том, правильно ли такое восприятие, он лишь утверждает, что оно понятно. Я уже отмечал, что либерализм дал представителям опасных классов надежду на то, что устранение социального источника несчастий станет однажды возможным. Неудивительно, что это заявление было принято с таким воодушевлением. Неудивительно, что консерваторам и радикалам пришлось сплотиться вокруг либеральных идей. Более того, либералы заявляли, что могут гарантировать успех посредством распространения рациональности. Они указывали на очевидные достижения, обусловленные применением рациональности в естественных науках, и утверждали, что она будет столь же эффективна в науках социальных. Именно мы, обществоведы, поручались за это. Фрейд утверждает также, что люди защищаются от страданий тремя способами: отвлечением, использованием субститутов удовлетворения и интоксикацией. И следует, наконец, задать себе вопрос: а не были ли гарантии рациональности, обещания несомненного прогресса одной из форм интоксикации, тем опиумом народа, о котором говорил Маркс, или опиумом самих интеллектуалов, как парировал Марксу Раймон Арон? Вполне возможно, что правы были и Маркс, и Арон. Наконец, Фрейд предполагает, что в современном обществе начинает распространяться неудовлетворенность анестетиками. Запасы «опиума» иссякают. Пристрастившимся же для достижения прежнего эффекта требуются все большие дозы. Побочное действие оказывается слишком сильным. Одни умирают; другие бросают вредную привычку.

Фрейд застал лишь начало этой эры. Все эти процессы развернулись куда более масштабно на моих глазах, в 1970-1980-х годах. И сегодня выжившие начинают массово отказываться от вредного пристрастия. Чтобы понять это, необходимо вернуться к вопросу о том, как власть имущие ответили на вызов, брошенный опасными классами. Я уже говорил о трех способах: об общественных идеологиях, обществен-

203
ных науках и общественных движениях. Возможно, вы удивились тому, что я включаю общественные движения в число инструментов власти - ведь обычно они считаются структурами, противостоящими власти и порой стремящимися полностью разрушить ее основания. Безусловно, в стандартном понимании сущности этих движений содержится большая доля правды. Антисистемные силы, появившиеся на политической арене в XIX веке в двух основных формах - социалистических (рабочих) и националистических движений - действительно находились в оппозиции власти и зачастую стремились полностью разрушить ее основы. Однако со временем именно эти движения стали одним из ключевых механизмов поддержания устойчивости властных структур. Как же возник такой парадокс? Дело не в том, что властям удалось манипулировать этими движениями: как правило, они не занимались их планомерным ослаблением и не переманивали их лидеров на свою сторону. Такие случаи, конечно, имели место, но они не были ни основным, ни даже очень важным средством. Подлинное объяснение этому, как часто бывает в социальных науках, лежит в структурной плоскости.

На протяжении истории противостояние между народом и властью почти всегда принимало разрушительные формы - бунты, забастовки, восстания. Почти все из них были спонтанны: происходил некий толчок, но отсутствовала подготовленная организационная база. В результате

подобные разрушительные действия приводили к решению отдельных насущных проблем, но не к последовательной общественной трансформации. Временами такая оппозиция принимала форму религиозных движений, а точнее, вела к возникновению религиозных взглядов, противостоящих официальным. На их основе создавались различные секты, ордены и иные организационные структуры, просуществовавшие в течение столетий. Долгая история основных мировых религий показывает, что подобные структуры постепенно обретают маргинальное, но устойчивое место в рамках крупных религиозных сообществ, утрачивая заряд своей политической оппозиционности.

204

В насыщенной идеями Французской революции атмосфере XIX века оппозиционные движения, особенно в Европе, все более становились светскими. Поворотным моментом здесь оказалась миро-системная революция 1848 года. Поражение народных масс показало, что секты заговорщиков не слишком эффективны. За этим осознанием последовала важнейшая социальная инновация. Впервые в истории антисистемные силы пришли к выводу, что социальная трансформация, если уж ей суждено произойти, должна быть спланированной, а поэтому организованной. Победы марксистов над анархистами в рамках социалистических и рабочих движений и «политических» националистов над националистами «культурными» в рамках различных националистических движений были победами сил, выступавших за бюрократизацию революции, то есть за создание постоянных организаций, различными способами подготавливающих почву для захвата политической власти.

Процесс, который я называю бюрократизацией революции, имел серьезные основания. Три из них представляются особенно вескими. Во-первых, власть пойдет на серьезные уступки, если только примет их как наименьшее зло. Во-вторых, слабые в социальном и политическом отношении могут стать эффективной политической силой, лишь объединив свои усилия в рамках дисциплинирующей организации. В-третьих, коль скоро ключевыми политическими институтами являются государственные структуры, становящиеся сильнее день от дня, власть не может перейти в иные руки без изменения природы и персонального состава государственных структур. По-моему, трудно возразить против любого из этих трех постулатов и представить сценарий выхода антисистемных движений из ситуации, в которой они оказались в 1848 году, альтернативный бюрократизации революции.

Но это было лекарство с фатальным побочным эффектом. С одной стороны, оно помогало. В последующие 100-125 лет политическая сила антисистемных движений стабильно росла, как увеличивался и масштаб предлагаемых им политических уступок. Они достигли многих, даже большинства, своих краткосрочных целей. С другой стороны, к концу этого **205**

периода (возьмем в качестве условной даты 1968 год) позиции народных движений выглядели далеко не блестящими. До искоренения неравенства в рамках миро-системы было еще далеко. Более того, часто неравенство принимало беспрецедентные масштабы. Хотя к формальному участию в политическом процессе была допущена большая часть населения, очень немногие ощутили в своих руках реальную власть. Народ, по словам Фрейда, был разочарован. Почему так случилось? У бюрократизации революции есть ряд негативных аспектов. Об одном из них говорил, причем очень давно, итальянский социолог Роберто Михельс, показавший, каким образом процесс бюрократизации революции способствует перерождению, а по сути - деградации и разложению [взглядов] народных вождей. В наши дни это считается социологическим трюизмом. В анализе Михельса, однако, недостает описания воздействия бюрократизации революции на массы. А оно кажется мне гораздо более важным.

Думаю, что здесь придется к месту рассуждения Фрейда об интоксикации. По большому счету, антисистемные движения занимались именно интоксикацией своих сторонников. Они организовывали их, мобилизовывали их энергию, вносили в их жизнь элемент дисциплины и выстраивали их мыслительный процесс. Наркотиком служила надежда - надежда на рациональное будущее, маячившая перед ними, надежда на новый мир, который построят эти движения, придя к власти. Это была не просто надежда; она воспринималась как предопределенность. История, то есть Бог, была на стороне угнетенных - не в потустороннем мире, но здесь и сейчас, в мире, в котором жили они или, по крайней мере, в котором должны были жить их дети. Становится ясно, почему, с точки зрения власти имущих, общественные движения вполне могли стать инструментом управления переменами. Пока народный гнев находил выход в общественных движениях, он мог быть ограничен. Бюрократизированные движения стали «достойными собеседниками» защитников привилегий. По сути дела, такие движения гарантировали спокойное

отношение своих сторонников к определенным видам уступок, вклю-**206**
чая социальную мобильность лидеров и их детей. К началу XX века оказалось, что единственной помехой на пути революций стали сами революционные движения. Это отнюдь не значит, что данные движения не обеспечивали проведения в жизнь [отдельных] важных реформ. Обеспечивали. Однако они не могли трансформировать систему. Откладывая ее трансформацию до греческих календ, они превратились в гаранта ее стабильности.

Всемирная революция 1968 года произошла, когда народные массы начали отказываться от вредной привычки. Впервые в истории пафос антисистемной борьбы обернулся против лидеров антисистемных движений: социал-демократических - на Западе, коммунистических - в восточном блоке от Одера до Хуанхэ, национально-освободительных - в Африке и Азии, популистских - в Латинской Америке. Расставаться с привычками всегда нелегко. Революция, начавшаяся в 1968 году, достигла своей кульминации лишь через 20 лет - в 1989-м, когда народные массы, разочаровавшиеся в антисистемных силах, преодолели наконец инстинкт подчинения лидерам, развитый в них многолетней идеологической обработкой, и окончательно порвали с прошлым. Во многом это произошло благодаря осознанию в 1970-1980-е годы того, что социальные улучшения, достигнутые в 1945-1970 годах, были химеричны и что капиталистическое миро-хозяйство никогда не сможет предложить реальной перспективы всеобщего благосостояния, преодолеть растущую пропасть между центром и периферией⁹.

Результатом прозрения стало повсеместное разочарование в государстве, четко проявившееся в 1990-е годы. Нас настойчиво убеждают в том, что так начался поворот к неолиберализму. На самом деле [следует говорить об] осуществлявшемся государством отходе от либерализма и его обещаний спасения через социальный реформизм. Нас настойчиво убеждают в том, что так произошел возврат к индивидуализму. На деле же - это возрождение коллективизма. Нас настойчиво убеждают в том, что так произошел возврат к оптимизму. На деле же - это поворот к глубокому пессимизму. И работа Фрейда поможет нам понять, что случилось: **207**

Жизнь в сообществе впервые стала возможной лишь с формированием большинства - более сильного, чем любой индивид, и объединившегося против каждого индивида в отдельности. Власть такого общества противостоит теперь как «право» власти индивида, осуждаемой отныне как «грубая сила». Замена власти индивида на власть общества явилась решающим по своему значению шагом культуры. Сущность его в том, что члены общества ограничивают себя в своих возможностях удовлетворения влечений, тогда как индивид не признает каких бы то ни было ограничений. Следующим культурным требованием является требование справедливости, то есть гарантия того, что раз установленный правопорядок не будет нарушен в пользу отдельного индивида. Этим не исчерпывается этическая ценность права. В дальнейшем культурное развитие, кажется, было направлено на то, чтобы право не превращалось в произвол небольшого сообщества (касты, сословия, племени), которое занимало бы по отношению к более широким массам положение правящего посредством насилия индивида. Конечным результатом должно быть право, распространяющееся на всех (по крайней мере, на всех способных к общественному состоянию), приносящих в жертву свои инстинктивные склонности, и никто (с тем же исключением) не должен становиться жертвой грубого насилия.

Индивидуальная свобода не является культурным благом. Она была максимальной до всякой культуры, не имея в то время, впрочем, особой ценности, так как индивид не был в состоянии ее защитить. Свобода ограничивается вместе с развитием культуры, а справедливость требует, чтобы ни от одного из этих ограничений нельзя была уклониться. То, что заявляет о себе в человеческом обществе как стремление к свободе, может быть бунтом против имеющейся несправедливости и, таким образом, благоприятствовать дальнейшему развитию культуры, уживаться с культурой. Но это же стремление может проистекать из остатков первоначальной, неукротенной культурой личности и становиться основанием вражды к культуре. Стремление к свободе, таким образом, направлено либо против определенных форм и притязаний культуры, либо против культуры вообще. (59-60) **208**

Социология и сущностная рациональность

В наши дни создается впечатление, что все гарантии, некогда предлагавшиеся рациональностью, свои для власть имущих и свои - для угнетаемых, исчезли. Все громче звучат голоса, требующие

свободы. Они требуют освобождения от безжалостного диктата формальной рациональности, за которой стоит сущностная иррациональность. Эти голоса настолько сильны, что, как указывает Фрейд, действительно стоит задуматься над тем, направлены ли они против конкретных культурных императивов или против культуры как таковой. Мы входим в темную полосу истории, когда ужасы Боснии и Лос-Анджелеса будут повторяться повсюду и даже в больших масштабах. Интеллектуалам настало время ощутить свою ответственность. При этом менее всего нам может помочь отрицание политического в пользу конкретной политики в качестве рационального и отказ, таким образом, от непосредственного обсуждения ее достоинств.

Обществоведение возникло как интеллектуальное дополнение либеральной идеологии и умрет вместе с либерализмом, если не изменит своего статуса. В основании обществоведения лежал социальный оптимизм. Что оно сможет сказать в эпоху социального пессимизма? Я считаю, что нам, обществоведам, необходимо полностью обновиться, чтобы остаться востребованными в обществе и не оказаться на задворках научного мира, тратя время на бессмысленные ритуалы, как это делают последние служители всеми забытого божества. Я уверен, что наше выживание зависит от того, сможем ли мы вернуть понятие сущностной рациональности в центр наших научных дискуссий.

Когда в конце XVIII - начале XIX века ясно обозначился разрыв между философией и наукой, обществоведение объявило себя наукой, а не философией. Оправданием этого постыдного разделения знания на два враждующих лагеря было положение, согласно которому наука занимается поиском истины эмпирически, то есть на основе опыта, а философия - метафизически, то есть умозрительно. Это положение абсурдно, так как всякое эмпирическое знание неизбежно имеет

метафизические основы, а любые метафизические построения имеют смысл лишь в том случае, если соотносятся с реальностью, то есть содержат в себе эмпирический элемент. Пытаясь отмежеваться от навязываемых простых истин, интеллектуалы окунулись в мистицизм формальной рациональности. Это случилось со всеми нами, даже с марксистами, как заметил Грамши.

Сегодня велико искушение сменить направление, но мы снова обжигаемся. На волне разочарования появилась многоголосая толпа критиков. Они всю критикуют дело науки, утверждая, что оно иррационально. Многие из того, что они говорят, весьма здраво, но, похоже, все это кончится в духе нигилистического солипсизма, который ведет в никуда и скоро наскучит даже самым рьяным своим сторонникам. Тем не менее мы не уйдем от критики, если будем ограничиваться выявлением слабостей наших оппонентов. Этот путь приведет нас к совместному краху. Вместо этого обществоведение должно воссоздаться заново.

Обществоведение должно признать, что наука не беспристрастна и не может таковой быть, поскольку ученые - это члены общества, и они не свободны от него ни физически, ни интеллектуально. Обществоведение должно признать, что эмпиризм не может быть чистым, ибо он всегда предполагает некоторую априорность. Обществоведение должно признать, что наши истины не являются всеобщими и универсальными; что они, если вообще существуют, сложны, противоречивы и множественны. Обществоведение должно признать, что оно ищет не простое, а наиболее адекватную интерпретацию сложного. Обществоведение должно признать, что причина нашей заинтересованности в рациональном поведении заключается в том, что оно ведет к конечной [ценностно обусловленной] цели. Наконец, обществоведение должно признать, что рациональность основана на совместимости политики и морали, а роль интеллектуалов заключается в том, чтобы выявлять стоящие перед нами исторические альтернативы. Двести лет мы блуждали по ложным путям. Мы сбивали с верного пути многих других, но прежде всего - себя самих. 210

Еще немного - и мы покинем поле борьбы за человеческую свободу и коллективное благо. Если мы хотим помочь людям (или хотя бы некоторым из них) изменить мир, нужно для начала оглянуться вокруг себя. И в первую очередь надо умерить нашу самонадеянность. Все это нам необходимо сделать, потому что у обществоведения действительно есть что предложить миру. То, что оно может предложить, - это применение человеческого разума для решения человеческих проблем, и раскрытие тем самым человеческого потенциала, пусть и несовершенного, но несомненно более значительного, чем тот, который мы видели прежде.

Глава десятая. Дифференциация и целостность в общественных науках*

Дифференциация - это одно из ключевых понятий, имеющих в арсенале социологической теории. Оно применяется для обозначения процесса, посредством которого задачи, считавшиеся обособленными или подлежащими решению отдельным человеком и/или группой, разъединяются таким образом, что оказываются уже совокупностью задач, решаемых несколькими субъектами. Это морфологическое понятие, и поэтому оно применимо к любой сфере деятельности. Это процесс, имеющий своим результатом разделение труда. С одной стороны, принято считать, что одной из отличительных черт современного мира является [высокая] степень его дифференцированности. Предполагается, что разделение труда по определению более эффективно и поэтому способно обеспечивать более высокую общую производительность. Очевидно, что углубление дифференциации порождает большую специализацию ролей субъектов, открывая путь индивидуации (individuation)**; в конечном счете это усиливает (во всемирном масштабе) гетерогенность.

С другой стороны, принято считать, что современный мир движется от Gemeinschaft к Gesellschaft, что мы все более активно прибегаем к общему концептуальному языку и

* Выступление на Исследовательском совете Международной социологической ассоциации, Монреаль, Канада, 6 августа 1997 года.

**Индивидуация - термин, используемый в данном случае как синоним «фрагментированности», или «разобщенности». - *Прим. ред.* 212

итерируем единым набором ценностей, признаваемых рациональными, что все становится более взаимосвязанным; в конечном счете это усиливает (во всемирном масштабе) гомогенность. Таким образом, мы имеем дело с двумя фундаментальными процессами, противоположными по своей направленности. Эти рассуждения не вполне проясняют, какова внутренняя ценность гомогенности и гетерогенности. Что из них предпочтительнее, для каких целей и почему? Неясно, гетерогенность или гомогенность более эффективна по определению. Между нами нет согласия даже относительно того, на основании каких эмпирических фактов можно определить направление нашего движения. Многие ученые утверждают, что современный мир - это мир прогрессирующей конвергенции (и, следовательно, гармонии), другие же заявляют, что современный мир - это мир нарастающей поляризации (и, следовательно, глубоких конфликтов). Похоже, что для обеих сторон предпочтительней выглядит гомогенность, однако одна из них усматривает движение к ее достижению, а другая нет. Многие аналитики утверждают, что индивид никогда еще не был столь свободен от контроля со стороны общества, тогда как другие заявляют, что этот контроль еще никогда не был столь масштабным (будь то в форме, изображенной Оруэллом в романе «1984», или в форме «репрессивной толерантности», описанной Маркузе). В этом случае стороны согласны, скорее, с тем, что более предпочтительна гетерогенность, однако одна усматривает движение к ее достижению, а другая нет. Если мы обратимся к анализу структуры знания, то обнаружим, что ситуация в этой области немногим отличается от анализа политической экономики миро-системы. Налицо подтверждения растущей гетерогенности. Сегодня знание разделено на множество дисциплин, причем каждая из них имеет постоянно расширяющуюся область интересов - так называемых специализаций. И все же структура наших знаний способна, по-видимому, преступать пределы различий пространства и времени, и определяющей ее характеристикой является центральное место, а то и господство, положения о 213

существовании универсального знания, не допускающего разнообразия мнений о том, «что есть истина». В данном случае мы не находим консенсуса по вопросу о том, что предпочтительнее - гомогенность или гетерогенность. При этом ожесточенность идущих ныне так называемых научных и культурных войн свидетельствует о глубине раскола в среде интеллектуалов. Взглянем на Международную социологическую ассоциацию. Она сама является продуктом процесса дифференциации, продолжавшегося несколько столетий. Когда Макиавелли, Спиноза или даже Монтескье писали свои книги, они не называли себя социологами, не существовало даже такого понятия - «социолог». Более того, не было и четкой грани между столь широкими категориями, как «философ» и «ученый». Их позднейшее различие, крайне важное для созданной в последние двести лет университетской системы, происходило из предложенной Декартом антиномии человека и природы, вполне оформившейся только в конце XVIII века.

Следующая концептуальная категория, «общественные науки», обозначившая третью область исследований, промежуточную между наукой и философией или, используя университетский жаргон, между факультетом естественных наук и факультетом наук, на некоторых языках именуемых гуманитарными, возникла лишь в XIX веке. Отдельные же университетские кафедры, занимающиеся различными вопросами общественных наук, появились в период между 1880-ми годами и 1945 годом, а во многих странах даже в 1950-1960 годах.

Еще в 1950-е годы собрания социологов отдельных стран, так же, как и конгрессы Международной социологической ассоциации, представляли собой не более чем встречи узкого круга коллег, работающих в одной области знания. Для развития своей деятельности Международная социологическая ассоциация создала сначала единый исследовательский комитет, а затем - несколько специализированных комитетов. Сегодня их существует уже пятьдесят, и постоянно приходят заявки на создание новых. Эта история повторяется и на уровне национальных ассоциаций, по крайней мере самых крупных из них. Есть все основания думать, что процесс создания **214**

подобных специализированных структур продолжится и даже ускорится. И я несколько не удивлюсь, если сами эти исследовательские комитеты, эти специализированные структуры станут дробиться. Свидетельствует ли это о здоровом разделении труда или напоминает рост раковых клеток? Из биологии нам известно, что граница между процессами этих двух типов исключительно тонка, а медики и поныне не могут дать четкого объяснения, что именно приводит к перерождению одного из них в другой. Способны ли мы, социологи, сделать это? На этом проблемы не кончаются. Если бы все возникшие подгруппы существовали, так сказать, изолированно друг от друга и стремились к замкнутости, могла бы возникнуть такая атмосфера, которая тормозила бы интеллектуальный процесс, но поддерживала бы надежную организационную устойчивость. Однако все обстоит совсем иначе. Чем более разделенными оказываются обществоведы, тем более «империалистической» оказывается каждая их подгруппа. Когда-то экономисты занимались одними проблемами, социологи - другими, а историки - третьими. Каждый считал свою дисциплину самостоятельной, совершенно отдельной, имеющей собственный четко определенный предмет и даже особые методы исследования. Но сегодня экономисты пытаются объяснить механизмы функционирования семьи, социологи - ход исторических трансформаций, а историки - стратегии бизнеса. Предлагаю простой тест. Возьмите названия докладов из программ полудюжины международных обществоведческих конгрессов, проводимых различными организациями. Перемешайте их и спросите нескольких социологов, на каком конгрессе были сделаны те или иные доклады. Хотя я и не проводил таких экспериментов, предположу, что даже половина верных ответов стала бы очень хорошим результатом. Налицо невиданное взаимоналожение, которое иногда выдают за распространение «междисциплинарности». Что проявляется в этом - эффективность или неэффективность? Думаю, что если проделать такой опыт с докладами, представленными различными исследовательскими комитетами на конгрессе Международной социологической ассоциации, то возник-215 нут не меньшие трудности с определением комитета, вносящего тот или иной доклад, хотя, возможно, решить эту задачу будет легче, чем в первом случае выявить так называемую дисциплину. Тем не менее ясно, что доклады под совпадающими названиями могут быть представлены полудюжиной, если не целой дюжиной, комитетов.

Почему же гомогенность возникает из самой гетерогенности? Простой и четкий ответ апеллирует к масштабам. Численность исследователей невероятно выросла за последние пятьсот лет, а в последние полвека этот рост приобрел характер геометрической прогрессии. Организационно это проявилось в двух формах. Во-первых, каждый исследователь по-прежнему должен доказывать свою оригинальность. Поэтому каждый должен найти нишу, или особый подход, или нетронутый уголок, или хоть что-то. Но поле для поиска не слишком велико. Поэтому «браконьерство» становится распространенной стратегией выживания. Однако никто не может в нем признаться, ибо это выдаст отсутствие оригинальности. Поэтому каждый настаивает на том, что его вариант существенно отличается от всех прочих. Во-вторых, по мере того как растет численность исследователей, их собрания становятся все более массовыми, все менее управляемыми и все менее располагающими к обмену мнениями. Следовательно, каждый стремится стать членом меньшей по размеру группы. Этого, в свою очередь, можно достичь двумя способами. Первый заключается в формировании элиты, второй в - демократическом размежевании. На деле происходит и то, и другое. Исследовательские комитеты Международной социологической

ассоциации стремились придерживаться второго способа, но по мере их укрупнения в них могут возникать тенденции к элитизму, к возникновению небольших групп, действующих вне этих комитетов.

Вы, очевидно, заметили, что в объяснении этой фрагментации я не коснулся накопления знаний. Это самое заурядное объяснение. Говорится, что один человек уже не в состоянии оперировать всей суммой знаний (предполагается, что раньше дело обстояло иначе), и это требует специализации. Объем накопленных знаний действительно вырос, однако я хотел бы выразить определенный скептицизм относительно масштабов этого роста. Такое объяснение слишком уж просто, поверхностно и внутренне противоречиво. Если сумма существующих знаний x столь велика, что должна быть разбита на X и $x?$, кто может судить об этом, коль скоро никто не в состоянии даже предположительно оценить масштабы самого x ? Но даже если кто-то исключительно одаренный и знал бы это, разве мы говорим, что нынешняя структурированность декретирована какой-то исключительно одаренной личностью? Конечно, процесс идет иначе. Люди сначала сами идентифицируют себя с той или иной специализацией и только затем начинают утверждать, не имея на то никаких оснований, что это было необходимо по причине роста накопленных знаний. Многие из так называемых специализаций получили весьма тонкие интеллектуальные обоснования, имеющие широкий резонанс. Одни из них имеют оборонительный характер: это попытки соорудить громоздкие теоретические и методологические обоснования автономности той или иной специальности (это относится как к социологии в целом, так и к отдельным ее разделам). Другие предусматривают движение в противоположном направлении и предпринимают поиск «сквозных» тем. В этом случае говорится о существовании различных сфер исследования (медицины, образования, религии и т. д.), но общих для них всех методов анализа (например, теории рационального выбора или теории конфликта). Сквозные темы призваны обеспечить универсализацию и, следовательно, гомогенизацию. Однако с организационной точки зрения они не только не уменьшают многообразия специализаций, но лишь расширяют его и усугубляют их взаимопересечение. Третий подход вызывает к чему-то большему, чем выявление сквозных тем, к поиску синтеза. Его сторонники нередко принижают значение специализаций, причем не только в рамках отдельных дисциплин, но в общественных науках в целом и даже в мире знаний как таковом. Но, как и в случае со сквозными темами, вне зависимости от интеллектуальных устремлений результат чаще всего воплощается в создании очередной специализации. Еще в 1920-е годы Скотт Фитцджеральд в романе «Великий Гэтсби» иронизировал по 217

поводу самого узкого из всех специалистов, широко образованного человека.

Не стоит ли опустить руки? Нет, мы не смеем этого делать - по причинам как организационным, так и интеллектуальным. С организационной точки зрения дальнейшее дробление ведет к утрате контроля. Исследовательский совет Международной социологической ассоциации, как и подобные ему структуры иных международных и национальных организаций, завален заявками новых групп, сферы интересов которых зачастую кажутся пересекающимися с уже существующими. Новые группы всегда настаивают на своем особом характере, на что уже существующие отвечают, что тема их исследований включает в себя вопросы, интересующие «новичков». Мы вынуждены отказывать, и для тех, кто принимает решения, это становится испытанием на проницательность и дипломатичность. С течением времени ситуация может лишь ухудшаться. Разумеется, можно допустить полную свободу: любая группа, состоящая из определенного числа ученых, вправе образовать исследовательский комитет и назвать его по своему усмотрению. Или же можно создать структуру по принципу таблицы химических элементов, признающую право на существование лишь за теми группами, которые способны заполнить одну из пустующих клеток. На деле мы пытаемся искать компромисс между этими возможными подходами, но слышим все новые и новые обвинения в бюрократическом произволе. Обвинения эти, даже если они несправедливы, порождают организационный разброд. Главный вопрос лежит, однако, не в организационной, а в интеллектуальной плоскости. Оптимальна ли наша организационная политика с точки зрения ее последствий для науки? Эта проблема стара как сама идея образования. Никто не сомневается в том, что исследует лишь уголок безбрежной вселенной знания. Никто также не сомневается в полезности изучения работы тех, кто занят исследованием той же или сопредельных областей, равно как и в полезности непосредственного общения с ними. Здесь следует, однако, отметить два момента. Во-первых, все

эти уголки похожи друг на друга как объекты исследования. Постигание [процессов] на микроуровне ничуть не легче их изучения на макроуровне. Исследование космологии Вселенной, начиная с «большого взрыва» и вплоть до наших дней, представляется не большим и не меньшим, чем изучение моделей телефонного разговора с дежурным оператором полиции. К каким бы проблемам - «макро» или «микро» - ни обращались исследователи, это требует того же времени и той же энергии, равно как и одинаково тщательной подготовки; каждый должен квалифицированно изучать свою область. Как объект анализа «макро» не есть нечто большее, чем «микро»; оно превосходит его лишь своими хронологическими и пространственными рамками. Во-вторых, не существует простой схемы для выделения [интересующей нас] части интеллектуальной вселенной. Точнее говоря, таких схем множество, но ни одна из них не имеет явного преимущества перед другими.

Наконец, в-третьих, и это, по-видимому, наиболее важно, подобные схемы «закрывают» не меньше научных проблем, чем вызывают к жизни. Дело не в том, что одни схемы порочны, а другие совершенны. В некотором смысле вся научная деятельность есть процесс создания схем, и потому отсеечение альтернатив - черта любого процесса познания. Мы стремимся показать, что процессы протекают именно так и не иначе. Мы стремимся показать, что определенный способ познания лучше любого другого. Мы стремимся показать, что один вид знания лучше прочих. Все мы поступаем таким образом. И когда наш относительный и кратковременный успех получает признание, считается, что мы разработали парадигму.

Если обратиться к конкуренции между парадигмами, оказывается, что авторы более сильных парадигм стремятся утвердить их как единственно верные, тогда как создатели более слабых парадигм жалуются на притеснения. Последние часто апеллируют к принципу релятивизма, настаивая на равноценности всех парадигм. Не говоря уже о том, что этот аргумент порожден слабостью, в него по большому счету никто не верит, и прежде всего те, кто его выдвигает. Неужели сторонники постмодернизма считают, что позитивизм - это лишь иная точка зрения на мир, открывающий бесчисленное мно-

жество альтернатив? Если даже это и так, они никогда не заявляли об этом с достаточной ясностью. Сам я считаю, что существует множество парадигм, но одни из них более действенны, то есть более полезны, чем другие. Однако их действенность и полезность не остаются неизменными с течением времени, и поэтому сторонникам доминирующих парадигм не следует почивать на лаврах. Они должны ответственно относиться к любым интеллектуальным вызовам, и в случае серьезной критики переосмысливать свои фундаментальные основы. Разумеется, ключевым в данном случае выступает слово «серьезный», и чаще всего защитники status quo заявляют, что критика в их адрес несерьезна. Но зачастую очевидно, что утверждения о несерьезности критики сами не слишком серьезны. Об этом свидетельствует вся история науки. Вряд ли нужно приводить примеры того, сколь часто великие истины опровергались и объявлялись глубокими заблуждениями. И если обратиться к трудам, написанным незадолго до того, как набор расхожих истин становился набором отвергнутых заблуждений, мы непременно обнаружим массу пламенных защитников ниспровергаемых истин - людей самозабвенных, агрессивных и чуждых всякой толерантности. Задумаемся же над тем, чему учит нас история.

Сам я считаю, что существует множество парадигм, но одни из них более действенны, то есть более полезны, чем другие. Однако их действенность и полезность не остаются неизменными с течением времени, и поэтому сторонникам доминирующих парадигм не следует почивать на лаврах. Они должны ответственно относиться к любым интеллектуальным вызовам, и в случае серьезной критики переосмысливать свои фундаментальные основы. Разумеется, ключевым в данном случае выступает слово «серьезный», и чаще всего защитники status quo заявляют, что критика в их адрес несерьезна. Но зачастую очевидно, что утверждения о несерьезности критики сами не слишком серьезны. Об этом свидетельствует вся история науки. Вряд ли нужно приводить примеры того, сколь часто великие истины опровергались и объявлялись глубокими заблуждениями. И если обратиться к трудам, написанным незадолго до того, как набор расхожих истин становился набором отвергнутых заблуждений, мы непременно обнаружим массу пламенных защитников ниспровергаемых истин - людей самозабвенных, агрессивных и чуждых всякой толерантности. Задумаемся же над тем, чему учит нас история.

Стойкий перед нами вопрос заключается в том, является ли текущий момент каким-то особенным в свете постоянной конкуренции парадигм и их отражения в структурах знания? Я полагаю, что является. Но думаю также, что его особенности можно увидеть лишь преодолев узкие специализации, выйдя за границы социологии и даже за пределы общественных наук. Я считаю, что мы переживаем момент, когда декартова схема, которая легитимизировала всю нашу университетскую систему и тем самым всю структуру специализаций, впервые с конца XVIII века серьезно ставится под сомнение. Мне кажется, что в ближайшие пятьдесят лет ее пересмотр приведет к масштабной институциональной реструктуризации. Пожалуй, пришла пора, когда нам всем следует обратиться к основным эпистемологическим вопросам, подлежащим обсуждению, - то есть отвлечься от наших узких специализаций в пользу проблем, волнующих всех ученых. Конечно, как

правило, мы не желаем тратить время на эти вопросы, считая, что они относятся к компетенции еще одной группы специалистов. Но такой подход оправдывает себя лишь в условиях, когда

споры не носят принципиального характера и ведутся, если можно так сказать, в нормальных условиях. Однако сегодня проблема предпосылок, обычно незыблемых, стала актуальной и острой, и в этом смысле время, в котором мы живем, нельзя назвать нормальным. Самым фундаментальным и неординарным вызовом, брошенным тем принципам, которыми руководствуются социологи, а также по большому счету все обществоведы, да и вообще все ученые, представляется вызов, который долгое время игнорировался исследователями или в лучшем случае рассматривался ими как незначительный, не требующий пересмотра устоявшихся аналитических схем. Речь идет о состоятельности бэконовско-ньютонической трактовки сущности науки. Начиная по меньшей мере с XVII века ньютоническая модель стала «единственно верной» и оставалась таковой вплоть до 1970-х годов, когда зародившиеся у ученых-естествоиспытателей сомнения в ее истинности были институционализированы, и догма превратилась в проблему, требующую научного решения.

Пока я не буду касаться причин, которыми социология науки объясняет необходимость такой постановки вопроса именно в наши дни. Я не стану комментировать и многочисленные претензии, предъявляемые к науке как таковой, ибо не вижу в них ничего нового. Они происходят из «романтического» отторжения науки, последовавшего за так называемым расколом между наукой и философией, утвердившим значение частных проблем и средств их решения. И дело не в том, насколько сильны или обоснованны современные нападки на существующие формы науки; сама ее модель разрушается изнутри. Если мы хотим пересмотреть место науки в общей структуре знаний, следует прежде всего удостовериться в том, что мы правильно представляем себе направление развития естественных наук.

Всем нам известна ньютоническая модель, но все же повторим ее основные положения. Она утверждает реальность 221

материального мира. Она утверждает, что все сущее подчиняется универсальным законам природы, и задачей науки является постижение этих законов. Она утверждает, что единственный надежный путь, способный привести к этой цели, основан на эмпирических исследованиях, а любые утверждения властей (церковных или светских) не могут считаться знанием, если они не подкреплены фактами. Она утверждает, что эмпирическое исследование включает в себя измерение, и чем оно точнее, тем выше качество данных. Она утверждает, что инструменты, необходимые для проведения измерений, могут быть изобретены и усовершенствованы, и ничто не мешает нам однажды создать приборы, точность которых окажется близкой к совершенству. Но это еще не все. Согласно этой модели, лучшей формулировкой законов природы является самая простая и охватывающая наиболее широкий круг явлений. В пределе задача заключается в том, чтобы выразить все знание в единственном уравнении. Согласно этой модели, большинство процессов в природе развивается линейно, и любая разбалансированная система стремится вернуться в состояние равновесия. Согласно этой модели (и это труднее всего понять с первого раза), все законы математически «обратимы», то есть фактор времени несущественен для истолкования естественных процессов. Поэтому, если нам известен закон и так называемые начальные условия, мы можем определить, какими уже были или только еще будут пространственно-временные и количественные характеристики любого процесса. И, наконец, согласно этой модели, представления о том, что какой-либо процесс может развиваться как-то иначе, вопреки этим законам, ошибочны. Такие представления проистекают из нашего непонимания подлинной сущности процесса, но, создав более совершенные измерительные приборы, мы придем к выводам, соответствующим отмеченным выше постулатам. Обратимся теперь к альтернативному набору допущений, иногда называемому теорией неравновесных процессов, в том виде, в каком он был недавно представлен Ильей Пригожиным. Он отмечает два основных положения. Наука находится в состоянии перехода к новой, основанной на неравновесии-222

ности форме рациональности, которая выходит за рамки детерминизма и, следовательно, отрицает предопределенность будущего. Отсутствие же этой предопределенности и оказывается основным источником наших надежд.

Теория неравновесности обнаруживает нестабильность, эволюцию и флуктуации везде, где классическая наука неизменно видела лишь повторяемость, стабильность и равновесие - не только в социальной среде, но и в большинстве фундаментальных природных процессов. Пригожий называет это переходом от геометрического мира к миру нарративному, в котором центральное

место занимает проблема времени. В этом мире люди не отделены от природы, и тем более не противостоят ей. Это, однако, происходит не потому, что они действуют в соответствии с предписаниями классической естественнонаучной теории, а, напротив, потому что сама природа управляется принципами, которыми следовало бы обычно руководствоваться людям. На основании этого Пригожий не отрицает значения науки, а утверждает, что она должна нести более универсальный смысл. Нельзя сказать, что равновесия не существует, просто оно является состоянием временным и исключительным. Рано или поздно любая структура выходит из равновесного состояния. «Субъективное возникает из всего сущего, оставаясь в то же время его частью». Стрела времени пронизывает всю Вселенную. Время, всеобщая причина старения, обуславливает также и всякую дифференциацию. Эволюция имеет множество аспектов. Вероятность не есть низшая форма истины, которой мы удовлетворяемся по причине нашего несовершенства. Она - единственная форма научной истины. Вероятность проистекает из наличия неограниченного множества статистических решений динамических уравнений. Взаимодействие элементов внутри систем никогда не прекращается, и это обуславливает необратимость процесса, создание новых и новых комбинаций. Не только люди, но и материя обладает памятью. Человек овладел не только практикой повторения, но и практикой создания нового. Это совместимые способности, но они не являются предметом выбора. Мы обладаем той и 223

другой, и обе они суть элементы реальности. Наука же, в наиболее общей ее форме, призвана находить даже самый «узкий проход» между предопределенным к произвольным. Последствия для социологии кажутся мне очевидными. Противостояние номотетической и идиографической эпистемологии, великий методологический спор (Methodenstreit) закончен. Или, что будет точнее, такая трактовка науки делает номотетический подход непригодным (как основанный на ньютоновых предпосылках), но вместе с ним она делает непригодным и идиографический подход (поскольку те особенности, которые он использует для своего обоснования, сегодня проникают в самую научную деятельность, и даже в святая святых физики). Такая трактовка науки требует переосмысления понятий порядка и, следовательно, рациональности, но не означает анархического и бессмысленного характера окружающего нас мира. Такая трактовка науки ставит под сомнение само понятие точности и подразумеваемую взаимозависимость между точностью и надежностью (или даже достоверностью). Такая трактовка науки заставляет нас задуматься о том, существует ли хоть что-то ценностно-нейтральное, но сохраняет принцип реальности коммуникации и поэтому может признавать одни утверждения более, а другие менее близкими к истине.

Все это похоже на то, как если бы мы собирались взорвать дом, где живем вот уже четыреста лет, пытаясь одновременно воздвигнуть колонны, призванные поддерживать у нас над головой новую крышу, которая, выражаясь метафорически, пропускала бы больше света, нежели прежняя. И неудивительно, по мнению Пригожина, что сегодня наука находится лишь в начале пути. Социальная теория, изучающая самую комплексную из существующих систем, оказывается не только царицей наук, но самой трудной из них. Именно из общественных наук ученые (даже естествоиспытатели) будут извлекать новые эпистемологические истины.

Готовы ли мы к этой центральной роли? Отнюдь нет. Ведь многие из нас лишь зарываются вглубь, вместо того чтобы оглядеться вокруг. «Кризис», проявляющийся в постоянном умножении специализаций, все более перекрывающихся с 224

уже существующими, может оказаться не сигналом утраты функциональности или жизнеспособности науки, а знаком обрушения прежних структур под грузом тех надстроек, которые мы громоздили, не желая признать конец ньютоновской эры. Можем ли мы разрушать старое здание социальной теории, пытаясь в то же время строить колонны, подпирающие новую крышу? И что будет под ней находиться - только лишь общественные науки или обретший прежнее единство мир знаний, не признающий разделенности человека и природы, раскола философии и науки, различий между поисками истины и блага? Можно ли отвлечься от социальной теории, перестраивая структуры знания?

Я не знаю ответа. Конечно, согласно теории неравновесности, этого никто не может знать. Но мы можем сделать попытку. И если мы захотим решить интеллектуальную задачу такой сложности, как в этом случае, каким образом следует нам изменить наши организационные структуры? Прежде всего, нужно сделать организационные и бюрократические границы более подвижными и всемерно стимулировать интеллектуальное сотрудничество. Возможно, когда-нибудь, когда мы

станем достаточно открытыми и в достаточной мере перестроим мир знания, мы вновь сможем на время «закрыться» и вновь начнем говорить о дисциплинах и специализациях. Но сегодня не время для этого. Для каждого из нас и для всех вместе стать более открытыми - это не одна из возможных альтернатив, но единственная допустимая стратегия интеллектуального выживания.

Глава одиннадцатая. Многоликий евроцентризм Обществоведческие дилеммы*

Общественные науки оставались евроцентричными на протяжении всей своей институционализированной истории, начиная с того времени, как в университетах появились первые обществоведческие отделения. Вряд ли этому стоит удивляться. Обществоведение есть продукт миро-системы модернити, а евроцентризм - основа характерной для этой системы геокультуры. Более того, как институциональная структура социальная теория сформировалась прежде всего в Европе. В дальнейшем мы будем использовать понятие «Европа» скорее в культурном, нежели в географическом значении; применяя данный подход к [истории] двух последних столетий, следует сосредоточиться прежде всего на Западной Европе и Северной Америке, рассматриваемых как единое целое. Подавляющее большинство центров социологических исследований, по крайней мере до 1945 года, были сосредоточены всего в пяти странах: Франции, Великобритании, Германии, Италии и Соединенных Штатах. Даже сегодня, несмотря на распространенность профессии обществоведа повсюду в мире, значительное большинство исследователей социальных процессов представлено европейцами. [Исторически] развитие социологии стало реакцией на европейские проблемы, и началось оно в условиях, когда Европа господ-

* Основной доклад на организованном Международной социологической ассоциацией восточноазиатском региональном коллоквиуме «Будущее социологии в Восточной Азии», Сеул, [Южная] Корея, 22-23 ноября 1996 года. 226

ствовала над всей миро-системой. Поэтому границы ее предмета, способы построения теории, ее методология и эпистемология - все это обусловлено пределами того плавильного котла, из которого она появилась на свет.

Однако начиная с 1945 года процесс деколонизации Азии и Африки, а также резкий рост политического сознания в неевропейском мире трансформировали научный мир не в меньшей мере, чем политические реальности миро-системы. Одним из принципиальных отличий этого нового состояния от прежнего, отличий, существующих вот уже почти тридцать лет, является то, что «евроцентризм» социальных наук находится под мощным огнем критики. Нападки эти, разумеется, небезосновательны, и нет никакого сомнения в том, что если обществоведческая теория захочет в XXI веке выйти на новые рубежи, она должна найти в себе силы преодолеть евроцентричное наследие, искажающее научный анализ и лишаящее нас способности справиться с проблемами современного мира. Если мы решимся на это, будет полезно внимательно изучить черты евроцентризма, ибо данное понятие можно сравнить с многоголовым и многоликим чудовищем. Такого дракона не одолеешь одним ударом. При этом, если быть невнимательным, можно начать критиковать евроцентризм, используя его собственные аргументы, а подобная критика способна лишь укрепить его позиции в научном сообществе.

Существуют по меньшей мере пять аспектов, по которым социальная теория может быть определена как евроцентричная. Данные аспекты не складываются в логически упорядоченную систему категорий, так как пересекаются друг с другом не вполне понятным образом. Несмотря на это, относительно автономное рассмотрение каждого из допущений может оказаться полезным. Считается, что евроцентризм социологической концепции способен проявиться: 1) в ее историографии; 2) в ограниченности ее универсализма; 3) в ее возвеличивании (западной) цивилизации; 4) в ее ориентализме; и 5) в попытках навязать теорию прогресса. **Историография.** *Историография.* В данном случае предпринимается попытка обосновать европейское доминирование в эпоху модерни-227

ти посредством апелляции к значимости европейских успехов. Историография, быть может, и первична по отношению к другим методам аргументации, но в то же время ее отличает явная наивность, позволяющая с легкостью ее оспорить. Нет никакого сомнения в том, что на протяжении последних двух столетий европейцы правили миром. В совокупности они

контролировали наиболее богатые и мощные в военном отношении державы. Они использовали самые передовые технологии и были их единственными создателями. Эти факты кажутся практически неоспоримыми, и их действительно нелегко опровергнуть. Вопрос, однако, состоит в том, чем обусловлен разрыв в мощи и благосостоянии между Европой и остальным миром. Некоторые считают, что европейцам удалось совершить нечто особенное и достойное похвалы, что не удалось людям в других частях света; в этом случае говорят о «европейском чуде» . Европейцы инициировали промышленную революцию и разработали концепцию устойчивого экономического роста, они реализовали модели модернити и капитализма, породили как бюрократизацию, так и представления о свободе личности. Разумеется, в этом случае необходимо четко определить данные понятия, определить, действительно ли европейцы вызвали к жизни эти процессы, и если да, то когда именно.

Но даже если мы придем к согласию относительно определений и хронологии и тем самым признаем реальность того или иного явления, то и в этом случае мы проясним лишь немного. Нам по-прежнему нужно будет объяснить, почему именно европейцы, а не кто-то другой дал толчок тем или иным процессам и почему они зародились в конкретный исторический момент, а не раньше или позже. В поисках разгадки многие ученые инстинктивно обращаются к далекому прошлому, пытаясь разглядеть в его чертах истоки современных тенденций. Если в XVIII или XVI веках европейцы совершали поступки типа «а», то это объявляется следствием того, что их предки (или, точнее, те, кто считается их предками, так как это понятие имеет скорее культурное, или псевдокультурное, нежели биологическое значение) совершали поступки типа «у» в XI веке н.э. или обладали характеристикой «у» в 228

веке до н.э., если не раньше. Каждый из нас может привести множество примеров, когда в ходе объяснения, установив или, по крайней мере, предположив существование определенных исторических фактов или тенденций в XVI-XIX веках, нас отсылают еще дальше в глубь европейской истории на поиски наиболее значимой переменной.

Однако существует обстоятельство, которое долгое время не то чтобы скрывалось, но как бы не подлежало обсуждению. Считалось, что изобретения и новации, возникшие в XVI-XIX веках в Европе, были все без исключения позитивными, что Европа должна ими гордиться, а остальной мир может лишь завидовать европейцам или, по крайней мере, быть им признательным. В этом случае сама новизна уже воспринимается как достижение, и названия множества книг подтверждают распространенность подобного подхода.

У меня не вызывает сомнения, что современная историография социологической теории отражает в общем и целом именно такое восприятие. Конечно, его правильность может быть оспорена с помощью различных контраргументов, что и случается все чаще и чаще. Можно усомниться в том, насколько точны наши представления о том, что происходило в Европе и в мире в целом в XVI-XIX веках. Можно оспорить значимость того, что считают культурными предпосылками тех или иных процессов. Можно вписать историю Европы в XVI-XIX веках в более широкий контекст, расширив временные рамки от нескольких веков до десятков тысячелетий. Предприняв подобные попытки, многие исследователи выступают с заявлениями о том, что европейские «достижения» XVI-XIX веков выглядят не столь уж и впечатляющими, что они могут относиться к [высокой точке] циклического пути развития; иногда вспоминают, что многие из таковых вовсе даже и не являются исключительно европейскими достижениями. И наконец, можно признать, что все эти нововведения были реальны, но возразить, что они принесли с собой скорее негативные, чем позитивные, последствия.

Подобная ревизионистская историография убеждает своей детализированностью, но при этом стремится к созданию нового собирательного образа. В определенный момент 229 стремление разрушать и развенчивать старое может возобладать, и тогда альтернативная теория одержит верх. Нечто подобное, похоже, происходит (или уже случилось) с историографией Французской революции, в которой так называемый «социальный подход», или «социальная интерпретация», господствовавшие в научной литературе без малого полтора столетия, на протяжении последних трех десятилетий подверглись серьезным сомнениям, решительно критиковались и были в определенной степени преодолены. Весьма вероятно, что в наши дни мы находимся на пороге смены парадигм, затрагивающей фундаментальные основы историографии модернити. В моменты таких масштабных перемен остается глубоко вздохнуть, отступить на шаг назад и

задуматься, так уж ли новые гипотезы убедительнее прежних, и, что даже более важно, воистину ли свободны они от базовых предпосылок своих предшественниц? Именно этот вопрос я хотел бы поставить в связи со сменой парадигмы в исследовании предполагаемых достижений европейцев в эпоху модернити. Старая парадигма критикуется. Что предлагается в качестве замены? Насколько это новое отличается от старого? Прежде чем обратиться к этой масштабной проблеме, рассмотрим другие подходы к критике евроцентризма. **Универсализм.**

Универсализм. Универсализм предполагает существование научных истин, справедливых всегда и везде. В последние столетия, явившиеся эпохой культурного триумфа науки как познавательной деятельности, европейская мысль была отмечена серьезным влиянием универсализма. Наука потеснила философию, став самым авторитетным методом познания и заняв место арбитра в обществоведческих спорах. Наука эта была, разумеется, ньютоновско-картезианской. Она утверждала, что мир подчиняется детерминистским законам, описывающим линейные процессы, управляемые стремлением к достижению равновесия, и что возводя эти законы в ранг универсальных обратимых уравнений, мы можем, зная определенный набор исходных условий, определить состояние системы в любой момент времени - как прошлого, так и будущего. **230**

Значение этого для социальной теории казалось очевидным. Обществоведы считали себя способными открыть универсальные процессы, объясняющие поведение человека, а любые гипотезы, которые им удавалось обосновать, считались сохраняющими свою актуальность независимо от времени и пространства или же должны были формулироваться таким образом, чтобы их истинность не зависела от времени и пространства. Личность исследователя не имела значения, коль скоро ученые выступали в качестве аналитиков, не имевших своих особых ценностей. Региональными особенностями эмпирических реалий также можно было пренебречь, если только исходные данные были обработаны правильно, поскольку считалось, что процессы [развития] неизменны. Сходными оставались и позиции тех ученых, которые придерживались более исторического и идиографического подхода, поскольку признавалось существование некоей определяющей историческое развитие модели. Все теории стадийного развития (созданные Контом, Спенсером или Марксом, если назвать лишь несколько имен из длинного списка) по большому счету оставались теоретизированным изложением того, что принято было называть виговской интерпретацией истории* и что сводилось к утверждениям о превосходстве нынешнего состояния над всеми предшествующими и о четкой обусловленности настоящего прошлым. И даже наиболее подверженные эмпиризму исторические исследования, сколько бы решительно в них ни отвергалось теоретизирование, несли на себе печать представлений о стадийности развития.

Европейская социальная теория - выступала ли она в виде антиисторических рассуждений социологов или в виде разра-

* Речь идет о концепции, представлявшей историю как безусловно прогрессивный процесс, которому может быть придано нужное направление. Популяризовавшаяся в середине XIX века лордом Макалеем (Lord Macaulay) и другими лидерами партии вигов, отождествлявших распространение британских политических институтов, британской культуры и английского языка по всему миру с распространением принципов цивилизации, эта концепция стала основой для формулирования принципа мелиоризма, согласно которому человечество может и должно совершенствоваться. Сегодня принцип мелиоризма считается одной из трех базовых и составляющих идеологии либерализма. - *Прим. ред.* 231

батывавшейся историками стадийной теории развития - оставалась предельно универсалистской в своем утверждении того, что процессы, происходившие в Европе в XVI-XIX веках, определяли модель, способную быть примененной повсеместно: либо потому, что она отражает прогрессивное, а потому необратимое развитие человечества, либо потому, что описывает процесс удовлетворения все новых потребностей человечества через устранение искусственных препятствий. Современная исследователям Европа выступала не только примером совершенства, но и всеобщей моделью будущего.

Склонные к универсализму теории всегда подвергались критике с тех позиций, что ситуация в конкретном месте в конкретный момент времени выглядела противоречащей модели. Всегда находились и ученые, заявлявшие, что универсальные обобщения невозможны как таковые. Однако в последние тридцать лет к этим двум типам критики универсалистских социальных теорий добавился третий. Было заявлено, что предполагавшиеся универсальными теории в действительности не являются таковыми, оказываясь попыткой представить исторический путь западного мира в качестве универсальной модели. Джозеф Нидхэм уже довольно давно заметил,

что «фундаментальной ошибкой евроцентризма является... неявное постулирование того, что современные наука и техника, сформировавшиеся в Европе эпохи Возрождения, универсальны, а следовательно, универсально и все исходящее от Европы» .

Тем самым была обозначена связь евроцентризма социальной теории с ее партикуляризмом. Данная теория была объявлена не только евроцентричной, но и подверженной провинциальной ограниченности. Это задело за живое, поскольку социальная теория эпохи модернити гордилась прежде всего тем, что возвысилась над частностями. И в той степени, в которой это обвинение казалось оправданным, оно несло в себе нечто намного большее, нежели простое утверждение о том, что универсальные положения все еще не были сформулированы в том виде, который делал бы их применимыми в любой ситуации. *Цивилизация*. Под «цивилизацией» понимается ряд социальных характеристик, противоположных первобытности или варварству. Европа эпохи модернити считала себя не про-232

сто одной из многих «цивилизаций», но единственной или, по крайней мере, наиболее «цивилизованной». Единого мнения по поводу черт этой цивилизованности не наблюдалось, однако, даже среди самих европейцев. Для одних цивилизация отождествлялась с «модернити», то есть с развитием технологий, ростом производительности и верой в исторический прогресс. Для других цивилизация означала возросшую независимость «индивида» от иных социальных субъектов: семьи, сообщества, государства, религиозных институтов. Для третьих цивилизация означала отказ от грубости в повседневной жизни, «хорошее» в самом широком смысле слова поведение. Для четвертых она ассоциировалась с сокращением масштабов или сужением сферы применения легитимного насилия и расширением понятия жестокости. И разумеется, для многих понятие цивилизации предполагало комбинацию некоторых или даже всех отмеченных черт. Когда в XIX веке французские колонизаторы говорили о цивилизаторской миссии (*la mission civilisatrice*), они имели в виду, что посредством колониальных завоеваний Франция (и, в более широком смысле слова, Европа) привьет неевропейским народам ценности и нормы, воплощенные в этих определениях цивилизации. Когда в 1990-е годы отдельные группы в западных странах говорили о «праве вмешательства» в политическую ситуацию в различных, но почти никогда не относящихся к западному миру регионах планеты, оно также обосновывалось ценностями цивилизации.

Совокупность этих ценностей, как бы мы их ни называли -цивилизационными, секулярно-гуманистическими или ценностями модернити, - пронизывает социальную теорию, поскольку она сама выступает продуктом исторической системы, возведшей их в абсолют. Обществоведы инкорпорировали эти ценности в определения тех проблем (социальных или интеллектуальных), которые они считают заслуживающими внимания. Они инкорпорировали их в понятия, используемые при анализе этих проблем, равно как и в измеряющие их индикаторы. Без сомнения, социологи в большинстве своем утверждали, что отрицают ценностный подход, подчеркивая, что стремятся сознательно исказить данные в угоду своим 233

общественным или политическим предпочтениям. Но ценностно-нейтральная позиция в этом смысле вовсе не означает, что ценности не играют роли при оценке исторической значимости тех или иных явлений. Именно это прежде всего имел в виду Генрих Риккерт, когда он еще в 1913 году говорил о логической специфичности того, что он называл «культурными науками» . Последние не способны игнорировать «ценности» при определении социальной значимости. Справедливости ради заметим, что западные, а потому определявшиеся специфическими социальными условиями, представления о «цивилизации» не были абсолютно чужды концепции множественности «цивилизаций». При постановке вопроса об истоках цивилизационных ценностей и о том, почему они изначально возникли (как это утверждалось) в западном мире эпохи модернити, ответ почти неизбежно сводился к тому, что они являются продуктом специфических и имеющих продолжительную историю процессов, обусловленных наследием то античности и/или христианского средневековья, то иудейского мира, а то и обоих, что иногда называют иудейско-христианской традицией.

Против этих утверждений может быть и уже было выдвинуто множество возражений. Цивилизованность современного мира, или современного европейского мира, причем именно в том смысле, в каком это понятие употребляется европейцами, была поставлена под сомнение. Примечателен ироничный ответ, данный Махатмой Ганди на вопрос «Что Вы думаете о западной цивилизации?»: «Это была бы неплохая идея». Оспаривается и тезис о том, что ценности древних

Греции и Рима или древней Иудеи в большей мере способствовали возникновению так называемых современных ценностей, чем ценности других цивилизаций. И наконец, неочевидно само право современной Европы считать себя наследницей, с одной стороны, цивилизации Греции и Рима и, с другой стороны, древней Иудеи. Спор между теми, кто считает Грецию и Иудею альтернативными источниками европейской цивилизации, имеет долгую историю. Каждая из сторон отрицает правоту другой, но сам спор вызывает сомнения в состоятельности его предмета.

234

Как бы то ни было, рискнет ли кто-нибудь утверждать, что Япония может объявить себя наследницей цивилизации древней Индии на том лишь основании, что именно там зародился буддизм, ставший центральным элементом японской культуры? Более ли близки в культурном смысле современные Соединенные Штаты к древним Греции, Риму или Иудее, чем Япония к индийской цивилизации? Можно, наконец, указать на то, что христианство решительно порвало с греческой, римской и иудейской традициями. Сами христиане говорили именно об этом вплоть до эпохи Возрождения. И разве разрыв с античностью не остается и по сей день частью символа веры всех христианских конфессий?

Сегодня, однако, спор о ценностях вышел на первый план в сфере политики. Малазийский премьер-министр Махатхир был предельно четок в своем заявлении о том, что азиатские страны могут и должны проводить «модернизацию» без принятия всех или хотя бы части ценностей европейской цивилизации. Его взгляды встретили поддержку азиатских политических лидеров. Спор о «ценностях» приобрел большое значение и в самих европейских странах, особенно (но не только) в Соединенных Штатах*, приняв вид дискуссии о «мультикультурализме». Она оказала значительное влияние на институционализированную социологию, вызвав к жизни объединения университетских ученых, отрицающих тезис о единичности того, что принято называть цивилизацией. **Ориентализм.**

Ориентализм. Ориентализм рисует стилизованную и обобщенную картину характерных черт незападных цивилизаций. Он представляет собой как бы оборотную сторону понятия «цивилизация» и со времени выхода в свет работ Анвара Абдель-Малека и Эдуарда Сайда выступает предметом широких дискуссий⁴. Еще совсем недавно быть ориенталистом считали* Эта формулировка заслуживает, на наш взгляд, особого внимания по причине четкости, с какой автор подчеркивает принадлежность Соединенных Штатов к ареалу распространения европейской культуры; даже знаменитая формула А.Мэддисона о США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии как о боковых ветвях Запада (см.: Maddison, A. *The World Economy. A Millennial Perspective*. Paris: OECD Development Centre, 2001, p. 27) оказывается гораздо менее категоричной. - *Прим. ред.* 235

лось почетным⁶. Ориентализм обнаруживает свои истоки в европейском средневековьи, когда отдельные христианские монахи-интеллектуалы, желая лучше понять нехристианские верования, начали изучать языки восточных народов и вчитываться в их священные писания. Разумеется, они основывались на предпосылке истинности христианской доктрины и стремились к обращению язычников в христианскую веру, но тем не менее они воспринимали восточные религиозные тексты серьезно, как выражение, пусть и извращенное, человеческой культуры. Когда в XIX веке ориентализм обрел светский вид, он не слишком изменил свои формы. Ориенталисты продолжали изучать языки и расшифровывать тексты. Они сохранили и прежде присущий им «бинарный» взгляд на социальную реальность, лишь заменив разделение на христианское и языческое дихотомией западного и восточного, модерни и архаики. В социологии возник длинный ряд известных противопоставлений: военного и индустриального типов обществ, *Gemeinschaft* и *Gesellschaft*, механической и органической солидарности, традиционной и рационально-законодательной легитимации, статики и динамики. Хотя в большинстве случаев эти противопоставления не содержали прямых отсылок к ориентологическим исследованиям, не стоит забывать, что их предтечей явилось противопоставление Генри Майном статуса договору, основанное на сравнении индийской и английской систем права.

Ориенталисты считали себя людьми, старательно доказывавшими свое благожелательное отношение к незападным цивилизациям, посвящая всю свою жизнь кропотливому изучению текстов с целью понять их культуру. То, что в данном случае они считали культурой, было, разумеется, не более чем конструкцией, созданной представителями иной культуры. И именно адекватность и действенность этих конструкций и была подвергнута критике, причем на трех уровнях: утверждалось, что они противоречат эмпирическим фактам; что они являются слишком

абстрактными и игнорируют очевидное многообразие [социальных] форм; и, наконец, что они представляют собой развитие европейских предрассудков. **236**

Выпады против ориентализма были, однако, чем-то большим, чем критика научной несостоятельности. Они воплощали в себе и критику в адрес политических последствий подобных социологических построений. Ориентализм рассматривался в качестве инструмента оправдания доминирующего статуса Европы, как важный идеологический довод в пользу имперской роли Европы в миро-системе модернити. Критика ориентализма оказалась увязанной с более общей критикой материального подхода и стала элементом усилий, направленных на разрушение обществоведческих догм. При этом отмечалось, что как попытки инициировать за пределами западного мира альтернативное обсуждение «оксидентализма», так и, к примеру, «все рассуждения элит об антитрадиционализме в современном Китае, проявляющемся начиная с 'Движения 4 мая' и заканчивая студенческой демонстрацией на площади Тяньаньмынь в 1989 году, оказались в значительной степени ориентализированы»⁶ и потому лишь укрепляли позиции ориентализма, а не подрывали их. **Прогресс.**

Прогресс. Прогресс, его реальность и неизбежность, был основной темой в эпоху европейского Просвещения. Некоторые авторы считают, что эта идея столь же стара, как и западная философская традиция⁷. Так или иначе, концепция прогресса в XIX веке стала в Европе общепринятой (и оставалась таковой на протяжении большей части XX столетия). Общественные науки с самого своего возникновения несли на себе печать теории прогресса.

Идея прогресса стала основой исследования всемирной истории и краеугольным камнем всех теорий стадийного развития. Более того, она оказалась движителем прикладной социологии. Нам внушали, что мы изучаем обществоведческие дисциплины с тем, чтобы глубже понять социальную реальность, ибо только в этом случае мы сможем более осмысленно и более уверенно способствовать всемерному ускорению прогресса (или, по меньшей мере, устранять препятствия на его пути). «Эволюция» или «развитие» выступали скорее не как аналитические, а как предписывающие понятия. Социальные науки стали советником (а то и служанкой) политиков - от паноптикума Бентама до Союза социальной поли-**237**

тики*, комиссии Бевериджа и бесчисленного множества других государственных комитетов, послевоенных антирасистских программ ЮНЕСКО, а также исследований Джеймса Коулмана по проблемам американской системы образования. В послевоенный период «развитие отсталых стран» выступило лозунгом, оправдывавшим вовлечение обществоведов, исповедовавших самые разные политические убеждения, в социальную и политическую реорганизацию незападного мира. Прогресс не просто осознавался или анализировался, он еще и навязывался. Такой подход не слишком отличается от того, о котором мы упоминали при обсуждении «цивилизации». В данном случае следует, однако, подчеркнуть, что в то время как понятие цивилизации стало неоднозначным и вызывающим подозрение (особенно после 1945 года), понятие прогресса сохранило свою значимость и легко заменило категорию цивилизации, так как выглядело более импозантным. Идея прогресса выступала последним рубежом обороны евроцентризма, его резервной позицией.

Идея прогресса во все времена подвергалась критике со стороны консерваторов, хотя можно сказать, что сила их сопротивления радикально снизилась в период с 1850 по 1950 год. Однако с 1968 года критики идеи прогресса вновь ожили, обретя новых сторонников в среде консерваторов и новые основы для своей веры в левых кругах. Ведь к критике идеи прогресса можно подойти с различных сторон. Можно сказать, что все, обычно называемое прогрессом, представляет собой псевдопрогресс, но при этом существует и прогресс подлинный; что европейская трактовка прогресса была не более чем заблуждением или попыткой ввести в заблуждение других. Можно, напротив, заявить, что прогресса не существует, как тако-

* «Союз социальной политики» - организация, созданная в 1872 году в Эйзенахе германскими экономистами и социальными философами Г.Шмоллером и Г.Шенбергом для популяризации мер, направленных на сокращение имущественного и социального неравенства. Деятельность Союза была направлена на введение обязательного начального школьного обучения, системы страхования от несчастных случаев на производстве и элементов пенсионного обеспечения; большинство этих мер было реализовано в Германии в конце XIX - начале XX веков. - *Прим. ред.* 238

вого, вследствие «первородного греха» или цикличного характера всемирной истории. И наконец, можно отметить, как это делают за пределами западного мира некоторые критики экологического

движения, что Европа уже познала прогресс и потому сегодня пытается скрыть его плоды от остального мира. Остается очевидным, что в глазах многих идея прогресса выглядит сугубо европейской идеей и потому оказывается жертвой борьбы с евроцентризмом. Эта борьба, однако, выглядит весьма непоследовательной, если принимать во внимание стремление обитателей незападного мира приписать прогресс всему этому миру или его части, сбрасывающее со счетов Европу, но не прогресс.

Многочисленные формы евроцентризма и многочисленные формы его критики не всегда способствуют созданию ясной картины. Поэтому мы предпочли бы попытаться оценить центральный элемент этой полемики. Институционализированное обществоведение как особый вид деятельности зародилось, как мы уже отмечали, в Европе. Именно оно обвинялось и обвиняется в создании ошибочного образа социальной реальности из-за неверного осмысления, грубого преувеличения и/или искажения исторической роли Европы, особенно в эпоху модернити. В основном возражения критиков сводятся к трем разным (и отчасти противоречащим друг другу) типам заявлений. Согласно первому, все, что бы ни делала Европа, делали и иные цивилизации до тех пор, пока Европа не применила свою геополитическую мощь для того, чтобы прервать этот процесс в других регионах мира. Согласно второму, все, что бы ни делала Европа, было лишь продолжением того, что в течение долгого времени делали все остальные, а европейцы лишь временно оказались в авангарде. Согласно третьему, все, что бы ни делала Европа, анализируется некорректно и рассматривается через призму необоснованных экстраполяции, что несет с собой опасные последствия как для мира науки, так и для мира политики. Первые два аргумента, широко распространенные, страдают, как мне кажется, от того, что можно назвать «антиевроцентристским евроцентризмом». Тре-239

тий представляется мне бесспорно правомерным и заслуживающим самого пристального внимания. Но что может представлять собой «антиевроцентристский евроцентризм»? Рассмотрим последовательно каждый из аргументов.

На протяжении всего XX века встречались люди, утверждавшие, что в рамках, скажем, китайской, индийской или арабо-мусульманской цивилизаций имели место такие культурные предпосылки, а также прослеживались такие социально-исторические тенденции, которые впоследствии могли привести к формированию зрелого современного капитализма и реально способствовали развитию в этом направлении. В случае с Японией подобное утверждение формулируется еще более жестко: говорится, что капитализм там сложился самостоятельно, и этот процесс лишь совпал по времени с его развитием в Европе. Большинство таких утверждений основано на концепции стадийного развития (и часто на ее марксистской версии), из которой логически вытекает, что все народы движутся параллельными путями к модернити или капитализму. Эта система аргументации предполагает, с одной стороны, самобытность и автономность различных цивилизационных регионов и, с другой, их подчиненность единой всеобъемлющей модели развития. Аргументы этого типа при всем их многообразии относятся, как правило, к какой-либо определенной культурной зоне и ее исторической эволюции и потому могли бы послужить серьезным поводом для обсуждения исторической специфики их применения к каждой из таких зон. Я не предлагаю делать это сейчас, но отмечу одно логическое ограничение данного подхода, существующее вне зависимости от рассматриваемого региона, а также одно общее интеллектуальное следствие. Логическое ограничение весьма очевидно. Даже если все регионы планеты действительно шли по пути к модернити и капитализму и, возможно, продвинулись в этом направлении достаточно далеко, сохраняется необходимость объяснить, почему же Запад, а именно Европа, первым достиг цели и в результате смог «завоевать весь мир». Здесь нам вновь приходится вернуться к прежней постановке вопроса: почему модернити и капитализм возникли на Западе? 240

Конечно, и сегодня можно слышать мнения, что по большому счету Европа так и не покорила мир, поскольку всегда и везде она встречала сопротивление; такие утверждения кажутся мне предельным искажением реальности. В конце концов, существовали же на большей части земного шара реально завоеванные колонии. Европейская мощь имела вполне реальное военное выражение. Конечно, во все времена имело место сопротивление, как в активной, так и в пассивной формах, но если бы оно действительно было столь серьезным, сегодня нам нечего было бы обсуждать. Если мы станем чрезмерно заострять внимание на неевропейских источниках развития, то закончим отпущением всех европейских грехов или, по крайней мере, большей их

части. Это, как мне кажется, не входит в намерения критиков.

В любом случае, сколь бы временным мы ни считали европейское доминирование, оно тем не менее нуждается в объяснении. Большинство критиков, приводящих такие доводы, пытается прежде всего объяснить, как европейцы прервали самобытное развитие их стран, а не почему им удалось это сделать. Более того, пытаясь преуменьшить роль Европы в том, что иногда считается достижением, они тем самым подчеркивают, что речь все же идет о достижении. Такой подход делает из Европы «антигероя» - несомненно, «анти-», но столь же, несомненно, героя в драматическом смысле слова, ибо именно Европа совершила финальный рывок и первой достигла финиша. И, что даже хуже, из разделяемых этими критиками положений с очевидностью следует, что будь у Китая, Индии или арабского мира хоть малейший шанс, они бы смогли и, более того, стали бы стремиться достичь того же результата, и сами стали бы родоначальниками модернити и капитализма, завоевали бы мир, эксплуатировали бы его население и ресурсы и вполне бы свыклись с ролью антигероя.

Подобное видение современной истории представляется весьма евроцентристским в своем антиевроцентризме, ибо оно соглашается со значимостью (и тем самым принимает Ценность) европейских «достижений» в том самом смысле, в каком ее определяют европейцы, и всего лишь отмечает, что Другие народы могли бы достичь того же самого или стреми-²⁴¹ лишь к этому. По каким-то причинам, возможно, случайным, Европа временно вырвалась вперед и насильственно вмешалась в развитие других стран. Утверждение о том, что иные народы также могли сыграть роль европейцев, кажется мне сомнительным приемом критики евроцентризма и на деле лишь усугубляет худшие следствия использования евроцентристского типа мышления в социальной теории.

Вторая линия сопротивления евроцентристским методам анализа основывается на утверждении о том, что Европа, по сути, не сделала ничего оригинального. В этом случае отмечается, что даже в позднее средневековье, не говоря уже о более ранних периодах, Европа оставалась окраинным (периферийным) регионом Евразийского континента, историческая роль и культурные достижения которого были несравнимы с уровнем развития, достигнутого в других частях света (таких, как арабский мир или Китай). И это, безусловно, верно, по крайней мере на первый взгляд. Затем, однако, сторонники этой линии резко переходят к рассмотрению современной Европы в рамках ойкумены, или всемирной структуры, формировавшейся несколько тысячелетий⁸. Такой подход возможен, но, по моему мнению, системный смысл понятия «ойкумена» только еще предстоит определить. Между тем мы приближаемся к третьему элементу в этой логической цепи: утверждается, что из изначальной периферийности Западной Европы и тысячелетнего созидания евразийской ойкумены следует, что происходившие в Западной Европе события не представляли собой ничего особенного, будучи лишь одним из вариантов исторического развития всеобщей системы.

Это последнее утверждение представляется мне глубоко ошибочным как с концептуальной, так и с исторической точек зрения. Однако я не хочу в очередной раз его опровергать. Я попытаюсь лишь отметить черты, свидетельствующие о евроцентричностTM этого антиевроцентризма. В рамках этого подхода логично предположить, что капитализм не представляет собой ничего нового, и некоторые сторонники непрерывности развития евразийской ойкумены открыто поддерживают это мнение. В отличие от тех, кто утверждает, что другие цивилизации тоже шли по пути к капитализму, когда ²⁴²

Европа вмешалась в этот процесс, сторонники рассматриваемого подхода считают, что все мы шли к капитализму вместе и что реального движения в направлении капитализма в эпоху модернити не было заметно прежде всего потому, что капитализм в некотором роде уже существовал во всем мире (или, по крайней мере, в евразийской ойкумене) на протяжении многих тысячелетий.

Прежде всего, позвольте заметить, что это классическая позиция либеральных экономистов. Она по сути не слишком отличается от занимавшейся Адамом Смитом, утверждавшим, что «человек [по своей природе] склонен к обмену одних вещей на другие»¹⁰. Такой подход стирает существенные различия между отдельными историческими системами. Если на протяжении истории китайцы, египтяне и западноевропейцы делали одно и то же, то какой смысл вкладывается в утверждение о том, что они представляют различные цивилизации или различные исторические системы? Если отрицать заслуги Европы, то можно ли признавать их за кем-то

еще, кроме всего человечества?

И в который раз, к своему ужасу, присваивая другим европейские заслуги перед евразийской ойкуменой, мы принимаем главный идеологический аргумент евроцентризма - высокую ценность модернити и капитализма, - добавляя к этому лишь то, что все народы во все времена разными путями шли в этом направлении. Отрицая заслуги Европы, мы отрицаем и ее вину. Что страшного может быть в «европейском завоевании мира», если в таком виде предстает лишь новейший этап непрерывного развития ойкумены? Такое утверждение, вовсе даже не критическое в отношении Европы, скорее, должно вызвать взрыв аплодисментов в ее честь, коль скоро Европа, будучи окраинной частью ойкумены, смогла не только усвоить мудрость других (и более древних) [цивилизаций], но и успешно воплотить ее в жизнь.

Отсюда с очевидностью вытекает редко оглашаемый вывод. Если евразийская ойкумена тысячелетиями следовала единым путем, а капиталистическая миро-система не представляет собой ничего нового, то есть ли основания считать, что этот путь не будет бесконечным или, по крайней мере, не про-243

должится еще неопределенно долгое время? Если капитализм не возник в XVI (или XVIII) веке, то он наверняка не закончится в XXI-м. Что касается лично меня, то я просто не верю в это, о чем уже говорил в нескольких недавних своих работах¹². В данном случае, однако, я хочу прежде всего обратить внимание на то, что подобная аргументация ни в коем случае не является антиевроцентристской, ибо принимает набор базовых ценностей, выдвинутый Европой в эпоху ее господства над миром, и тем самым фактически отрицает и/или принижает иные системы ценностей, являющиеся или являвшиеся некогда господствовавшими в иных частях света. Мне кажется, что следует найти более серьезные основания для критики евроцентризма в общественных науках, равно как и более солидные ее формы. Это особенно важно потому, что третья линия критики - утверждение о том, что все прежнее развитие Европы оценивалось некорректно и становилось базой для необоснованных экстраполяции, повлекших опасные последствия как для науки, так и для мира политики, - представляется правильной. На мой взгляд, прежде всего необходимо пересмотреть тезис о том, что все европейские достижения являются позитивными. Нужно составить максимально точный баланс всего того, что было сделано капиталистической цивилизацией на протяжении ее истории, и выяснить, действительно ли достижения перевешивают недостатки. Однажды я уже попытался сделать это и призываю других к тому же¹³. Составленный мною баланс полностью отрицателен, и потому я не считаю капиталистическую систему свидетельством прогресса человечества. Для меня она выглядит скорее результатом разрушения исторических барьеров, стоявших на пути именно этой исторической разновидности эксплуатации. Китай, Индия, арабский мир и иные страны не пошли по капиталистическому пути, и я считаю это свидетельством их большего иммунитета и в данном качестве их исторической заслугой. Все попытки заставить их оправдываться за то, что является их достижением, представляются мне квинтэссенцией евроцентризма.

Позвольте внести ясность. Я считаю, что в той или иной степени элементы коммодификации, а следовательно, и ком-244

мерциализации, присутствовали во всех наиболее значимых исторических системах (цивилизациях). Как следствие всегда находились люди, стремившиеся к извлечению прибыли. Однако целая пропасть разделяет ту историческую систему, где предприниматели, торговцы и прочие «капиталисты» составляют определенный процент граждан, и ту, в которой безраздельно господствуют капиталистический дух и стиль жизни. В обществах, предшествовавших миро-системе модернити, как только капиталистическая страта становилась слишком богатой или преуспевающей или же начинала препятствовать функционированию существующих институтов, она встречала отпор со стороны других институциональных групп (культурных, религиозных, военных, политических), которые использовали и свои властные рычаги, и свои системы ценностей для оправдания необходимости противостоять жаждущей прибыли группе и удерживать ее в рамках дозволенного. Таким образом, буржуазии раз за разом не удавалось навязать свои устои в качестве приоритетных. Нередко предпринимателей лишали, причем самым грубым образом, накопленного ими капитала или иным образом заставляли проявлять почтение к тем ценностям и порядкам, которые стояли у них на пути. Это я и называю противоядием, сумевшим ослабить вирус. Между тем в западном мире в силу ряда причин, носивших временный (случайный,

конъюнктурный) характер, противоядия оказались менее доступными или менее эффективными, и вирус стремительно распространился, продемонстрировав невосприимчивость к попыткам сдержать его разрушительное действие. Европейское миро-хозяйство уже в XVI веке было необратимо капиталистическим. И как только капитализм превратился в основу данной исторической системы, как только приоритетом этой системы стало непрерывное накопление капитала, она получила особое преимущество перед другими историческими системами, позволившее ей расширяться до тех пор, пока она физически не охватила весь мир, став первой исторической системой, достигшей такой тотальной экспансии.

Но хотя капитализм и совершил свой прорыв в Европе, откуда он и распространился по всей планете, из этого не вы-245

текает, что данный процесс был неизбежен, желателен или в каком бы то ни было смысле прогрессивен. На мой взгляд, ни одна из этих характеристик не могла быть к нему применена. И именно с этого следует начинать критику евроцентризма.

Я предпочел бы выяснить, что не является универсальным в универсалистских доктринах, порожденных капиталистической исторической системой, то есть миро-системой модернити. Эта миро-система породила структуры знания, значительно отличающиеся от предшествующих. Часто говорят, что это отличие заключается в развитии научной мысли. Подобное утверждение, однако, ошибочно, какими бы блестящими ни были достижения современной науки. Научная мысль появилась задолго до мира модернити и присутствует во всех основных цивилизационных зонах. На примере Китая это было авторитетно продемонстрировано в фундаментальной, хотя и незаконченной работе Джозефа Нидхэма¹⁴.

В гораздо большей мере структурирование знаний в современной миро-системе характеризуется наличием «двух культур». Ни в одной другой исторической системе не существовало такой пропасти между наукой, с одной стороны, и философией и этикой - с другой, или, что было бы даже точнее, между жаждой истины и жаждой добра и совершенства. Это разделение нелегко было сохранить в рамках геокультуры современной миро-системы. На его институционализацию ушло три столетия. Сегодня, однако, оно присуще геокультуре и составляет основу нашей университетской системы.

Такое концептуальное разделение позволило миру модернити выпестовать в высшей степени противоречивую идею о специалисте, не подверженном влиянию ценностей, чье объективное видение реальности могло не только определить технические (в самом широком смысле слова) решения, но и стать основанием для социальных и политических предпочтений. Получив защиту от коллективных оценок и, по существу, превратившись в технократов, ученые освободились от диктата властей, не имеющих отношения к науке. Но при этом обесценились и ключевые социальные концепции, вырабатывавшиеся на протяжении последних пятисот лет в ходе реальных (в противоположность формальным) научных дискуссий. Тезис 246

о том, что в одних сферах важнее наука, а в других - социальные и политические решения, выступает ключевой концепцией, поддерживающей евроцентризм, поскольку приемлемыми считаются лишь те универсалистские предложения, которые являются евроцентристскими. Все, что бы ни укрепляло это разделение двух культур, усиливает позиции евроцентризма. Кто бы ни отрицал специфику мира модернити, он не сможет доказать необходимость воссоздания структур знания, а следовательно, и предложить убедительные и выглядящие рациональными альтернативы существующей миро-системе.

В последние лет двадцать законность этой разделенности философии и науки впервые была оспорена. В этом состоит значение, например, экологического движения. И в этом же глубинная суть широкой критики евроцентризма. Новые вызовы привели к так называемым культурным и научным войнам, которые часто оказывались обскурантистскими и делали проблему еще более запутанной. И если мы стремимся создать воссоединенную и потому неевроцентричную структуру знания, то мы ни в коем случае не должны уклоняться от решения этого центрального вопроса. Если мы хотим создать миро-систему, альтернативную находящейся ныне в глубоком кризисе, мы должны последовательно рассматривать темы истины и блага в их неразрывной связи. И раз нам предстоит сделать это, придется признать, что Европа воистину совершила в XVI-XVIII веках нечто особенное, нечто реально преобразившее мир, но преобразившее его в таком направлении, что негативные последствия такой трансформации мы ощущаем на себе до сих пор. Мы должны прекратить попытки отрицать специфику Европы, основываясь на той ложной

посылке, что таким образом мы лишаем ее не принадлежащих ей по праву заслуг. Совсем наоборот. Мы должны признать специфический характер произведенного Европой переустройства мира, ибо только в этом случае мы сможем преодолеть его последствия и прийти к более универсалистской трактовке человеческих возможностей, к трактовке, в рамках которой можно будет не уклоняться от решения сложной и противоречивой проблемы соподчинения стремлений к истине и благу. 247

Глава двенадцатая. Структуры знания, или Сколько путей познания лежит перед нами*

Доклад Комиссии Гульбенкяна по [направлениям] реструктуризации общественных наук* * носит название «Сделать общественные науки открытыми». Оно отражает возникшее у комиссии ощущение, что общественные науки оказались закрытыми или сами закрылись от глубокого понимания социальной реальности и что методы, исторически выработанные ими с целью достижения такого понимания, сегодня могут ему препятствовать. Позвольте мне попытаться резюмировать то, что, по моему мнению, говорится в докладе о последних двух столетиях, а затем обратиться к тому, что это нам дает для определения сегодняшних задач.

Комиссия рассматривала общественные науки как историческую конструкцию, институционализированную в целом в период с 1850 по 1945 год. Тем самым мы подчеркнули, что эта конструкция довольно молода и что способ, каким были организованы общественные науки, нельзя считать неизбежным или неизменным. Мы попытались объяснить, какие черты мира XIX века определили решения создателей этой конструкции по вопросам разделения определенных «дисциплин». Мы стремились обнаружить логику, в соответствии с которой эти

* Выступление на конференции «Какие науки будут нужны нам завтра? Обсуждение доклада Гульбенкяна 'Сделать общественные науки открытыми'», Стэнфордский университет, Пало Альто, штат Калифорния, США, 2-3 июня 1996 года.

* Официальное название - *Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences*. - *Прим. ред.* 248 дисциплины принимали разные эпистемологии, и понять, почему они предпочитали ту или иную практическую методологию. Мы также хотели объяснить, почему после 1945 года эта логика стала признаваться ограничивающей, что вызвало ряд перемен в научном сообществе, имеющих результатом размывание различий между дисциплинами.

История общественных наук представлялась нам в виде U-образной кривой. Изначально, между 1750 и 1850 годами, положение было очень запутанным. Для обозначения [если можно так выразиться] протодисциплин использовалось множество различных названий, и лишь некоторые из них завоевали широкое признание. Позже, с 1850 по 1945 год, множество названий сократилось до небольшой стандартной группы, где одни четко отличались от других. По нашим подсчетам, лишь шесть из них были приняты практически всем научным миром. Однако затем, начиная с 1945 года, количество признаваемых названий областей исследования вновь стало возрастать, и сегодня все свидетельствует о том, что этот рост продолжится. Более того, если в 1945 году казалось, что между дисциплинами существуют четкие разграничительные линии, то впоследствии они начали устойчиво размываться, и сегодня мы имеем взаимное пересечение [областей исследования] и вытекающую отсюда путаницу. Короче говоря, в некотором смысле мы вернулись к ситуации 1750-1850 годов, когда множество понятий не обеспечивало приемлемой таксономии.

Но эти взаимное пересечение и путаница являются наименьшей из стоящих перед нами проблем. Сам процесс определения обществоведческих категорий протекает на фоне намного большей неразберихи, выходящей за пределы общественных наук и затрагивающей всю совокупность наших знаний. Вот уже двести лет мы живем в мире, где философия и естествознание* рассматриваются как различные и чуть ли

* Для избежания противопоставления, которое могло бы смутить русскоязычных читателей, мы обозначаем здесь понятием «естествознание» то, что автор называет «наукой» (science) и противопоставляет философии (philosophy) и обществоведению (social sciences). - *Прим. ред.*

249

не антагонистические формы знания. Полезно помнить, что так было не всегда. Этот раскол между так называемыми двумя культурами также является относительно новой социальной конструкцией, хотя он и возник чуть раньше, чем обществоведение распалось на отдельные дисциплины. Но, по сути, он оставался неведом миру до середины XVIII века.

Секуляризация общества, ставшая неотъемлемым элементом развития современной мир-системы, воплотилась в двух этапах эволюции мира науки. На первом из них теологии было отказано в статусе привилегированного или даже доминирующего вида познания. Ее место заняла философия; сам человек, а не Бог стал считаться источником знания. На практике это означало, что определение истинности знания перешло в ведение новых авторитетов. Особым уважением стали пользоваться не священники, имевшие особый доступ к слову Господа, а мыслители, обладавшие глубоким видением естественного закона, или законов природы. Но и эта смена авторитетов показала недостаточной тем, кто считал философию лишь новой формой теологии, поскольку и та, и другая предполагали «освящение» знаний: в одном случае духовенством, в другом - философами. Эти критики настаивали на необходимости доказательства [истинности знаний], полученных в ходе изучения эмпирической реальности. Только на таких доказательствах, утверждали они, могла основываться иная форма познания, называемая ими наукой. В XVIII веке ее адепты открыто отвергали философию просто как дедуктивную спекуляцию и утверждали, что только их метод познания является единственно рациональным.

С одной стороны, это отрицание философии могло казаться отрицанием авторитетов. В этом смысле оно было «демократическим». Ученые утверждали тем самым, что получать новое знание может каждый, если только он придерживается правильных методов. При этом истинность любого утверждения, кто бы с ним ни выступал, могла быть проверена любым другим ученым просто посредством повторения эмпирических наблюдений или расчетов. Поскольку этот тип познания приводил также и к полезным изобретениям, он претендовал на то, чтобы считаться наиболее эффективным 250

[и общественно значимым]. Поэтому вскоре наука добилась господствующих позиций в иерархии областей знания.

Однако «разрыв» между наукой и философией порождал важную проблему. И теология, и философия традиционно претендовали на постижение *как того*, что есть истина, *так и того*, что есть благо. Эмпирическая наука считала, что не располагает средствами, позволяющими отделять хорошее [от плохого], она считала своей прерогативой только установление границы между истинным [и ложным]. Люди науки изящно снимали эту проблему с повестки дня, утверждая, что намерены заниматься только поиском истины, а поиск блага готовы полностью отдать на откуп философам (и богословам). Они шли на это сознательно и, чтобы несколько защитить себя, с некоторым презрением. Согласно их утверждениям, более важным было познание истины. В конечном счете некоторые заявляли даже, что невозможно определить, что есть благо; можно лишь определить, что истинно. Это разделение истины и блага и лежит в основе «двух культур». Философия (или, говоря более широко, гуманитарные науки) должна была заниматься исключительно поиском блага (и совершенства). Наука же настаивала на том, что имеет монополию на поиск истины.

Но была еще одна проблема, вызванная к жизни этим разрывом. Путь эмпирической науки на деле оказался менее демократическим, чем можно было предположить. Вскоре возник вопрос о том, кто способен рассудить спор между соперничающими искателями истины. Ученые отвечали, что это право может принадлежать исключительно научному сообществу. Но коль скоро научное знание с неизбежностью и необратимостью становилось все более специализированным, оказывалось, что лишь узкие сообщества ученых (представлявшие отдельные дисциплины) считались частью той широкой группы, которая была «уполномочена» определять истинность научного знания. Однако эти сообщества были столь же замкнутыми, как и круг философов, ранее считавших себя вправе судить о способностях друг друга проникать в суть естественного закона или законов природы.

И [наконец], существовала третья проблема, обусловленная этим разрывом. Очень многие не желали жестко отделять 251

поиск истины от поиска блага. Усилия ученых, направленные на четкое разграничение этих двух видов деятельности, наталкивались на психологический протест, особенно если объектом исследования становилась социальная реальность. Стремление воссоединить эти поиски исподволь проявлялось в работе как представителей науки, так и философов, даже если они решительно отрицали желательность или даже возможность такого воссоединения. Но так как [попытки] восстановления нарушенной целостности носили неявный характер, наши возможности коллективно оценивать или критиковать их, равно как и способствовать им, оказывались

ограниченными.

Все эти три проблемы оставались в латентной форме на протяжении двухсот лет, но в последней трети XX века вновь заявили о себе. Их решение представляется сегодня первоочередной задачей интеллектуальной деятельности.

Можно выделить две волны нападков, направленных против разделения знания на естественные, гуманитарные и общественные науки, причем ни одна из них не зародилась в рамках обществоведения. Эти критические выпады были представлены исследователями так называемых «неравновесных систем» в естествознании и «культурологическими исследованиями» в гуманитарных науках. Исходя из совершенно различных позиций оба эти движения имели один и тот же объект критики - доминировавшую начиная с XVII века концепцию науки, основанную на ньютоновой механике.

Справедливости ради следует отметить, что в начале XX столетия ньютоновой физике бросила вызов квантовая теория. Но и она разделила фундаментальное положение ньютоновой физики, состоявшее в том, что физическая реальность вполне определена и имеет временную симметрию, из чего следовало, что [составляющие ее] процессы линейны, а флуктуации всегда возвращаются к точке равновесия. Согласно этой позиции, природа имеет пассивный характер, и ученые могут описать ее функционирование в категориях вечных законов, которые в конечном итоге сводятся к простым уравнениям. Говоря об обретении в XIX веке научным типом познания господствующего положения, мы имеем в

252

виду [подход, основывающийся] именно на этих допущениях. Все противоречившее им, например энтропия (описывающая неизбежные изменения материи с течением времени), интерпретировалось и интерпретируется как свидетельство неполноты научного знания, которая, может быть, и будет преодолена. Энтропия рассматривалась как нечто негативное, как особый вид смерти [всего] материального.

С конца XIX столетия, но особенно на протяжении последних двадцати лет, значительная часть ученых-естествоиспытателей оспаривает эти тезисы, полагая будущее по сути своей неопределенным. Они считают равновесное состояние исключением и утверждают, что происходящие в материальном мире процессы развиваются по траекториям, далеким от равновесных. По их мнению, энтропия ведет к бифуркациям, в которых новый (пусть и непредсказуемый) порядок рождается из хаоса, и сам этот процесс есть процесс созидания, а не смерти. Они убеждены в том, что самоорганизация является основным свойством материи, что выражается ими в двух положениях: существует не временная симметрия, а стрела времени; фундаментальной задачей науки оказывается не поиск простых формул, а, скорее, объяснение сложности.

Важно понять, что представляют собой исследования неравновесных систем и чем они не являются. Они не означают отрицания науки как способа познания. Они развенчивают науку, рассматривающую природу как пассивный объект, а истину - как изначально заложенную в структурах Вселенной. Они уверены, что «возможное 'богаче' наличествующего». Согласно такому подходу, у всякой материи есть история, и она, будучи подобна синусоиде, представляет развитие материального мира в виде последовательных альтернатив, между которыми делается «выбор». Речь не идет об агностицизме, о невозможности понять, как функционирует реальный мир. Отмечается лишь, что этот процесс понимания гораздо более сложен, чем утверждала традиционная наука.

Культурологи подвергли критике те же универсализм и Детерминизм, которые уже попали под огонь критики со стороны теории неравновесных систем. Но они по большей части пренебрегали различием между ньютоновой наукой и этой

253

новой теорией, а чаще всего просто не знали о ее существовании. Культурологи критиковали универсализм прежде всего за то, что утверждения о характере социальной реальности, делавшиеся с позиций универсализма, были далеко не универсальными. То была критика взглядов [представителей] доминирующей миро-системной страты, которые заявляли собственные реалии в качестве универсальных и общечеловеческих, тем самым «забывая» о значительной части человечества, причем не только в основополагающих утверждениях, но даже в эпистемологии своих подходов.

В то же время критика культурологов была направлена на традиционные представления гуманитариев, утверждавших универсальные понятия блага и совершенства (так называемые

каноны) и анализировавших тексты таким образом, как если бы они содержали в себе подобные универсальные оценки. Культурологи настаивают на том, что любой текст есть социальное явление, возникшее в определенном контексте и подлежащее прочтению или оценке в соответствии с таковым.

Классическая физика стремилась отказаться от некоторых «истин» на том основании, что они казались аномалиями, отражающими всего лишь наше недостаточное знание основополагающих универсальных законов. Классические гуманитарные науки стремились отказаться от ряда оценок «блага и совершенства» на том основании, что видимые различия в этих оценках отражали лишь неразвитость чувства вкуса у их авторов. Выступая против таких традиционных взглядов как в естествознании, так и в сфере гуманитарных исследований, оба движения - сторонников представлений о неравновесности и культурологов - стремились сделать познание более «открытым» для тех возможностей, которые долгое время оставались для него недоступными вследствие произошедшего в XIX веке разрыва между наукой и философией.

Каково же место обществоведения во всей этой картине? В XIX столетии общественные науки, оказавшиеся перед лицом разделенности «двух культур», вступили в большой методологический спор (Methodenstreit). Одни склонялись к под-254

ходу гуманитариев и пользовались эпистемологией, получившей название идиографической. Они подчеркивали уникальность любого социального явления, сомнительную полезность широких обобщений и необходимость понимания, основанного на способности исследователя «вживаться» в контекст изучаемых явлений. Другие склонялись к методам [, применявшимся] естествоиспытателями, и пользовались эпистемологией, получившей название номотетической. Они указывали на возможность проведения параллелей между природными и социальными процессами и стремились, подобно физикам, сформулировать универсальные и простые законы, не зависящие от времени и пространства. Обществоведение оказалось как бы привязанным к двум лошадям, скачущим в противоположных направлениях. Оно не имело собственной эпистемологической позиции и разрывалось на части борьбой между двумя колоссами - естествознанием и гуманитарными науками.

Сегодня мы оказались в качественно иной ситуации. С одной стороны, теория неравновесных систем подчеркивает [значимость] стрелы времени, что всегда было присуще обществоведению. Исследователи таких систем обращают внимание на их сложность и указывают, что социальные системы являются самыми сложными из нам известных. Они убеждены в присущей природе креативности, тем самым распространяя на весь материальный мир то, что прежде считалось исключительной чертой *Homo sapiens*.

Культурологи сосредоточиваются на социальном контексте, в котором создаются и воспринимаются все тексты и коммуникативные связи. Тем самым они разрабатывают тему, всегда остававшуюся ключевой для обществоведения. Они подчеркивают неоднородность социальной реальности и необходимость признания рациональности того, что выделяется из общего ряда.

Эти два движения предоставляют обществоведению бесценный шанс преодолеть его производный и неструктурированный характер и поместить исследования социальной практики в контекст изучения природы как целого. Отнюдь не будучи раздираемо лошадьми, скачущими в противоположных

направлениях, обществоведение, как я считаю, занимает как раз то место, куда движутся исследования неравновесности и культурологические исследования. В определенном смысле мы наблюдаем сегодня «социологизацию» всего знания.

Конечно, как и в случае любой другой возможности, оседлать удачу можно, лишь поймав ее. То, что мы можем сделать уже сейчас, - это рационально перестроить исследования социальной реальности. В этом можно основываться на понимании того, что стрела времени открывает возможности для творчества. Можно исходить также из понимания того, что многообразие моделей человеческого поведения собственно и является полем нашего исследования, и потому к оценке возможного можно подойти, лишь отбросив наши представления об универсальном. Наконец, нам всем открыт путь к воссоединению поисков истины и блага. Мы строим варианты будущего в рамках ограничивающих нас рамок. В далекой перспективе благо оказывается тождественным истине, поскольку истина позволяет выбрать из всех представлений о нас самих оптимальные и содержательно рациональные. Идея о существовании двух культур, а тем более

идея о противоречии между ними -это гигантская мистификация. Подразделение знаний на три сферы - препятствие на пути к более полному пониманию мира. Перед нами стоит задача перестроить наши институты таким образом, чтобы максимизировать шансы на обогащение нашего коллективного знания. Это титаническая задача, если учитывать консерватизм, присущий институтам власти, а также угрозу, которую такая перестройка представляет для тех, кому выгодно неравномерное распределение в мире ресурсов и власти. Но это не значит, что она невыполнима. Мы столкнулись с бифуркацией в структурах знания, которая во многом кажется хаотичной. Но мы обязательно выйдем из нее, установив новый порядок. Порядок этот еще не предопределен, но определяем. Ведь оседлать удачу можно, лишь поймав ее.

Глава тринадцатая. Взлет и грядущее падение миро-системного анализа*

Миро-системный анализ как самостоятельный социологический метод оформился в 70-е годы, хотя воплощенный в нем подход имеет долгую историю и основывается на гораздо более ранних исследованиях. Он никогда не претендовал на роль отдельной социологической дисциплины. Он не рассматривался как «социология мира», стоящая в одном ряду с социологией мегаполисов, социологией малых групп или политической социологией. Скорее, в нем оказалась сосредоточена критика многих положений существующей социальной теории, а именно того, что я называю «недумаящим обществоведением».

Вот почему я последовательно выступал против использования термина «теория миро-систем» (нередко применявшегося к предмету нашего обсуждения, в особенности теми, кто не принимал в нем участия) и настаивал на том, чтобы считать наши исследования лишь «миро-системным анализом». Еще не пришло время заниматься серьезным теоретизированием, но когда оно настанет, необходимо будет заняться структурированием общественных наук, а не теоретизированием миро-систем. Работа, которая велась в последние двадцать лет и которую следует продолжить в ближайшем будущем, представляется мне воссозданием основы для построения более эффективной парадигмы обществоведческой теории.

* Доклад на 91-м ежегодном собрании Американской социологической ассоциации, Нью-Йорк, 16 августа 1996 года. 257

Если миро-системный анализ оформился в 70-е годы, то потому, что сама миро-система оказалась готовой к его возникновению. Позвольте мне сказать несколько слов об этом времени. Основным его фактором следует считать всемирную революцию 1968 года - как сами события, так и породившие их глубинные причины. Вспомним, каким было американское и мировое обществоведение в 50-60-е годы. За четверть века, последовавшего за 1945 годом, крупнейшим событием в мировой социологии стало осознание реальности «третьего мира». Это геополитическое открытие подорвало основы обществоведения XIX века, в рамках которого одни концепции и дисциплины применялись к изучению Европы и Северной Америки, а другие - к изучению остального мира. После 1945 года общественные науки стали, вернее, вынуждены были стать, если так можно выразиться, географически едиными. С этого, и только с этого момента те, кого называли социологами, историками или политологами, получили законное право изучать Африку, Азию и Латинскую Америку или проводить там свои исследования¹.

То была эра региональных исследований, изменивших принципы организации обществоведения, сначала в Соединенных Штатах, а затем и в большинстве других частей мира. Желая теоретически обосновать значимость региональных исследований, их приверженцы столкнулись с фундаментальной эпистемологической дилеммой. Они стремились доказать, что обществоведческие концепции применимы ко всем регионам мира, а не только к Европе и Северной Америке. Прежде теории номотетической социальной науки практически применялись лишь к «цивилизованному» миру, а таковым считались лишь Европа и Северная Америка. В таком контексте региональные исследования предлагали «универсализующий универсализм». В то же время, однако, их адепты пытались доказать, что должного результата не удастся добиться на пути некритического применения к «третьему миру» обобщений, ранее полученных в Европе и Северной Америке. Условия «третьего мира», говорили эти регионоведы, совершенно иные. И если бы они не были иными, то зачем могли понадобиться региональные исследования? 258

Нелегко утверждать, что условия одинаковы и в то же время различны. Однако регионоведам удалось найти четкое и убедительное решение этой очевидной дилеммы. В своих исследованиях

они исходили из той уже широко распространенной в общественных науках точки зрения, согласно которой общество (а следовательно, и все конкретные общества) проходят через этапы развития, образующие эволюционный прогресс. Применительно к «третьему миру» эту теорию нарекли «теорией модернизации», или «девелопментализмом». Теория модернизации сводилась к простому утверждению о том, что все общества проходят через ряд этапов, завершающихся модернити. Инструментальным определением общества выступало понятие государства как уже существующего суверенного члена системы государств либо как колонии, которой суждено однажды стать суверенным государством. Хотя эти этапы именовались исследователями по-разному, основная идея оставалась неизменной. Целью данной теории было выяснить, как государства переходят от одного этапа к другому, с тем чтобы дать нам возможность определить, на каком этапе они находятся в настоящий момент, и помочь всем им приблизиться к состоянию модернити.

Эта теория обладала значительными эпистемологическими преимуществами. Все государства считались одинаковыми, поскольку по одним и тем же причинам проходили через одни и те же этапы. В то же время они различались, поскольку в каждый конкретный момент находились на разных этапах и с различной скоростью переходили от одного к другому. Политические преимущества этой теории также были существенными. Она открывала широкие возможности для практического применения, воплощавшегося в обращенных к правительствам рекомендациях по ускорению движения от одного этапа к другому. Эта теория способствовала также и значительному увеличению (практически повсеместному) государственных ассигнований на социологические исследования, в особенности на те, что были связаны с проблемами «развития». Ограниченность данной теории также была очевидной. Концепция модернизации базировалась на постоянном сравнении не связанных друг с другом эпизодов, как будто каждое

государство действует автономно, не подвергаясь влиянию внешних факторов, а это сомнительное и бездоказательное положение. Она основывалась на всеобщем законе общественного развития ([устанавливающим] так называемые этапы), причем предполагала, что это развитие является прогрессивным; однако ни одно из этих утверждений также не было доказано. Но, исходя из вышеизложенного, теория предсказывала, что государства, находящиеся ныне на более ранних этапах развития, могут, должны и однажды непременно придут к той точке, где они станут копиями тех государств, которые считаются сторонниками данной теории самыми «передовыми». Политическая подоплека [таких построений] была ясна. Если государство, находящееся на более раннем из так называемых этапов развития, хочет по своему благосостоянию и политической системе походить на государство, считающееся более развитым, то лучший путь для него - копирование модели развитого государства, что, в свою очередь, подразумевает следование его советам. В мире, определявшемся риторикой холодной войны, это означало, что к [развивающимся] государствам были обращены, с одной стороны, призывы следовать модели Соединенных Штатов, а с другой - модели Советского Союза. Неприсоединение исключалось самым объективным научным анализом.

Несомненно, эта политическая подоплека яростно отвергалась революционерами 1968 года. Им (как и многим другим) не составляло труда отринуть эпистемологические основы. Это создало атмосферу, восприимчивую к тем формам протеста, которые были воплощены в миро-системном анализе. Крайне важно не забывать об этом изначальном позыве миро-системного анализа, об этом протесте против теории модернизации, если мы хотим понять, в каких направлениях эта концепция развивалась в дальнейшем. Я вижу четыре основных линии в той работе, которую мы все проделали. Ни одну из них нельзя поставить в заслугу лишь тем, кто был непосредственно вовлечен в формирование миро-системного анализа. Но в каждом конкретном случае эти исследователи сыграли важную роль в определении и укреплении той или иной линии. 260

Первой такой линией стала *глобальность*. Она вытекала из знаменитого пересмотра самого исходного объекта анализа, в качестве которого была избрана миро-система, а не общество или государство. Следует отметить, что теория модернизации [всегда] была международной, так как настаивала на последовательном систематическом сравнении всех государств. Но она никогда не была глобальной, ибо не говорила о нарождающихся характеристиках миро-системы и вообще о миро-системе как таковой. Напротив, миро-системный анализ настаивал на рассмотрении всех элементов миро-системы в качестве частей «мира», которые невозможно понять или изучить по отдельности. Характеристики любого общества в некий момент времени T_г рассматривались не

как результат каких-то изначальных условий, существовавших в момент T_0 , а считались результатом процессов, происходивших внутри системы, внутри миро-системы. В этом заключен смысл знаменитой формулы Гюнтера Франка о «развитии недоразвитости» (development of underdevelopment).

Вторая линия, вытекающая из первой, - это *историчность*. Если происходящие процессы обусловлены самой системой, то вся история этой системы как единого целого (а не истории ее отдельных элементов, сопоставляемые одна с другой) служит ключом к пониманию ее современного состояния. Разумеется, это требует определения временных рамок системных процессов, что остается предметом ожесточенных споров. Тем не менее задача состояла в том, чтобы вывести анализ за пределы оценки одних лишь современных данных или даже данных, относящихся к XIX и XX столетиям, и сделать его предметом броделевскую длительность (longue duree).

Третьей линией была *монодисциплинарность*, и она вытекала из второй. Если в миро-системе имеют место постоянно возникающие и развивающиеся процессы, то что должно заставить нас думать, будто их можно разделить на отдельные, не зависимые друг от друга группы с их особенной (и даже противоположной) логикой? Бремя доказательства лежало, несомненно, на тех, кто заявлял о самостоятельности экономической, политической и социокультурной сфер. Мир-

си-

261
 стемный анализ предпочитал настаивать на том, что мы имеем дело с «целостностями».

Именно поэтому четвертой линией стал *холизм*. Он имел историко-эпистемологическую природу и обуславливался всеми предшествующими обстоятельствами. Логика миро-системного анализа заставляла его приверженцев сомневаться в правильности границ, возведенных между отдельными областями обществоведения на протяжении 1850-1945 годов, а то и отрицать их. Границы эти выглядели прозрачными, в связи с чем высказывались мысли о реструктуризации имеющихся знаний. И в самом деле, [следование принципам] холизма ведет к переосмыслению давно сложившегося и в наши дни ставшего священным великого разделения между естественными и гуманитарными науками или даже к отказу от него.

Важно отличать эти четыре направления от тех течений, которые, как могло казаться, использовали подобную технологию, но никоим образом не несли в себе протеста против существовавших в обществоведении стандартов.

Глобализм *не был тождественен* «глобализации». В том смысле, в каком этот термин используется большинством авторов в последние десять лет, «глобализация» обозначает якобы новый, недавно возникший процесс, в котором, как утверждается, государства *более* не являются основными центрами принятия решений, но оказываются, причем именно в последнее время, элементами структуры, где свои правила диктует «всемирный рынок», весьма загадочный, но вполне объективно существующий.

Историчность *не означала* «социальной истории». В том смысле, в каком это понятие используется большинством исследователей на протяжении последней четверти века, «социальная история» отражает потребность ученых, анализирующих данные прошлого (так называемых историков), использовать их для проверки социологических обобщений, строящихся на основе анализа данных, относящихся к нашему времени. Социальная история является в значительной мере антиисторической дисциплиной, иерархически подчиняющей эмпирические исследования (в первую очередь касающиеся прошлого) так называемым теоретическим иссле-

262

дованиям. Социальная история совместима с глобализацией, но не с глобальностью.

Монодисциплинарность *не есть* «мультидисциплинарность». Мультидисциплинарность признавала легитимность разделенности обществоведения, но призывала ученых, работающих в различных областях, изучать и использовать работы друг друга. Она отражала уверенность в том, что далеко не всегда «у семи нянек дитя без глазу». Этот подход противостоял исследованию целостностей, утверждая, что крайне сложно классифицировать данные таким образом, чтобы на их основе можно было сделать четкие и проверяемые выводы, и тем самым поддерживал возможность использования расплывчатых и непроверяемых аргументов.

И наконец, холизм *не был* версией «общей образованности». На ней запечатлелись основные элементы современного деления знания на три сферы: естественные науки, науки о человеке и (находящееся между ними) обществоведение. Общая образованность делала всех ученых (да и всех образованных людей) восприимчивыми к положениям, лежащим в основе каждой из этих

самостоятельных сфер. Холизм же задается вопросом, действительно ли они представляют собой различные виды знания и следует ли их рассматривать в качестве таковых. Данный спор имеет непосредственное отношение к принципиальной проблеме соотношения потребности в истине и потребности в благе.

Говоря не только о том, чем были эти основные линии миро-системного анализа, но и о том, чем они не были, я хотел бы избежать опасностей, скрывающихся в успехе. Именно мощь, а не слабость наших усилий объясняет то, что сегодня применяемая нами терминология начинает использоваться в иных, даже противоположных целях. Это может вызвать серьезную неразбериху в научном сообществе и, что даже хуже, неразбериху в наших собственных рядах, подрывающую нашу способность достигать поставленных целей.

В названии доклада использована фраза «взлет и грядущее падение миро-системного анализа». Ведь до сих пор говорилось только о взлете. В чем я вижу [неизбежность] падения? Упадок любого движения - а миро-системный анализ 263

выступает именно движением в рамках современного обществоведения - обуславливается его противоречиями, а также постепенным исчерпанием его значимости и полезности. Мы еще не приблизились к такому состоянию, но с очевидностью движемся к закату, или, если позволите мне так выразиться, к точке бифуркации. Каковы же противоречия миро-системного анализа? Во-первых, миро-системный анализ определенно не является теорией и даже способом теоретизирования, это лишь точка зрения и критика других точек зрения. Эта критика обладает значительной мощью, и лично я считаю, что она разрушительна для многих положений современного обществоведения. Любая критика деструктивна; к тому она и предназначена. Она разрушает, но сама по себе ничего не создает. Выше я назвал это воссозданием основы. Однако когда место для фундамента расчищено, остается поле для деятельности; появляется не новая конструкция, а лишь возможность ее возведения.

Старые теории никогда не умирают и обычно не исчезают бесследно. Они сначала притворяются погибшими, а затем мутируют. Таким образом, задача критики прежних теорий может всегда казаться актуальной. Но существует опасность, что эта задача поглотит нас настолько, что мы в ней потеряемся и откажемся принимать на себя необходимый риск движения вперед. По мере того как наше стремление идти вперед слабеет, мы становимся все более ненужными и бесполезными. И тогда мутировавшие теории возвращаются - более сильные, чем когда бы то ни было. Предпринятая в 90-е годы попытка возродить теорию модернизации служит тому примером, пусть и не слишком показательным. Если позволительно продолжить медицинские аналогии, то проблема, с которой столкнулся сегодня миросистемный анализ, сходна с проблемой злоупотребления антибиотиками. Решение ее заключается в переходе от медикаментозной терапии к профилактической медицине.

Критика сопряжена и с другой проблемой, особенно заметной, когда она уже успела потерять свою изначальную энергию. Нетрудно создать впечатление, что мы учли уроки критики. Я уже отмечал, как легко понятия и термины начинают 264

использоваться в целях, отличных от имеющихся в виду и способных впоследствии извратить саму суть наших действий. К такой ситуации применима формула «врач, исцелись сам». Но я хотел бы пойти дальше банальной констатации значения самокритики. Я наблюдаю тенденцию к игнорированию нашей изначально критичной позиции, проявляющуюся всякий раз, когда мы восхваляем подражающих нам, и полагаю, что эта тенденция угрожает как нашей критической задаче, так и мнимым целям реконструкции. В конце пути мы рискуем оказаться в ситуации, уже знакомой множеству интеллектуальных движений, когда их названия теряют какой-либо смысл. Третья проблема заключается в том, что мы незаметно перешли сначала от критики методов анализа ситуации, складывающейся на периферии миро-хозяйственной системы, к критике способов изложения истории современного нам мира, затем - к критике теорий, призванных объяснить современную миро-систему, и далее - к критике методологии, используемой в общественных науках, и даже к критике принципов организации научных институтов. Мы шли вслед за своей критикой и за нашими ответами тем, кто, в свою очередь, критиковал нашу работу. Мы словно постоянно открывали одни двери, чтобы обнаружить за ними другие. Видимо, проблема была глубже, чем мы могли себе представить.

Возможно, она коренится в самой парадигме мышления, свойственной капиталистическому миро-хозяйству. Именно так считают те, кого называют постмодернистами. Мне близки многие их

критические позиции (к большинству из которых мы, однако, пришли раньше и сформулировали их более четко). Однако в целом я не считаю таковые ни достаточно «пост»-модернистскими, ни достаточно серьезно реконструирующими [основы методологии]. Их сторонники, и в этом можно быть уверенными, не сделают за нас нашу работу.

Статус движения, существующего в рамках общественных наук, всегда давал определенные преимущества. Он позволяет нам объединять силы, разяснять свою критику и поддерживать друг друга в окружении, которое порой может становиться даже враждебным. В целом я положительно оцениваю наши действия. С одной стороны, мы позволили сосущество-

вать различным взглядам и потому не превратились в секту. С другой - мы не формулировали нашу программу так расплывчато, чтобы она лишилась своей критической сути (а это неминуемо случилось бы, если бы мы приняли неоднократно звучавшие предложения переименовать наше движение в «социологию развития», «политэкономия», «глобальную социологию» и тем самым смешались бы с ними).

Тем не менее статус движения обладает и определенными недостатками. Меня возмущает изложение всего в нескольких строках наших взглядов, нередко присутствующее в книгах, написанных теми, кто наверняка не прочел практически ничего из наших работ. Не в меньшей мере я возмущен и той легкостью, с которой полученные нами данные присваиваются (причем безосновательно) не только без всякого упоминания их авторства, но и, что более важно, без учета каких бы то ни было особенностей методологии, применяемой для их получения. В определенной степени это неизбежно, поскольку движения склонны обращаться к самим себе, и в какой-то момент это начинает радикально ограничивать их воздействие.

Существует, конечно, и другой путь, который, если ему последовать, может преодолеть ограничения, присущие интеллектуальному движению. Он предполагает прорыв к самому сердцу общественных наук, причем не в качестве движения, а в качестве [источника] общепризнанных истин. Как этого добиться? Конечно, мы или некоторые из нас могли бы заняться написанием учебников обществоведения для первокурсников, но это больше похоже на ШУТОЧНЫЙ, чем на реальный ответ. Реальная же возможность заключается в том, что ученым, занимающимся миро-системным анализом, следует обратиться, причем срочно, к ряду наиболее фундаментальных вопросов, которые, на мой взгляд, можно успешно решить, лишь отказавшись от обществоведческих теорий и представлений о структурах знания, пришедших к нам из XIX века, и прочно усвоив уроки миро-системного анализа.

Позвольте мне перечислить лишь некоторые из этих фундаментальных вопросов: • Какова природа той особой области знания, которую мы можем называть обществоведением, если она вообще су-

ществует? Как мы определяем ее характеристики и ее социальную роль? В частности, каким образом, если это в принципе возможно, следует проводить разграничение между этой областью и гуманитарными науками, с одной стороны, и естественными - с другой?

- Каковы, теоретически, взаимоотношения между общественными науками и общественными движениями? между общественными науками и структурами власти?
- Существуют ли различные типы общественных систем (я предпочел бы говорить об «исторических системах»), и если да, то какие основные черты отличают их друг от друга?
- Имеют ли эти исторические системы естественную историю или нет? Если да, то можно ли назвать эту историю эволюционной?
- Каким образом в социуме организуется пространственно-временной континуум и в какой степени это определяет представления, лежащие в основе социологических исследований?
- Какие процессы опосредуют переход от одной исторической системы к другой? Насколько адекватно описывают их такие метафоры, как самоорганизация, креативность, возникновение порядка из хаоса?
- Как теоретически соотносятся поиск истины и стремление к справедливому обществу?
- Как мы представляем себе ныне существующую историческую систему (миро-систему)? И что можно сказать о ее возвышении, ее структуре и ее грядущем упадке исходя из ответов на вопросы, поставленные выше?

Как можно заметить, список завершается вопросом, с которого мы начинали. Людей, которые причисляют себя к сообществу исследователей, вовлеченных в миро-системный анализ, занимают, разумеется, и многие другие проблемы. В то же время и отмеченные выше вопросы или хотя бы

некоторые из них волновали и волнуют многих других ученых. Задача, однако, заключается в признании этих вопросов взаимосвязанными и в понимании того, что ответы на них могут быть получены лишь при рассмотрении их в комплексе, то есть в рамках миро-системного подхода. 267 Не менее важно и то, что ученые, исповедующие миро-системный подход, сегодня в целом лучше большинства обществоведов подготовлены к решению этих вопросов в их неразрывном единстве. С того момента, как мы приступим к этим вопросам в свойственной нам манере, мы перестанем быть одним из течений в общественных науках, но сможем заявить о намерении сформулировать их основные задачи. Не является ли это преувеличением? Вовсе нет. Исследуя миро-систему, мы приходим к пониманию, что интеллектуальная деятельность определяется не только интеллектуальными или волевыми качествами, но социальной своевременностью - в миро-системном смысле. И именно потому, что историческая система, в которой мы живем, переживает завершающий кризис, появляется возможность решить поставленные вопросы таким образом, который открыл бы путь к созданию рационально организованных общественных конструкций. Этой возможности не имели ученые XIX века, сколь бы проникательны и компетентны они ни были. Именно в силу того, что легитимность основополагающих для капиталистического миро-хозяйства иерархий - классовых, расовых или тендерных - активно оспаривается (как политически, так и интеллектуально), сегодня впервые в истории открывается возможность создания более всеобъемлющей и относительно более объективной обществоведческой науки. Именно специфика нашего времени позволяет, опять-таки впервые, встать на плечи титанов XIX века и увидеть новые перспективы, если, конечно, нам хватит энергии и воли. Именно сегодня мы, не рискуя потерять лица, можем последовать призыву Дантона «Смелость, еще раз смелость, смелость всегда». Это наше время, и настал момент, когда обществоведы должны продемонстрировать, могут ли они создать науку, способную адекватно описать ту всемирную социальную трансформацию, которую нам всем придется пережить.

Глава четырнадцатая. Социальная теория и стремление к справедливому обществу

«Макро...» и «микро...» составляют антиномию, давно и широко используемую как в общественных, так и в естественных науках. В последние двадцать лет в обществоведении стало активно использоваться и противопоставление глобального локальному. Третья пара противоположностей - структура и элемент - также получила ныне признание и даже заняла центральное место в инструментарии культурологических исследований. Эти три антиномии не идентичны, но в сознании многих ученых они тесно переплетаются, а в дискуссиях [не требующих терминологической четкости,] зачастую используются как синонимы. «Макро...» и «микро...» представляются противоположностями, несущими на себе оттенок предпочтения. Одни предпочитают изучать макроявления, другие - микроявления. Но с противопоставлением глобального локальному и в еще большей степени структуры элементам возникают настоящие страсти. Многим кажется, что подлинный анализ возможен лишь в рамках либо только глобальных, либо только локальных явлений. Напряженность, окружающая антиномию структуры и элементов, несравненно сильнее. В этих терминах нередко звучат громкие призывы к морали; многие обращаются к этим понятиям, видя в них единственную надежную основу для научной работы.

* Приветственный доклад по случаю Дня обществоведения-1996 в Нидерландском межуниверситетском институте координации социальных исследований, Амстердам, 11 апреля 1996 года. 269

Почему этот спор оказывается столь напряженным? Понять это нетрудно. Перед нами стоит дилемма, занимающая мыслителей на протяжении нескольких тысячелетий. За этими антиномиями кроется спор о предопределенности и свободе воли, в который было вовлечено бесчисленное множество богословов, философов и ученых. Именно поэтому данный вопрос не является второстепенным, и именно поэтому за много тысячелетий по его существу так и не было достигнуто подлинного консенсуса. Я полагаю, что наше неумение выйти за пределы этого противостояния оказывается основным препятствием для выработки формы знаний, адекватной миру нового века и нового тысячелетия, миру, который, как я ожидаю, будет серьезно отличаться от нынешнего. Поэтому я предлагаю взглянуть на то, как протекал этот извечный спор в рамках нашего сообщества, в пределах той совсем еще новой конструкции, которая именуется обществоведением. Я намерен доказать, что та форма, в которой прежде ставилась проблема,

сделала ее неразрешимой. И я намерен доказать, что сегодня наступил тот момент, когда мы можем преодолеть социальные построения, созданные в XIX веке, и открыть путь к конструктивному, и коллективному, разрешению этого вопроса.

Позвольте начать с рассмотрения проблемы предопределенности и свободы воли в богословских дискуссиях. Кажется, что представление о всеобщей предопределенности коренится непосредственно в идее всемогущества Бога - центральной идее всех монотеистических религий. С одной стороны, если Бог всемогущ, то все предопределено Его волей и допускать иное было бы богохульством. С другой стороны, все церкви стремятся прививать [своей пастве] нравственное поведение. Идея же предопределенности дает грешнику возможность легкого оправдания. Неужели Господь предопределил, что мы будем грешить? И если это так, должны ли мы противиться Его воле? Теологи испокон веков бились над этой головоломкой. Одно из решений состояло в утверждении, что Бог предоставил нам свободу воли, открыв возможность самим решать, грешить или не грешить. Но это слишком легкое решение. Зачем Господь счел это нужным или возможным? 270

Это делало бы нас похожими на игрушки в Его руках. Помимо того, такой ответ не обеспечивает логической безупречности аргументов. Если Бог дал нам свободу воли, можем ли мы пользоваться ею по своему разумению? Если да, то всемогущ ли Господь? А если нет, то можем ли мы действительно сказать, что обладаем свободой воли?

Мне хотелось бы еще раз выразить свое давнее восхищение той ловкостью, с которой Кальвин попытался решить эту проблему. Кальвинистская аргументация очень проста. Наши судьбы на деле не предопределены, причем даже не потому, что Бог не может предопределить всего на свете, но потому, что, утверждая всеобщую предопределенность, люди сами ограничивают Его способность предопределять. Кальвин, по существу, говорит о том, что если *мы* не можем изменить себя, то Бог может, иначе Он не всемогущ. Однако, как вам хорошо известно, кальвинисты не были теми людьми, кто попустительствовал безнравственному поведению. Как же тогда убедить людей следовать нормам, которые, по мнению кальвинистов, необходимо соблюдать? Вспомним, Кальвин был одним из представителей Реформации, стремившихся опровергнуть католическую доктрину, согласно которой благие деяния вознаграждаются свыше (которой в конечном счете оправдывалась продажа индульгенций). Для выхода из ловушки кальвинисты обратились к идее отрицательной благодати, которая на самом деле является хорошо знакомым и весьма современным научным изобретением - методом доказательства от противного. Если мы не можем знать, кто будет спасен, ибо это ограничивало бы Бога в Его решениях, мы можем знать, кто *не* будет спасен. Утверждалось, что Бог сулит проклятие за греховное поведение, определяемое по церковным канонам. Погрязшие во грехе заведомо *не* будут спасены, ибо Бог не позволил бы спасаемым действовать таким образом.

Кальвинистское решение оказалось настолько хитроумным, что впоследствии было перенято революционными движениями XIX и XX веков. В этом случае аргументы выглядели следующим образом. Мы не можем знать наверняка, кто Действует на благо революции, но знаем, кто *не* действует ей 271

на благо - это те, чьи дела греховны, то есть противоречат решениям революционной организации. Каждый член организации - потенциальный грешник, даже если в прошлом его поведение было достойным. Поэтому члены организации находятся под непрерывным контролем революционных властей, наблюдающих, не пошли ли они против воли Бога, то есть против воли революционной организации.

Но не только революционеры восприняли кальвинистское решение. По существу, его приняла и современная наука. Мы никогда не можем определенно знать, достиг ли ученый истины, но мы можем знать, когда он грешит против нее. Это происходит, если он не следует нормам соответствующих научных методов, определяемым сообществом ученых, и тем самым отходит от «рационального», если он опускается до политики, журналистики, поэзии или иных недостойных занятий.

Кальвинистское решение хитроумно, но имеет один огромный недостаток. Оно наделяет излишними полномочиями определенных людей - представляют ли они церковные власти, революционное руководство или научную элиту, - которым позволено судить о том, выказывают ли другие признаки отрицательной благодати. Но кто будет следить за следящими? Можно ли преодолеть этот недостаток? В качестве классического средства выступает утверждение

достоинства человеческой свободы. Джон Мильтон, последовательный кальвинист, превозносил это средство в своей восхитительной поэме, названной им «Потерянный рай». Многие читатели отмечали, что, несмотря на представленную в поэме теодицею, реальным героем у Мильтона является Люцифер и что бунт Люцифера олицетворяет попытку человечества вырваться за пределы границ, устанавливаемых волей невидимого и непознаваемого Господа. Но подобное лекарство не менее опасно, чем сама болезнь. Неужели мы станем восхвалять Люцифера? В конце концов, в чьих интересах он действует? Не восхвалять Цезаря пришел я, а хоронить. Возьмем эпоху Просвещения. Каким был ее лейтмотив? Мне кажется, что ее дух был антиклерикальным: утвержда-

лось, что люди обладают способностью к рациональным суждениям и потому сами, благодаря собственным усилиям, могут докопаться до истины и добиться необходимых им благ. Просвещение проповедовало решительное отрицание права церковных властей выступать судьями в вопросах истины и блага. Но кто должен был занять их место? На мой взгляд, следовало бы признать, что философы. Кант страстно желал отнять у богословов право определения истины и блага. В первом случае это было довольно легко, но во втором - гораздо сложнее. Полагая, что нравственный закон нельзя доказать так, как доказываются законы физики, он мог бы оставить проблему блага теологам. Но нет, он настаивал на том, что философы и на этот вопрос могут дать ответ, заключавшийся для Канта в понятии категорического императива.

Однако в процессе секуляризации знания философы безудержно предавались сомнению, что впоследствии обернулось против них самих. Естествоиспытатели* восприняли философов не более чем как переодетых богословов. Они стали оспаривать право философов на определение истины так же, как прежде оспаривались права богословов, недвусмысленно заявляя, что ученые - это *не* философы. Что - вопрошали эти ученые - может легитимизировать спекуляции и логические уловки философов, что позволяет считать их суждения истинными? Естествоиспытатели заявляли, что они, напротив, предлагают четкий метод определения достоверности - эмпирические исследования, ведущие к созданию проверяемых и проверенных гипотез, к тем временным универсалиям, которые называют научными теоремами. Но естествоиспытатели, более мудрые или менее отчаянные, чем Кант, стремились не иметь дела с нравственными законами. Тем самым они претендовали лишь на половину того поля, которое философы унаследовали от богословов. Они занялись лишь определением истины. Что же до блага, естество-

* Здесь и далее естествоиспытателями мы называем ученых (scientists), противопоставляемых в английском тексте обществоведам (представителям social sciences), так как в дословном переводе такое противопоставление могло бы смутить русскоязычных читателей. - Прим. ред. 273

испытатели сочли, что оно не интересует их, так как не может быть объектом познания в том смысле, какой наука вкладывает в это понятие.

Претензии ученых на признание науки единственным средством определения истины получили широкую культурную поддержку, и в конце XVIII - начале XIX века они превосходили всех других в качестве творцов знания. Однако как раз в этот момент случилось небольшое происшествие, называемое Французской революцией, главные герои которой заявили, что действуют во имя блага. С тех пор Французская революция превратилась в источник системы убеждений, не менее влиятельной, чем система, возникшая в силу культурного превосходства науки. В результате последние двести лет прошли в попытках воссоединить поиски истины и блага. Обществоведение в том виде, в каком оно сформировалось в XIX веке, унаследовало оба эти направления и в определенном смысле претендовало стать основой, на которой между ними могло быть найдено примирение. Однако следует признать, что обществоведение не достигло здесь больших успехов, ибо вместо воссоединения двух направлений поиска оно само стало раздираться ими.

Сила взаимного отталкивания «двух культур» (как мы их теперь называем) была впечатляющей. Именно оно задало основные темы дискуссий вокруг проблемы познания. Оно определило структуру университетов в том виде, который сложился в ходе их перестройки и укрепления в XIX столетии. Его неизбежностью объясняется накал страстей вокруг антиномий, о которых говорилось выше. Из-за этого отталкивания обществоведению так и не удалось стать в полной мере автономной областью знания и обрести то уважение и ту поддержку в обществе, к которым оно стремилось и которых, как оно считало, заслуживало. Пропась между «двумя культурами» была намеренно создана ньютоновско-картезианской

наукой. В этом противостоянии естествоиспытатели были вполне уверены в себе. Прекрасной иллюстрацией тому служат два высказывания маркиза де Лапласа. Первое - его ответ на вопрос Наполеона о причинах отсутствия Бога в его физической теории: «Сир, я 274 не нахожу никакой нужды в этой гипотезе». Второе выражает его твердую убежденность в безграничности возможностей научного познания:

Нынешнее состояние природы, безусловно, определяется предшествующим, и если предполагать наличие Разума, в данный момент охватывающего все отношения между всем сущим во Вселенной, то следует признать, что Он может определить положение любых тел относительно друг друга, понять их движение и в общих чертах обозначить последствия их взаимодействия по состоянию на любой момент в прошлом или будущем. Торжествующая наука не готова была допускать какие-либо сомнения или делить сцену с кем бы то ни было.

Философия, или, в более широком смысле, то, что в XIX веке стало называться гуманитарными науками, утратила авторитет в обществе и перешла на оборонительные позиции. Будучи не в силах опровергнуть способность естествознания объяснять материальный мир, эти науки вообще перестали затрагивать данную область. Вместо этого они утверждали, что существует особая сфера - сфера человеческого, духовного, нравственного, которая не менее (если не более) важна, чем область естественных наук. Именно поэтому, по крайней мере в рамках английской терминологии, они назвали себя гуманитариями. Их стремлением было исключить принципы естествознания из своей сферы исследований или хотя бы минимизировать их роль. Пока область гуманитариев были лишь метафизика и литература, естествоиспытатели не возражали против своей исключенности, считая, что эти вопросы вообще не относятся к науке. Но когда предметом исследований стало описание и анализ социальной реальности, между ДВУМЯ лагерями исчезло всякое согласие, даже молчаливое. Обе культуры заявили о своих претензиях на эту сферу.

Сообщество профессиональных специалистов в области изучения социальной реальности складывалось медленно и, можно сказать, неуверенно. Самая любопытная, причем с разных точек зрения, ситуация возникла вокруг истории. Из всех наук, называемых сегодня общественными, история имеет самое древнее происхождение. Представления об истории 275 и соответствующая терминология появились задолго до XIX века. Но основой истории как современной научной дисциплины послужила историографическая революция, которую мы ассоциируем с именем Леопольда фон Ранке. И современная версия истории, которую Ранке и его коллеги называли *Geschichte*, а не *Historie*, была исключительно научной в своих основных предпосылках. Ее приверженцы утверждали, что социальная реальность познаваема. Они утверждали, что это знание может быть объективным, то есть существуют правильные и ошибочные суждения о прошлом, и историки обязаны писать историю такой, какой она «была на самом деле», почему они и дали ей имя *Geschichte*. Они утверждали, что исследователи не должны допускать субъективизма в анализе или интерпретации данных. И наконец, они утверждали, что мнения историков должны подкрепляться эмпирическими доказательствами, которые могут быть проверены и подтверждены научным сообществом. Более того, они даже определили тип данных, способных служить приемлемым доказательством (первичные документы в архивах). Всеми этими путями они пытались задать метод истории как «дисциплины» и исключить из нее все «философское», то есть спекулятивное, дедуктивное, мифическое. Я назвал такой подход «историей, ищущей научности»³. Но на практике историки оказались робкими учеными. Они хотели самым строгим образом придерживаться своих данных и свести к минимуму случайные утверждения, непосредственно касающиеся частных эпизодов. Они уклонялись от «обобщений», которые считали либо построением моделей поведения на основе частных примеров, либо утверждением случайных результатов в качестве закономерных, когда две переменных лишь весьма опосредованно связаны во времени и пространстве. Можно быть великодушными и сказать, что их действия обуславливались недостатком собранных в XIX столетии эмпирических данных, на базе которых можно было бы делать надежные индуктивные выводы. В любом случае их преследовал страх, что обобщения могут оказаться антинаучным философствованием. Это привело историков к преклонению перед частным, идиографическим, даже уникальным, а затем они стали боль-276 шей частью избегать применения по отношению к себе термина «общественные науки», хотя на

деле они были «в поисках научности».

В других областях исследователи оказались смелее. Развивавшиеся экономика, социология и политология откровенно рядились в мантию «общественных наук», присваивая методы и почет торжествующего естествознания (что нередко, заметим в скобках, вызывало то презрение, то отчаяние естествоиспытателей). Эти обществоведческие дисциплины считали себя номотетическими, пытаясь открыть универсальные законы и сознательно стараясь организовать себя по образцу физики (насколько это возможно). Они, разумеется, вынуждены были признавать, что качество их данных и убедительность (обоснованность) их «теорем» далеко не достигали того уровня, на котором работали их коллеги-физики, но они вызывающе излучали оптимизм относительно грядущего роста своих научных возможностей.

Я хотел бы подчеркнуть, что этот великий методологический спор (*Methodenstreit*, как его называли) между идиографической историей и номотетическим трио «подлинно» общественных наук был во многом мышшиной возней, так как *обе* стороны в этом споре дисциплин и методологий полностью признавали превосходство науки над философией. В самом деле, естествознание могло бы без всяких усилий завоевать душу обществоведения, не будь естествоиспытатели такими снобами и не отталкивай они гуманитариев с их докучливыми просьбами о признании их полноправными членами научного братства.

Вплоть до 1945 года историческая наука и [упомянутое] номотетическое трио во многом и исчерпывали обществоведение цивилизованного мира, созданное этим цивилизованным миром и описывающее этот цивилизованный мир. Для изучения колонизированного мира, или так называемых примитивных народов, была создана особая обществоведческая Дисциплина, антропология, обладавшая своими особыми методами и традициями. Оставшаяся половина мира, незападные, но достигшие высокого уровня развития цивилизации -такие, как Китай, Индия, арабо-исламский мир - вверялась 277

отдельной группе исследователей, занимавшихся чем-то, что было определено как «востоковедение», дисциплиной, которая настаивала на своем гуманитарном характере, но не желала считаться частью обществоведения. Сегодня очевидно, почему разрыв между обществоведением, изучающим цивилизованный мир, и другим обществоведением, изучающим остальной мир, казался европейским ученым XIX века столь естественным и почему теперь он выглядит таким абсурдным. Я не буду останавливаться на этом вопросе⁴. Мне хотелось бы лишь заметить, что антропологи и востоковеды в силу их принадлежности к общественнонаучной дисциплине, занимающейся исследованием иных народов, варваров - мира, отличного от мира модернисты, - чувствовали себя гораздо комфортнее на идиографической стороне великого методологического спора, поскольку универсалистские положения номотетического обществоведения не оставляли, как могло показаться, места для их выводов.

В XIX столетии сторонники идиографического и номо-тетического подходов активно конкурировали между собой, доказывая, что именно их работы наиболее объективны; эта конкуренция имела странные последствия для антиномии «микро...» и «макро...». Если взглянуть на самые ранние работы наиболее выдающихся представителей этих зарождавшихся дисциплин, можно заметить, что они касались крайне широких тем, таких, как всеобщая история или стадии развития цивилизации. Названия книг также тяготели к тому, чтобы быть всеобъемлющими. Это прекрасно отражало тенденцию, которой в тот век было подвержено современное ему мышление, - тенденцию трактовать все и вся эволюционным образом. По охвату предмета исследования те книги отражали «макроподход» и описывали всю эволюцию человечества. Они редко были монографическими. Но этот «макроподход» к исследованиям вряд ли был способен к продолжительному преобладанию.

В интересах создания корпоративных структур представители различных обществоведческих дисциплин стремились взять под контроль обучение и профессиональный рост тех, кто мог пополнить их ряды. Они настойчиво требовали [от 278

кандидатов] как оригинальности, так и объективности, и это обращало их против макронауки. Оригинальность требовала, чтобы каждый из сменяющих друг друга ученых высказал что-то новое, а этого легче всего было достичь через дробление предмета исследования на более мелкие по охвату во времени, пространстве и с точки зрения других значимых факторов. Этот процесс сегментации открыл бесконечные возможности не повторять работу предшественников. Уточнение границ сфер исследования считалось также предпосылкой более аккуратного подбора

и анализа данных. Возникла [своеобразная] «ментальность микроскопа», толкавшая ученых к использованию все более мощных микроскопов. Ментальность эта вполне соответствовала духу редукционизма.

Подобная «микроскопизация» обществоведения расширила пропасть между идиографическими и номотетическими науками. Оба лагеря одинаково стремились к объективности, но шли к ней диаметрально противоположными путями, так как по-разному определяли риски субъективности. Приверженцы идиографического направления имели два принципиальных опасения. Субъективность, считали они, порождалась, с одной стороны, неадекватной оценкой контекста событий, а с другой - вмешательством своекорыстных интересов. В той мере, в какой ученый опирался на первичные документы, он был обязан правильно их прочесть, не впадая в анахронизм и не рассматривая их сквозь призму иной культуры. Это требовало глубокого знания контекста: эмпирических деталей, существовавших в то время границ, словоупотребления (во многих случаях даже особенностей почерка) и содержащихся в документах культурных аллюзий. Поэтому ученые стремились стать герменевтиками, то есть, проникнувшись ментальностью далеких от них людей и групп, попытаться увидеть мир таким, каким его видели они. Это требовало длительного погружения в изучаемые язык и культуру. Историкам, разумеется, наиболее простым казалось изучение собственного народа и своей культуры, в которую они уже были погружены. От антропологов, которые по определению не могли пойти по этому пути, для понимания той или иной чуждой группы требовались такие большие усилия, что 279 наиболее разумным казалось посвятить всю свою жизнь изучению какого-то одного народа. Востоковеды же вынуждены были на протяжении всей своей жизни совершенствовать свои знания труднейших языков, если только они желали достичь должного уровня в их филологических изысканиях. Таким образом, в каждой сфере существовали объективные обстоятельства, заставлявшие ученых сужать поле своих исследований, достигая такого уровня специализации, на котором во всем мире работали считанные единицы, обладавшие соответствующей квалификацией.

Проблема «невовлеченности» остро стояла перед представителями идиографического направления. Историки решали ее, настаивая прежде всего на том, что нельзя писать историю настоящего, и заканчивали описание «прошлого» в точке, достаточно удаленной от сегодняшнего момента. Их аргумент заключался в том, что сегодня над нами довлеют те или иные политические предпочтения, тогда как по мере удаления в прошлое мы можем чувствовать себя менее ангажированными. Эта аргументация укреплялась еще и тем, что историки ставили себя в зависимость от доступа к архивам, а власти, наполняющие архивы материалами, по понятным причинам не хотели и не хотят открывать документы, касающиеся текущих событий. Востоковеды обеспечивали себе нейтральность, избегая реального общения с изучаемыми цивилизациями. Поскольку их дисциплина оставалась прежде всего филологической, они занимались преимущественно чтением текстов, а эту задачу они могли выполнять и в основном выполняли в тиши своих кабинетов. Что же касается антропологов, то их основное опасение заключалось в том, что некоторые их коллеги могут проникнуться культурой местных народов и окажутся неспособными играть роль [бесстрастных] научных наблюдателей. Контроль обеспечивался прежде всего тем, что антропологам не позволялось слишком долго работать «на местах». Во всех этих случаях механизм контроля над предвзятостью основывался на отдаленности. Достоверность, в свою очередь, обеспечивалась способностью исследователей к интерпретации, прививавшейся им в ходе тщательной подготовки. 280

«Номотетическое трио» экономики, политологии и социологии перевернуло эти методы с ног на голову. Средством обеспечения непредвзятости здесь считалась не отдаленность, а близость, причем близость особого рода. Объективными, по определению, могли быть лишь воспроизводимые данные, то есть точные данные, не являющиеся результатом «интерпретаций». Наиболее же «воспроизводимыми» оказываются количественные данные. Но сведения о прошлом или об отдаленных частях света лишены инфраструктурной основы, способной гарантировать необходимое их качество, или «твердость». Напротив, наилучшими являются самые свежие данные, собранные в странах, где для этого имеется наилучшая инфраструктура. Старые или относящиеся к далеким странам сведения неизбежно являются неполными, приблизительными или даже мифическими. Они могут быть достаточными для журналистики или путевых заметок, но не для науки. Более того, даже недавно полученные данные быстро устаревают, поскольку с

течением времени качество их сбора постоянно улучшается, и это особенно касается сопоставимости данных, полученных из двух или более источников. Итак, номотетическое трио «отступило» в настоящее, непосредственное и сиюминутное.

Более того, в той мере, в какой необходимо было оперировать количественными данными, представлялось разумным сократить число переменных и применять индикаторы, по которым можно было собрать надежные, твердые данные. Таким образом, стремясь к надежности, обществоведы постоянно сужали временные и пространственные рамки анализа и проверяли лишь тщательно отобранные положения. Это вызывало вопросы о ценности результатов, однако данная проблема решалась эпистемологическими посылами. Если признавать существование универсальных законов человеческого поведения, то место проведения исследований не имеет значения. Его выбор определяется качеством доступных данных, а не особой значимостью самого места.

Из этого я делаю вывод о том, что масштабные методологические дебаты, сопутствовавшие становлению обществоведения, были мнимыми спорами, отвлекавшими нас от понимания того, в какой степени разрыв между философией и нау-

дениях и включать в свои уравнения лишь те элементы, которые делают их более ясными.) Почему истина имеет комплексный характер? Потому что такова действительность. Действительность же сложна по одной существенной причине, и эта причина - стрела времени. Все оказывает влияние на все, и со временем это все неумолимо расширяется. В определенном смысле ничто не исчезает, хотя многое увядает или затуманивается. Вселенная развивается - живет своей жизнью - в ее упорядоченном беспорядке или в беспорядочном порядке. Конечно, есть бесчисленное множество временно упорядоченных систем, самопроизвольно возникающих, скрепляющих воедино отдельные элементы, создающих иллюзорные связи. Но ничто не совершенно, ибо совершенный порядок - это лишь смерть, и даже долговечный порядок тоже никогда не существовал. Совершенный порядок - это то, что мы называем Богом, но он, по определению, находится за пределами знакомого нам мира. Итак, атомы и галактики, флора и фауна идут своими путями, воплощают, если угодно, собственную эволюцию, до тех пор пока их внутренние структурные противоречия окончательно не выведут их из того временного равновесия, в котором они пребывали. В своей эволюции эти структуры многократно доходят до пределов, когда равновесие не может быть восстановлено, до точек бифуркации, за которыми обнаруживаются новые пути и устанавливаются новые порядки, но мы никогда не можем знать заранее, какими они окажутся.

Задаваемая этой моделью картина Вселенной изначально отрицает детерминизм, так как существует слишком много случайных комбинаций, слишком много частных решений, чтобы можно было предугадать направление развития. Но из этого не следует, что процессы во Вселенной могут пойти в любом направлении. Мир есть продукт прошлого, задающего параметры для новых путей. Разумеется, можно высказывать суждения о траекториях движения и делать это тщательно, то есть на основе использования количественных данных. Однако если мы зайдем слишком далеко в обеспечении точности данных, мы получим, как скажут математики, неустойчивые результаты. 284

Если физики и математики говорят сегодня, что в их науках истина комплексна, неопределенна и зависит от стрелы времени, что значит это для обществоведов? Ведь ясно, что из всех существующих во Вселенной систем человеческие общества являются самыми сложными, характеризуются самыми короткими периодами стабильного равновесия и наибольшим числом значимых внешних переменных - эти системы наиболее сложны для изучения. Мы не в состоянии сделать больше, чем естествоиспытатели. Мы можем заняться поиском двух видов интерпретаций. Можно искать то, что заслуживает названия *формальных* моделей интерпретации, признающих, например, все человеческие общества историческими системами, - не только в том смысле, что они движутся по исторически определенной траектории, но и в том, что они по вполне конкретным причинам рождаются в определенное время и в определенном месте, действуют согласно определенным наборам правил, в то или иное время и в том или ином месте умирают или разрушаются, будучи не в состоянии примирить содержащиеся в них противоречия. Релевантность таких формальных интерпретаций, конечно, ограничена. В определенный момент данная конкретная формальная модель перестанет действовать, хотя всегда может казаться, что сам этот момент еще весьма далек.

Но мы можем искать и то, что можно назвать *сущностными* моделями интерпретации, например описание законов конкретной исторической общественной системы. Так, обозначая современную миро-систему как капиталистическое миро-хозяйство, я указываю на наличие конкретной сущностной модели. Она, разумеется, может оспариваться, и широко оспаривается. Более того, подобно матрешке, в рамках сущностных моделей заложены другие сущностные модели, и даже если все мы согласимся с тем, что наш мир - это капиталистическое миро-хозяйство, мы тем не менее можем спорить о том, прошло ли оно в своей истории отдельные стадии, является ли для нее нормальным неэквивалентный обмен, а также о бесконечном множестве иных аспектов его функционирования. **285**

Нельзя не подчеркнуть, что теория неравновесных систем ни в коей мере не отвергает научного анализа, а только лишь ньютоновский детерминизм. Но, переворачивая некоторые предпосылки с ног на голову, и в первую очередь отказываясь от идеи обратимости в пользу представлений о направленности времени, естественные науки делают гигантский шаг в направлении традиционного поля обществоведческих исследований - к объяснению действительности как конструируемой реальности.

Обращаясь к культурологическим исследованиям, начнем с того же вопроса. Почему их называют культурологическими? Насколько мне известно, ученые, которых столь занимает лингвистический анализ, никогда не поднимали этого вопроса. Первое, что я хочу отметить, это то, что культурологические исследования касаются не столько культуры, сколько ее продуктов. Таково следствие их глубокой укорененности в гуманитарных науках и, наоборот, объяснение этой укорененности. Дело в том, что в системе «двух культур» гуманитарные науки изучали прежде всего продукты культуры.

Гуманитарным наукам приписывался также интерес к вопросам блага, но они всячески избегали этого, так как вопросы блага казались крайне политизированными, весьма чуждыми культуре, преходящими и непрочными, не связанными с вечными преемственностями. Эволюция Уордсворта от певца Французской революции до апологета поэзии как таковой иллюстрирует характерный как для художников, так и для культурологов порыв к более твердой почве «искусства для искусства», эстетическое движение внутрь себя. Они воодушевлялись строками Китса из его «Оды греческой урне»: «Красота - это истина, истина - это красота, и это все, что вам известно на Земле, и все, что надо знать».

Однако всегда находились те, кто утверждал, что продукты культуры суть результаты культуры и что это можно объяснить в понятиях структуры той или иной системы. Действительно, культурологические исследования, как мы знаем их сегодня, возникли в Англии в 1950-е годы и были инициированы энтузиастами, разрабатывавшими свою давнюю тему. Они, позволительно напомнить, занимались культурой рабо-**286**

чих. Но затем культурология пережила то, что называют лингвистической или герменевтической трансформацией, хотя я считаю это трансформацией 1968 года. Революционеры 1968 года, боровшиеся с либеральным центром, выдвинули тезис не только о том, что «старые левые» суть часть этого либерального центра, но и о том, что сам либеральный центр не менее (если не более) опасен, чем подлинные консерваторы. С точки зрения культурологов, это означало, что противниками оказались не только те, кто изучает продукты культуры согласно традиционным, консервативным эстетическим нормам (так называемым канонам), но и те (как «старые левые»), кто анализирует их исходя из политэкономических соображений. Последовал всепоглощающий взрыв. Но о чем это говорит? На мой взгляд, прежде всего об отсутствии абсолютной эстетики, о том, что нужно объяснять, каким образом в то или иное время производились конкретные продукты культуры, почему они производились в данной форме, и лишь затем ставить вопрос о том, как они воспринимались и *воспринимаются* людьми и по каким причинам. Мы с очевидностью оказываемся вовлеченными в очень сложную деятельность, где точки равновесия (каноны) в лучшем случае преходящи, где не существует определенного будущего, поскольку число случайных факторов слишком велико. В ходе своего развития культурология вышла из поля, традиционного для гуманитарных наук, и переместилась в сферу обществоведения, рассматривающего действительность как сконструированную реальность. Именно по этой причине многие обществоведы столь восприимчивы к культурологическим исследованиям. Шаг в сторону обществоведения, сделанный естествоиспытателями (исследование неравновесных

систем) и гуманитариями (культурологические исследования), был воспринят их коллегами далеко не однозначно. Сопротивление было очень сильным, но, как мне кажется, не вполне адресным. Ни сторонники теории неравновесных систем, ни сторонники культурологии не заявляли о переходе в лагерь обществоведов. Да и последние (по крайней мере большая их часть) не оценивали ситуацию подобным образом. 287

Но пришло время назвать вещи своими именами. Идет процесс преодоления разделенности «двух культур» посредством проникновения обществоведческих принципов в любое знание, через признание того, что реальность является сконструированной и что целью как научной, так и философской деятельности оказывается поиск ее полезных и убедительных интерпретаций, интерпретаций, которые неизбежно будут временными, но тем не менее верными или, по крайней мере, более верными для своего времени, чем альтернативные интерпретации. Но если реальность сконструирована, то конструкторы, а не ученые выступают главными действующими лицами в этом реальном мире. Роль ученых состоит не в том, чтобы конструировать реальность, а в том, чтобы выяснять, как она сконструирована, сравнивая социальные конструкции друг с другом. В определенном смысле все это игра с бесконечно отражающими друг друга зеркалами. Мы стремимся открыть реальность, на основе которой мы сконструировали реальность. А когда мы ее находим, то, в свою очередь, пытаемся понять, как была построена эта глубинная социальная реальность. В этом блуждании среди зеркал могут возникать более или менее правильные научные знания. Наиболее правильные из них являются с общественной точки зрения самыми полезными, так как помогают создавать существенно более рациональную реальность. Именно поэтому поиски истины и блага неразрывно связаны. Все мы участвуем и в том, и в другом, причем в одно и то же время.

В своей недавно вышедшей книге Илья Пригожий очень просто излагает две вещи. «Возможное богаче реального. Природа дарит нам образ творчества, непредсказуемого, новизны» и «Наука - это диалог с природой»⁶. На основе этих тезисов я и хотел бы сформулировать заключительные ремарки к своему выступлению.

Возможное богаче реального. Кто лучше обществоведов может знать это? Почему же мы так боимся обсуждать возможное, анализировать и исследовать его? Нам следует поместить не утопию, но утопистику в центр обществоведческих исследований. Утопистика - это оценка возможных утопий, их ог-

раниченности и препятствий, мешающих их воплощению. Это анализ реальных исторических альтернатив в настоящем. Это примирение поиска истины с поиском блага.

Утопистика воплощает в себе постоянную ответственность обществоведов. Потребность в ней ощущается особенно остро, когда набор альтернатив максимален. Когда возникает такая ситуация? Именно тогда, когда историческая социальная система, в которой мы живем, наиболее удалена от точки равновесия, когда колебания особенно велики, а точка бифуркации опасно близка, когда [самое] незначительное воздействие вызывает серьезные последствия. Как раз таково время, в котором мы живем и будем жить в ближайшие 25-50 лет .

Если мы хотим серьезно отнестись к утопистике, нам следует прекратить дебаты вокруг иллюзорных проблем, а центральными среди них являются вопросы о соотношении детерминизма и свободы воли, структуры и элемента, глобального и локального, «макро...» и «микро...». Сегодня, как мне кажется, вполне понятно, что эти антиномии не являются вопросом корректности или даже предпочтений, но обусловлены историческим контекстом и глубиной перспективы. Как на очень длинном, так и на очень коротком отрезке времени вещи, рассматриваемые излишне глубоко или слишком поверхностно, кажутся предопределенными, но в зоне, удаленной от этих крайностей, они, похоже, подчиняются свободной воле. Мы в любой момент можем поменять угол зрения, чтобы получить желаемые подтверждения как предопределенности, так и свободы воли.

Но что стоит за утверждением предопределенности? В теологическом смысле я могу это понять. Это означает, что мы верим в существование всемогущего, предопределяющего все и вся Бога. Даже на этом пути мы вскоре сталкиваемся с проблемами, как было показано выше. Но по крайней мере, мы имеем дело, как сказал бы Аристотель, с порождающей причиной. Однако если я скажу, что возможность снижения уровня безработицы в Европе в течение ближайшего десятилетия предопределена, кто или что ее предопределяет? И насколько далеко в прошлом лежат причины этой предопреде-

ленности? И даже если вы убедите меня в том, что это имеет определенное аналитическое значение (что будет нелегко), заключена ли в этом какая-то практическая польза? Однако следует ли из этого, что речь идет исключительно о свободе воли и что если голландские, немецкие или французские политики, предприниматели, профсоюзы или кто-то еще предпримут определенные шаги, то можно быть уверенным, что уровень безработицы действительно снизится? Ведь даже если эти люди или даже я сам знали бы, что именно нужно делать, то что заставит нас сделать это, если мы не предпринимали этого прежде? И если бы мы смогли ответить на этот вопрос, не означало бы это, что наша свобода воли, в свою очередь, чем-то предопределена? Если да, то чем? Эта цепь вопросов и ответов бесконечна и бессмысленна. Начав со свободы воли, мы заканчиваем детерминизмом, а начав с детерминизма, приходим к свободе воли.

Можно ли подойти ко всему этому иначе? Давайте условимся, что мы пытаемся найти смысл в неравновесности, найти ей полезные и убедительные интерпретации. Мы можем начать с простой задачи выявления видимых закономерностей. Мы можем также время от времени оценивать относительную значимость ограничений, на которые наталкиваются индивидуальные и коллективные действия. Эту задачу можно назвать выявлением структур длительности (*longue duree*). Я называю ее простой, но, разумеется, она отнюдь не легка. Она проста, скорее всего, в том смысле, что она не слишком многое объясняет, а также потому, что предваряет постановку более сложных проблем. Если мы не имеем ясных представлений об этих структурах, мы не можем анализировать нечто более сложное, как, например, так называемые микроистории (*microhistories**), тексты или избирательные предпочтения.

* Противоположность микро- и макроистории как двух методологических подходов наиболее подробно и глубоко проанализирована Р.Коллинзом в предисловии к его книге «Макроистория» (см.: Collins, R. *MacroHistory. Essays in Sociobgy of the Long Run*. Stanford (Ca.): Stanford University Press, 1999, pp. 1-18). - Прим. ред. 290

Исследуя структуры, мы не принижаем значения ни одного из элементов, существующих в их рамках. Воистину, лишь после того, как мы освоили структуры, предложили убедительные, релевантные и действенные на данный момент «модели повествования», можно выносить суждения, касающиеся [входящих в структуру] элементов-организаций. В противном случае эти так называемые организации будут слепы и, следовательно, подвластны манипуляциям - если не прямым, то косвенным. Мы рассматриваем фигуры в Платоновой пещере и считаем, что можем повлиять на них.

Это приводит меня ко второму афоризму Пригожина: «Наука - это диалог с природой». В диалоге всегда участвуют двое. Кто представляет каждую из сторон в данном случае? Кто представляет науку: [конкретный] ученый, научное сообщество, отдельные исследовательские организации или любой человек в той мере, в какой он является мыслящим существом? Что есть природа: живой организм, пантеистское божество или всемогущий Господь? Не думаю, что мы можем с точностью определить участников диалога. Их поиск является частью самого диалога. Но всегда надо иметь в виду, что существует возможность узнать больше и сделать лучше. Это всего лишь возможность, но она достижима. И началом ее реализации может стать прекращение спора о псевдопроблемах прошлого, целью которых было увести нас в сторону от более плодотворных путей. Наука еще только зарождается. Всякое знание есть знание социальное. И обществоведение претендует на то, чтобы быть центральной точкой саморефлексии знания, не противопоставляя себя философии или естественным наукам, но будучи в единстве с ними.

В той же мере, в какой я считаю, что ближайшие 25-50 лет окажутся ужасными для общественных отношений, будучи временем распада существующей исторической социальной системы и перехода к неясной пока альтернативе, я считаю также, что эти 25-50 лет станут совершенно исключительными для познания. Системный кризис будет способствовать социальной рефлексии. Мне кажется реальным окончательное преодоление раскола между наукой и философией, при-291 чем обществоведение неизбежно окажется основой для воссоединенного мира знания. Мы не можем знать, к чему все это приведет. И я могу лишь согласиться с Уордсвортом, который писал о Французской революции в своих «Прелюдиях»: «Жить в эти часы рассвета было наслаждением. Но быть молодым было поистине райским блаженством!»

Глава пятнадцатая. Наследие социологии и будущее обществоведения*

Мне хотелось бы поделиться здесь своими мыслями о предмете социального знания, его наследии, проблемах и перспективах. Я попытаюсь доказать, что наследие социологии заключается в том, что я называю «культурой социологии»; этот термин требует некоторых пояснений. Далее я попытаюсь показать, что на протяжении последних десятилетий эта культура подвергается серьезным нападкам, вплоть до призывов к ее развенчанию. В завершение, принимая во внимание как убежденность сторонников культуры социологии, так и разумность адресуемой ей критики, я постараюсь доказать, что наиболее вероятна и плодотворна перспектива создания новой открытой культуры, но уже не социологии, а обществоведения, которая (и это самое важное) органично встроится в эпистемологически единый мир знания.

Мы систематизируем знания тремя различными способами: подразделяя их на дисциплины на основе научного подхода, на корпоративные структуры с точки зрения организационных принципов и сообщества ученых-единомышленников - исходя из культурных предпочтений. Научную дисциплину можно считать логической конструкцией, своего рода эвристическим приспособлением. Это один из способов заявить претензии на определенную область исследования с присущими ей темами, методами и границами. Такая конструк-

* Обращение президента [Международной социологической ассоциации] к делегатам 14-го Всемирного социологического конгресса, Монреаль, 26 июля 1998 года. 293

ция является дисциплиной в том смысле, что она стремится «дисциплинировать» разум. Она определяет не только предмет и способ исследования, но и его пределы. Называя некий предмет научной дисциплиной, мы обозначаем не только то, чем он является, но и то, чем он не является. Если мы говорим о социологии как о научной дисциплине, мы подразумеваем помимо прочего, что она не является ни экономикой, ни историей, ни антропологией. Считается, что она отличается от этих и других дисциплин специфической областью исследования, особым набором методов и своеобразным подходом к социальному знанию.

Социология как научная дисциплина возникла в конце XIX столетия и заняла свое место в ряду дисциплин, которые мы обозначаем термином «общественные науки». Становление социологии как дисциплины продолжалось с 1880 по 1945 год. В этот период каждый заметный социолог стремился написать книгу, предметом которой было определение социологии как дисциплины. Вероятно, последней знаковой работой, написанной в этой традиции, стала книга Талкотта Парсонса «О структуре социального действия» (1937)¹, явившая важный вклад в наследие социологии; ниже я вернусь к ее значению. Остается фактом, что в течение первой половины XX века целые разделы обществоведения выделились в самостоятельные научные дисциплины, которые были признаны научным сообществом. Каждая из них определяла себя посредством противопоставления смежным дисциплинам. Как следствие, любая статья или книга с легкостью могла быть отнесена к той или иной научной дисциплине. То был период, когда утверждения: «Это - не социология, а экономическая история (или политология)» - были наполнены реальным смыслом.

Я не собираюсь рассматривать здесь логику установленных в то время границ [научных дисциплин]. Они отражали три аспекта разделенности самих объектов исследования, которые в то время казались ученым очевидными, уверенно провозглашались и защищались как имеющие огромное значение. Это разграничение прошлого и настоящего, отделявшее идиографическую историю от номотетического трио экономики, политологии и социологии. Это разграничение 294 цивилизованного [общества] и других стран, или [всего] европейского и неевропейского, отделявшее четыре вышеперечисленные дисциплины (которые изучали преимущественно панъевропейский мир) от антропологии и востоковедения. И наконец, существовало разграничение - относившееся, как считалось, только к современному цивилизованному миру - рынка, государства и гражданского общества, которые были сферами исследования экономики, политологии и социологии, соответственно². Возникающая в этом контексте теоретическая проблема заключается в том, что все произошедшие после 1945 года миро-системные изменения - возвышение Соединенных Штатов и обретение ими роли мирового гегемона, политическое возрождение незападного мира и экспансия миро-хозяйства, как и сопровождавшая ее экспансия мировой университетской системы - способствовали разрушению логики этих трех разграничений³, вследствие чего к 1970-м годам началось реальное и активное размывание границ

[между научными дисциплинами]. Оно оказалось настолько сильным, что многие (и я в том числе) сочли невозможным защищать как теоретическую значимость, так и саму полезность устаревших названий и разграничений. В результате многие самостоятельные обществоведческие дисциплины утратили свой статус, поскольку не соответствовали больше ясно различаемым сферам исследования, которые обладали бы своими особыми методами и, следовательно, четкими и значимыми границами.

Однако сами названия от этого отнюдь не исчезли. Совсем наоборот! И все потому, что задолго до этого различные научные дисциплины были институционализированы как корпоративные организации, со своими университетскими факультетами, образовательными программами, научными степенями, журналами, национальными и международными ассоциациями и даже отведенными для них рубриками в библиотечных каталогах. Институционализация дисциплины - это способ сохранения и воспроизводства сложившейся практики. Она представляет собой создание реального сообщества людей, имеющего выраженные границы, принимающего форму корпоративной структуры, которая предъясвляет всту-295

пающим в нее свои требования и открывает перед ними общепризнанные пути карьерного роста. Такие организации стремятся дисциплинировать не научную мысль, а практику. Они создают границы намного более устойчивые, чем порождаемые научными дисциплинами как интеллектуальными конструкциями, и могут пережить теоретические обоснования их корпоративной значимости. По сути, это и происходит. Рассмотрение социологии как научной организации разительно отличается от ее рассмотрения как научной дисциплины. Если, например, Мишель Фуко в своей «Археологии познания» стремился проанализировать процесс определения, возникновения и переструктурирования научных дисциплин, то «Номо Academicus» Пьера Бурдьё - это исследование того, как в пределах институциональной структуры знания возникают, укореняются и преобразуются академические организации⁴.

Сейчас я не хочу идти ни по одному из этих путей. Как я уже отмечал, я не верю, что социология по-прежнему является обособленной дисциплиной (что, впрочем, относится и к другим общественным наукам). Кроме того, я полагаю, что в организационном плане все они остаются очень мощными. И еще я считаю, что все мы попали в весьма аномальную ситуацию, увековечивающую в чем-то мифическое прошлое, то, что имеет сомнительную ценность. Однако с большим удовольствием я обратился бы к социологии как культуре, то есть как к сообществу интеллектуалов, разделяющих определенные ценности. Ибо я верю, что наши перспективы связаны с дискуссиями именно в этой сфере. И я настаиваю, что культура социологии молода и энергична, но в то же время хрупка, что она может процветать только в том случае, если [постоянно] трансформируется.

Наследие

Как же нам трактовать культуру социологии? Начну с двух комментариев. Во-первых, под «культурой» мы понимаем, как правило, набор общепринятых положений и практик, которые, разумеется, разделяются не всеми членами сообщества, 296

а большинством, и не все время, а большую часть времени. Они разделяются открыто, но, что еще более важно, разделяются подсознательно, так что эти положения редко становятся предметом дискуссий. Набор таких положений должен обязательно быть довольно простым, даже банальным. Чем сложнее и тоньше послышки, чем в большей степени они подлежат изучению, тем меньше вероятность того, что они будут разделяться большинством и что на их основе будет сформировано всемирное сообщество ученых. Я полагаю, что именно такой набор простых положений, принимаемых большинством социологов, существует, но его вовсе не обязательно принимают все те, кто называет себя историками или экономистами.

Во-вторых, я думаю, что эти общепринятые положения открываются для нас - открываются, не определяются - теми, кого мы считаем основоположниками нашей науки. Сегодня для социологов всего мира это Дюркгейм, Маркс и Вебер. Первое, что стоит отметить в связи с этим списком [имен] : если мы спросим историков, экономистов, антропологов или географов, кого они считают основоположниками своих наук, то ответы, без сомнения, будут разными. В нашем списке нет Жюль Мишле или Эдварда Гиббона, Адама Смита или Джона Мейнарда Кейнса, Джона Стюарта Милля или Макиавелли, Канта или Гегеля, Бронислава Малиновского или Франца Боаса. Итак, возникает вопрос: откуда взялся наш список? В конце концов, если Дюркгейм

действительно называл себя социологом, то Вебер говорил так о себе только в самый последний период своей жизни, и то весьма двусмысленно⁵, а Маркс, разумеется, не говорил так вообще. Более того, если я встречал социологов, называющих себя дюркгеймианцами, или марксистами, или вебериианцами, то никогда не видел таких, кто называл бы себя дюркгеймианцами-марксистами-вебериианцами. Так в каком же смысле этих трех [мыслителей] можно назвать основоположниками нашей науки? Между тем данный тезис повторяется из книги в книгу, и особенно из учебника в учебник⁶.

Так было не всегда. Вычленение этой группы имен в значительной мере обязано Талкотту Парсонсу и его основопо-

лагающему труду по культуре социологии «О структуре социального действия». Конечно, Парсонс вел к тому, чтобы мы канонизировали трио Дюркгейма, Вебера и Вильфредо Парето. Почему-то ему не удалось убедить остальных в значении Парето, труды которого часто остаются без внимания. Маркса добавили к этому списку вопреки всем усилиям Парсонса, старавшегося не допустить этого. Тем не менее я отношу создание данного списка прежде всего на счет Парсонса. А это значит, что список возник совсем недавно, то есть в основном в послевоенное время. В 1937 году, когда писал Парсонс, Дюркгейм уже не являлся ключевой фигурой французского обществоведения, как то было двадцатью годами ранее и как станет вновь после 1945 года⁷. Не имел он [большого] авторитета и в социологических сообществах других стран. В этой связи интересно взглянуть на предисловие, написанное Джорджем Кэтлингом к первому английскому изданию «Правил социологического метода». Писавший в 1938 году для американской аудитории, Кэтлинг доказывал значение [работ] Дюркгейма, ставя его в один ряд с Чарльзом Бутом, Флекснером и В.И. Томасом, и утверждал, что, хотя идеи Дюркгейма предвосхищались Вундтом, Эспинасом, Теннисом и Зиммелем, все же он сыграл важнейшую роль. Сегодня мы говорим о Дюркгейме несколько иначе. В 1937 году Вебера не изучали в немецких университетах, и, скажем справедливости ради, даже в 1932 году он не был той ведущей фигурой в немецкой социологии, какой представляется сегодня. К тому времени его труды еще не были переведены на английский или французский. Что касается Маркса, то едва ли его даже упоминали в наиболее уважаемых научных кругах.

Р.У. Коннелл показал в своем недавнем исследовании то, что я давно подозревал, - в довоенных учебниках эти три имени могли упоминаться, но только наряду со многими другими. Коннелл называет это «скорее энциклопедическим, чем каноническим видением новой науки ее представителями». Культуру определяет именно канон, и расцвет этого канона приходится на период между 1945 и 1970 годами - совершенно особый период, характеризующийся господством амери-

канской прикладной социологии, когда структурный функционализм был главенствующим подходом в социологическом сообществе.

Первым в списке должен стоять Дюркгейм, наиболее «самосознающий социолог» из всех троих, основатель журнала *L'Annee Sociologique*, столетие которого мы отмечаем в 1998 году вместе с пятидесятой годовщиной образования Международной социологической ассоциации. Дюркгейм ответил на первый и наиболее очевидный из вопросов, который должен задавать себе каждый, кто изучает социальную реальность эмпирическим путем. Как получается, что индивиды придерживаются того, а не иного набора ценностей? И почему люди, обладающие «сходным социальным положением», более склонны разделять одинаковые ценности в отличие от людей с различным положением? Ответ нам так хорошо известен, что вопрос уже не кажется вопросом. Однако давайте еще раз рассмотрим ответ, данный Дюркгеймом. В предисловии ко второму изданию «Правил социологического метода», написанном в 1901 году, он вновь очень четко формулирует свои основные аргументы. Предисловие задумывалось как ответ на критику первого издания, и в нем автор стремился разъяснить то, о чем говорил ранее, поскольку почувствовал, что был неправильно понят. Он выдвигает три утверждения. Во-первых, «с социальными фактами следует обращаться как с вещами». Он настаивает на том, что это утверждение должно лежать «в самой основе нашего метода». Он доказывает, что не сводит таким образом социальную реальность к некоему физическому субстрату, а просто констатирует, что социальный мир обладает «степенью реальности, по крайней мере равной той, что мы признаем» за физическим миром. «Вещь [продолжает он] является противоположностью идеи так же, как познаваемое извне является противоположностью познаваемому изнутри». Второе утверждение заключается в том,

что «социальные феномены [являются] внешними по отношению к индивидам»¹¹. И наконец, Дюркгейм настаивает на том, что социальное ограничение не есть то же самое, что ограничение физическое, так как оно не внутренне присуще, а налагаемо извне¹². Далее Дюркгейм 299 отмечает, что своим существованием социальный факт обязан взаимодействию индивидов, ведущему к выработке коллективом «убеждений и моделей поведения; поэтому социологию можно определить как науку об институтах, их возникновении и функционировании»¹³. Таким образом, мы говорим именно о конструируемой обществом социальной реальности, и именно эту социально конструируемую реальность должны изучать социологи, [создавая] науку об институтах. Дюркгейм даже превосхищает нашу теперешнюю озабоченность проблемой организации, делая именно в этом месте сноску, в которой говорит о границах «дозволенных перемен»¹⁴.

Совокупно эти три утверждения составляют суть дюркгеймова «основополагающего принципа объективной реальности социальных фактов. В конечном счете... все основано на этом принципе, и все к нему возвращается»¹⁵.

Я не предлагаю здесь обсуждать мои собственные взгляды на формулировки Дюркгейма. Однако хотел бы отметить, что его стремление выделить специфическую нишу для социологии, сферу «социальных фактов», как он ее называет, сферу, отличную как от сферы биологии, так и от сферы психологии, на самом деле является основной посылкой культуры социологии. Если же вы скажете мне, что среди нас есть люди, называющие себя социальными психологами, или символическими интеракционистами, или методологическими индивидуалистами, или феноменологами, или даже постмодернистами, то я вам отвечу, что все они решили тем не менее вести свои научные изыскания под вывеской социологии, а не психологии, биологии или философии. Этому должно быть какое-то интеллектуальное обоснование. Я считаю, что им является молчаливое принятие всеми этими специалистами дюркгеймова принципа реальности социальных фактов, хотя они предпочитают оперировать этим принципом способами, отличными от предлагавшихся Дюркгеймом.

В предисловии к первому изданию Дюркгейм говорит о том, как бы он предпочел называться. Правильно было бы, писал он, называть его не «материалистом» или «идеалистом», а «рационалистом». Хотя этот термин был, в свою очередь, предметом многовековых философских споров и раз-300

ногласий, именно им пользовались почти все социологи со времен Дюркгейма до 1970-х годов, как минимум¹⁷. Поэтому я хотел бы возвести тезис Дюркгейма в ранг аксиомы №1 культуры социологии: *существуют социальные группы, имеющие объяснимые, рациональные структуры*. Формулировка [этого тезиса] настолько проста, что, я полагаю, лишь немногие социологи ставили под сомнение его обоснованность.

Проблема, связанная с тем, что я называю аксиомой №1, заключается не в существовании этих групп, а в том, что им недостает внутреннего единства. И именно здесь мы обращаемся к Марксу. Он стремится ответить на вопрос, почему общественные группы, которые, предположительно, являются едиными (в конечном счете само понятие группы подразумевает единство), в действительности подвержены внутренней борьбе. Его ответ всем нам известен. Это предложение, которым открывается первый раздел «Манифеста коммунистической партии»: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов»¹⁸. Конечно, Маркс не был столь наивен, чтобы предполагать, будто внешние проявления конфликта, объяснение его причин следует обязательно принимать за чистую монету или считать в каком-то смысле правильными - правильными с точки зрения аналитика¹⁹. Другие труды Маркса представляют собой детальную разработку историографии классовой борьбы, анализ механизмов функционирования капиталистической системы и политические выводы, которые надлежало сделать, исходя из данной схемы анализа. Все вместе это составляет собственно марксизм - доктрина¹ и аналитическую точку зрения, вызывающую, разумеется, немало споров как внутри социологического сообщества, так и вне его.

Я не предлагаю обсуждать ни достоинства марксизма, ни аргументы его оппонентов. Я всего лишь хочу задать вопрос: почему, несмотря на «холодную войну» и политические предпочтения большинства социологов мира, попытка Парсонса исключить марксизм из общей картины потерпела такой сокрушительный провал? Мне кажется, что Маркс говорил о вещах, со всей очевидностью имеющих столь важное значение для общественной жизни - в частности, о

социальном конфликте, - что их просто нельзя было обойти вниманием.

301

У Маркса было особое объяснение социального конфликта, основанное на том факте, что отношение людей к средствам производства различно - некоторые обладают ими, а другие - нет, некоторые контролируют их, а другие - нет. Одно время было очень модным заявлять, что в этом Маркс ошибался, что классовая борьба - это не единственный и даже не главный источник социального конфликта. На место классов предлагались различные заменители: статусные группы, группы политических пристрастий, пол, раса. Этот список можно продолжить. Повторю: я не буду обсуждать здесь обоснованность этих альтернатив классу и ограничусь замечанием, что при каждой замене «класса» [на какую-либо другую группу] центральная роль отводится борьбе, меняется всего лишь список ее участников. Смог ли кто-нибудь опровергнуть Маркса, сказав, что все это нонсенс, поскольку социальных конфликтов не существует?

Возьмем для примера изучение общественного мнения, занимающее одно из центральных мест в деятельности социологов. Что мы при этом делаем? Обычно мы составляем так называемую репрезентативную выборку и задаем респондентам серию вопросов на какую-либо тему. Как правило, мы предполагаем, что получим некий спектр ответов на эти вопросы, хотя можем заранее и не представлять себе четко этого спектра. Если бы мы думали, что все ответы будут идентичны, то вряд ли исследование имело бы смысл. Что мы делаем, получив ответы на эти вопросы? Мы сопоставляем ответы с набором базовых переменных, таких, как социально-экономический статус, род деятельности, пол, возраст, образование респондентов и так далее. Почему мы это делаем? Потому что предполагаем, что часто (и даже обычно) каждая из переменных соответствует континууму людей, объединенных по определенному критерию, и что рабочие и бизнесмены, мужчины и женщины, молодые и старые и т. д., скорее всего, ответят на эти вопросы по-разному. Если бы мы не предполагали социальных различий (а акцент чаще всего делается на различиях в социально-экономическом статусе), то и не стали бы этим заниматься. Нетрудно сделать шаг от различий к конфликту, и, в общем, те, кто пытается отрицать, что различия

ведут к конфликту, подозреваются в пренебрежении объективной реальностью по чисто идеологическим соображениям.

Итак, мы пришли к следующему. Все мы в той или иной степени марксисты, из чего я вывожу аксиому №2 культуры социологии: *все общественные группы содержат в себе подгруппы, которые выстраиваются в иерархическом порядке и конфликтуют друг с другом.* Является ли это упрощением марксизма? Конечно, является, притом серьезным упрощением. Но является ли это также и посылкой большинства социологов? Конечно, да.

Можем ли мы на этом остановиться? Нет, не можем. Признав, что социальные группы являются реальностью и что мы можем объяснить способ их действия (аксиома №1), а также признав, что в них заложен конфликтный потенциал (аксиома №2), мы сталкиваемся с очевидным вопросом: почему все общества не взрываются, не раскалываются на части или не разрушаются как-либо иначе? Кажется ясным, что, хотя такие взрывы случаются, большая часть времени проходит спокойно. Все-таки, несмотря на [действие] аксиомы №2, в общественной жизни наблюдается какое-то подобие «порядка». Здесь вмешивается Вебер. Ибо у Вебера есть объяснение порядка вопреки наличию конфликта.

Мы привыкли считать Вебера антиподом Маркса, делающим акцент не на экономических, а на культурных предпосылках, не на накоплении, а на бюрократизации как главной движущей силе современного мира. Но ключевым понятием для Вебера, понятием, ограничивающим воздействие [идей] Маркса, является легитимность. Что говорит Вебер о легитимности? Вебера интересует основа власти. Почему, спрашивает он, подданные подчиняются властвующим? На то существуют разнообразные очевидные причины, такие, как обычай и расчет на материальные преимущества. Но Вебер говорит, что они недостаточны для объяснения обыденности подчинения. Он добавляет к ним третий, важнейший, фактор - «веру в легитимность»²⁰. Здесь Вебер очерчивает три чистых типа власти или легитимного господства: рационально-правовая легитимность, традиционная легитимность и харизматическая легитимность. Но поскольку для Вебера традиционная власть является структурой прошлого, а не современности, а хариз-

ма, сколь важную роль она ни играла бы в исторической реальности и в веберовском анализе, есть в основном переходное явление, в конце концов всегда становящееся обыденным, у нас остается «рационально-правовая легитимность» как «специфически современный тип управления»²¹.

В картине, предлагаемой Вебером, власть осуществляется кадрами, бюрократией, являющейся «незаинтересованной» в том смысле, что у нее нет *parti parts* по отношению к подданным или по отношению к государству. Утверждается, что бюрократия «беспристрастна», то есть принимает свои решения согласно закону, вот почему данный тип власти Вебер называет рационально-правовым. Правда, Вебер признает, что на практике ситуация несколько сложнее²². Тем не менее, упростив [концепцию] Вебера, мы можем получить разумное объяснение того факта, что государства находятся обычно в состоянии порядка, то есть граждане в основном признают власть и в той или иной степени подчиняются ей. Это мы назовем аксиомой №3 и сформулируем ее таким образом: *сдерживание конфликтов внутри групп или государств обеспечивается в значительной мере благодаря тому, что нижестоящие подгруппы признают легитимность властной структуры группы [в целом], поскольку это позволяет данной группе выжить, и в долгосрочном плане составляющие ее подгруппы видят преимущество [именно] в выживании группы.*

Я попытался доказать, что культура социологии, которой мы все принадлежим, но пик которой пришелся на период с 1945 по 1970 год, основана на трех простых положениях, утверждающих реальность социальных фактов, неизбежность социальных конфликтов и существование механизмов легитимации для сдерживания конфликтов, - положениях, вместе составляющих минимальную основу для изучения социальной реальности. Я попытался обозначить, каким образом каждое из этих трех положений выводится из теорий трех основоположников нашей науки (Дюркгейма, Маркса и Вебера), и утверждаю, что именно поэтому мы повторяем как заклинание [тезис], что эти трое являются представителями «классической социологии». Еще раз повторю: этот набор аксиом не лишен наивности и вовсе не является адекватным спосо-**304** бом постижения социальной реальности. Для многих из нас он стал исходным пунктом, принимаемым большей частью без обсуждения. Именно это я называю «культурой социологии». По моему мнению, это и есть наше основное наследие. Но вновь повторяю, речь идет о наследии, представляющем собой совсем недавно созданную конструкцию, пусть мощную, но одновременно хрупкую.

Вызовы

Теперь я представлю шесть вызовов, которые, по моему мнению, являют собой очень серьезные вопросы о наборе аксиом, который я называю «культурой социологии». Я буду их представлять в том порядке, в каком они начали оказывать влияние на мир социологии и более широко - на общественные науки, что подчас бывало гораздо позже появления этих вопросов. Вначале я хочу подчеркнуть, что речь идет о вызовах, а не об истинах. Вызовы оказываются серьезными в том случае, если они обоснованно заставляют ученых пересматривать исходные послышки. Осознав серьезность вызовов, мы можем получить стимул к переформулированию посылок, с тем чтобы сделать их менее уязвимыми перед вызовами. Или может оказаться так, что мы будем вынуждены отбросить эти послышки или, как минимум, в корне их пересмотреть. Таким образом, вызов - это часть процесса, его начало, но не конец.

Первый вызов, о котором пойдет речь, связан для меня с именем Зигмунда Фрейда. Это может показаться неожиданным. С одной стороны, Фрейд, в общем, был современником Дюркгейма и Вебера, а не мыслителем значительно более позднего времени. С другой - Фрейд на самом деле вполне укоренен в культуре социологии. Мы давно используем фрейдовскую топологию психики - ид, эго и супер-эго - для нахождения нужных переменных, объясняющих, как дюркгеймовы социальные факты усваиваются индивидуальным сознанием. Возможно, не все мы используем точную фрейдовскую терминологию, но остается основная его идея. В определенном смысле психология Фрейда является частью наших коллективных исходных положений. **305**

Однако сейчас меня интересует не психология, а социология Фрейда. В данном контексте мы, скорее всего, стали бы рассматривать несколько таких действительно важных работ, как «Недовольство культурой». Но мы склонны игнорировать социологический подтекст его диагностических и терапевтических методов. Я хотел бы обсудить то, что считаю скрытым вызовом Фрейда, направленным против самого понятия рациональности. Дюркгейм называл себя рационалистом. Вебер в своем анализе власти опирался на рационально-легальную легитимацию. А Маркс посвятил свой труд тому, что он называл научным (то есть рациональным) социализмом. Все основоположники нашей науки были детьми Просвещения, даже когда, как в случае с

Вебером, они задавали мрачные вопросы о том, куда мы держим путь. (Но Первая мировая война вызвала самые мрачные раздумья у большинства европейских интеллектуалов.) Фрейд вовсе не был чужд этой традиции. Но о чем же он, собственно, говорил? Он сказал миру, и особенно миру медицины, что поведение, которое кажется нам странным и иррациональным, на самом деле вполне объяснимо, если только мы понимаем, что разум индивида работает в значительной степени на уровне, который Фрейд назвал подсознательным. Подсознательное, говорил Фрейд, по определению не может увидеть или услышать даже сам индивид, но существуют косвенные пути понимания того, что происходит в подсознании. Его первый крупный труд «Толкование сновидений» был именно на эту тему. Сны, утверждал Фрейд, показывают нам то, что это вытесняет в подсознание²⁵. Но сны - это не единственное средство для анализа, имеющееся в нашем распоряжении. Весь психоанализ, так называемое «лечение разговором», был разработан как серия практик, которые могут помочь и врачу, и пациенту осознать процессы, происходящие в подсознании²⁶. Этот метод, по сути, напрямую проистекает из убеждений просветителей. Он отражает точку зрения, согласно которой повышенное самосознание может привести к более эффективному принятию решений, то есть к более рациональному поведению. Но путь к этому более рациональному поведению лежит через признание того, что так назы-

ваемое невротическое поведение фактически является «рациональным», если мы поняли, что индивид хочет сказать таким поведением и, таким образом, его причины. С позиций аналитика поведение может быть далеким от оптимального, но тем не менее не быть иррациональным. История психоаналитической практики началась с того, что Фрейд и его первые последователи занимались только (или преимущественно) взрослыми невротиками. Но, опираясь на логику организационного расширения, более поздние аналитики были готовы работать с детьми и даже младенцами, еще не умеющими говорить. Другие же стали искать способы работы с психическими больными, то есть людьми, предположительно неспособными участвовать в строго рациональной дискуссии. Да и сам Фрейд сказал кое-что интересное об острых невротических и психических больных. Говоря о том, что он называл «метапсихологией подавления», Фрейд определил множественные формы, которые принимает подавление, различные невроты замещения. Например, в случае истерии беспокойства сначала может наблюдаться отступление от импульса, а затем бегство к заместительной идее, замещение. Но тогда человек может почувствовать необходимость «воспрепятствовать... развитию тревоги, растущей благодаря замене». Далее Фрейд отмечает, что «с ростом инстинктивного возбуждения защитный вал вокруг заместительной идеи должен выстраиваться на все большем отдалении от нее». В этот момент фобия становится еще более сложной, вновь и вновь побуждая к попыткам бегства²⁸. То, что мы здесь описываем, представляет собой интересный социальный процесс. Нечто вызвало тревогу. Человек пытается избежать негативных эмоций и последствий при помощи некоего средства подавления. Оно действительно ослабляет беспокойство, но за это приходится платить. Фрейд предполагает, что цена слишком высока (или дело в том, что она может быть слишком высока?). Психоаналитик предположительно пытается сделать следующее: помочь человеку взглянуть в лицо тому, что вызывает тревогу, и таким образом облегчить боль с меньшими потерями. Итак, человек пытается облегчить боль рациональным способом. А психоанали-

тик пытается рационально привести пациента к осознанию того, что могут существовать лучшие (более рациональные?) способы облегчения боли.

Прав ли аналитик? Действительно ли новый способ облегчения боли является более рациональным? Фрейд заканчивает эту дискуссию о бессознательном, обращаясь к еще более трудным ситуациям. Он призывает нас посмотреть, «насколько более радикально и глубоко задействуется эта попытка к бегству в случае нарцисстических невротозов»²⁹. Но даже здесь, в случае, который рассматривается Фрейдом как острая патология, речь у него идет о том же самом поиске, рациональном поиске ослабления боли.

Фрейд прекрасно сознает ограничения, налагаемые ролью аналитика. В книге «Я и Оно» он ясно предостерегает [психоаналитика] от искушения играть роль «пророка, спасителя и искупителя». Подобную сдержанность Фрейд демонстрирует и в книге «Недовольство культурой». Он затрагивает вопрос о невозможности выполнения нашей основной задачи - достижения счастья. Он говорит: «Не существует золотого правила, применимого ко всем: каждый должен сам выяснять, каким особым способом он может спастись». Он добавляет, что выбор, доведенный до крайности, влечет к опасным ситуациям и срывам в невроз, заключая, что «тот, кто видит крушение своих

стремлений к счастью в более позднем возрасте, находит утешение в наслаждении хронической интоксикацией либо предпринимает отчаянную попытку бунта - психоз»³¹.

В этих отрывках из Фрейда меня потрясают несколько вещей. Патологии, которые он наблюдает у пациента, описываются им как уход от опасности. Еще раз подчеркну, насколько рациональным является бегство от опасности. В самом деле, даже психоз, кажущийся самым иррациональным [путем] из всех, описывается как «отчаянная попытка бунта», как будто у человека была малейшая альтернатива. В отчаянии он прибегает к психозу. И наконец, [психо] аналитик не может сделать более, чем описано выше, [причем] не только потому, что не является и не может являться пророком, но потому, что «каждый должен сам выяснять, каким особым способом он может спастись». 308

Мы не на конгрессе психоаналитиков. Я поднял этот вопрос не для того, чтобы обсудить функционирование психики или способы психиатрического лечения. Я привел эти отрывки из Фрейда потому, что они проливают свет на наши исходные посылки о рациональности. Рациональность проявляется только на фоне иррациональности. Фрейд вторгся в область того, что в обществе традиционно считалось иррациональным, невротическим поведением. Его подход был нацелен на то, чтобы раскрыть рациональность, лежащую в основе поведения, кажущегося иррациональным. Далее он занялся еще более иррациональными вещами - психотическим - и также нашел объяснение, которое можно назвать рациональным, - вновь побег от опасности. Конечно, психоанализ основан на положении о том, что существуют более и менее подходящие способы реагирования на опасность. Воспользовавшись экономической метафорой Фрейда, можно сказать, что различные реакции индивида соответствуют различным ценам.

Однако, продолжив искать рациональные объяснения явлениям, кажущимся иррациональными, Фрейд повел нас по пути, логическим завершением которого является признание того, что, с точки зрения действующего лица, ничто не иррационально. И кто тот сторонний наблюдатель, чтобы утверждать, что он прав, а пациент ошибается? Фрейд с осторожностью относится к тому, сколь далеко могут заходить аналитики, навязывая свои установки пациенту. «Каждый должен сам выяснять, каким особым способом он может спастись». Но если с чьей бы то ни было точки зрения ничто не иррационально, откуда восхваление [эпохи] модернити, цивилизации, рациональности? Это такой серьезный вызов, что мы до сих пор, я бы сказал, даже не подступились к ответу на него. Единственный последовательный вывод, который мы можем из этого сделать, заключается в том, что такой вещи, как формальная рациональность, не существует вовсе или, скорее, для определения, что является формально рациональным, необходимо в мельчайших деталях разобрать всю сложность и специфику намеченной цели, а в этом случае все зависит от точки зрения и соотношения интересов действующего лица. В этом смысле постмодернизм в своих самых радикальных 309

солипсистских формах развивает идею Фрейда до конца, ни разу, заметим, на него не ссылаясь - возможно, потому, что постмодернистам не известно о культурных основах их теорий. Но постмодернисты, конечно, воспринимают фрейдистский вызов не как вызов, а как вечную универсальную истину, величайшую из заповедей; при таком внутреннем противоречии эта крайняя позиция саморазрушительна.

Перед лицом вызова, брошенного Фрейдом, некоторые превратились в солипсистов, другие же вернулись к старому и стали молиться на рациональность. Мы не можем позволить себе ни того, ни другого. Вызов Фрейда, обращенный к самой возможности оперировать понятием формальной рациональности, заставляет нас более серьезно отнестись к веберовскому представлению о сущностной рациональности и проанализировать его глубже, чем даже сам Вебер готов был это сделать. Фрейд оспорил полезность, а на деле, возможно, и развенчал представления о *формальной* рациональности. Может ли существовать такая вещь, как абстрактная формальная рациональность? Формальная рациональность - всегда чья-то формальная рациональность. Как же может существовать универсальная формальная рациональность? Обычно формальной рациональностью считается использование наиболее эффективных средств для достижения цели. Но цель не всегда легко определить. Для этого нужно гиртцевское «тщательное описание». А раз так, намекает Фрейд, все мы действуем в рамках формальной рациональности. *Сущностная* рациональность - это как раз попытка разобраться с бесконечной субъективностью и заявить, что мы тем не менее способны делать разумный, значимый выбор, социальный выбор. К этой теме я еще вернусь.

Второй вызов, на котором я хотел бы остановиться, связан с проблемой евроцентризма. В настоящее время это широко известная проблема. Хотя [еще] тридцать лет назад о ней почти не упоминали. Одним из первых из нас этот вопрос публично поднял Анвар Абдель-Малека, который в своем осуждении ориентализма (1963) более чем на десять лет опередил Эдварда Сайда и посвятил всю свою жизнь обоснованию того, что он назвал «альтернативным цивилизационным проектом-310

том». Я хотел бы остановиться на его идеях, в особенности на тех, что сформулированы в книге «Социальная диалектика» (1981). Я выбрал для обсуждения именно его работу, потому что Абдель-Малека не ограничивается простым осуждением злодеяний Запада, но и пытается предложить альтернативу [евроцентричной модели развития]. Абдель-Малека начинает с предположения, что в трансформированной геополитической реальности «постулирование универсализма в качестве готового рецепта просто не срабатывает». Чтобы прийти к «значимой социальной теории», как он ее называет^{33а}, Абдель-Малека предлагает использовать нередукционистский компаративизм и рассматривать мир в виде трех взаимосвязанных кругов: цивилизаций, культурных зон и наций (или «национальных образований»). По его мнению, существуют только две «цивилизации» - индоарийская и китайская. Внутри каждой - многочисленные культурные зоны. В индоарийской - египетская античность, греко-римская античность, Европа, Северная Америка, Африка южнее Сахары, арабо-исламская и ирано-исламская [культурные] зоны, а также большая часть Латинской Америки. В китайской - собственно Китай, Япония, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, индийский субконтинент, Океания и азиатско-исламская зона.

Если ключевым фактором для Абдель-Малека является «цивилизация», то ключевым понятием - «специфика», а это, по его словам, требует добавить «географическую нить» к исторической. При этом он добавляет, что центральной проблемой в общей теории и эпистемологии является «углубление и определение отношений между понятием времени и совокупностью понятий, относящихся к «плотности времени» в области человеческих обществ»^c. Хотя можно сравнивать цивилизации, исходя из представлений о производстве, воспроизводстве и социальной власти, основополагающее различие лежит в отношениях с временным измерением, где мы находим сильнейшую «плотность очевидной, явной специфики. Ибо мы попадаем в самое сердце культуры и мысли». Он говорит о «всепроницающем, центральном, определяющем воздействии временного измерения, о глубине исторического поля»^{33а}. 311

Таким образом, географический вызов оборачивается альтернативой идеи времени. Не будем забывать, что для Абдель-Малека существуют только две «цивилизации» в том смысле, в котором он употребляет это слово, а поэтому только два типа отношений к временному измерению. С одной стороны - западное «практическое» видение времени, которое он возводит к Аристотелю, «расцвет формальной логики, гегемония аналитического мышления», восприятие времени как «инструмента для действия, а не теории о месте человека в историческом континууме»^{33б}. А «на другом берегу» мы обнаруживаем неаналитические представления, где «время - господин» и не может «пониматься как предмет потребления»³⁴. В заключение он призывает к налаживанию «неантагонистического, но все же диалектически противоречивого взаимодействия между двумя берегами нашей общей реки». Что мы получаем в итоге? «Два берега одной реки» - совершенно не то, о чем говорили Дюркгейм, Маркс и Вебер. Бесконечная специфика, о которой мы можем тем не менее теоретизировать. Цивилизационный вопрос о природе времени, который не являлся таковым для классической культуры социологии. И это подводит нас непосредственно к третьему вызову.

Третий вызов также относится ко времени, но не к двум способам его восприятия, а к множественности сущностей времени, к социальной конструкции времени. Время может быть господином, но если это так, то, согласно Фернану Броделю, это господин, которого мы сами себе создали и которому трудно сопротивляться. Бродель утверждает, что в действительности существует *четыре* типа социального времени, но что на протяжении XIX-го и большей части XX века подавляющее большинство социологов знало только *два* из них. С одной стороны, некоторые считали, будто время складывается в основном из последовательности событий, что Поль Лакомб назвал *histoire evenementielle* и что можно перевести как «история эпизодов». Согласно такому пониманию, время эквивалентно евклидовой линии, на которой находится бесконечное множество точек. Эти точки суть «события», расположенные в диахронической последовательности.

Конечно, это созвучно античному представлению о том, что все сущее в
312

каждый момент претерпевает изменения, что объяснение последовательно, а опыт неповторим. Это лежит в основе так называемой идиографической историографии, а также в основе атеоретического эмпирицизма - направлений, широко распространенных в современных общественных науках.

Согласно другому распространенному пониманию времени, социальные процессы вечны - в том смысле, что все события объясняются при помощи правил или теорем, остающихся верными независимо от времени и пространства, даже если в настоящий момент мы еще не можем правильно их сформулировать. В XIX веке эту позицию иногда называли «социальной физикой» с намеком на ньютонову механику, послужившую моделью для данного типа анализа. Бродель характеризовал эти представления о времени как *la tres longue duree* (не путать с *longue duree*). Можно назвать это «вечным временем». Бродель считал, что впервые такой подход использовал Клод Леви-Стросс, но эти представления, конечно, были восприняты и многими другими. В самом деле, можно сказать, что они получили широкое признание в рамках культуры социологии и оформились в то, что мы подразумеваем под «позитивизмом». Сам Бродель так говорит об этой разновидности социального времени: «Если оно существует, то может быть только полумифическим»³⁶.

Основное возражение, которое высказывает Бродель против этих двух представлений о времени, заключается в том, что ни одно, ни другое не принимают времени всерьез. Бродель считает, что «вечное время» - это миф, а «эпизодичное время», «время событий» - это, согласно его знаменитому высказыванию, «пыль». Он предполагает, что на самом деле социальная реальность имеет место главным образом в двух других типах времени, которые, по большому счету, игнорировались как историками-идиографами, так и обществоведами-номотетистами. Он называет эти типы временем *longue duree*, или структурным временем, представляющим собой длинный отрезок, но не вечность, и временем *conjoncture*, или циклическим временем «среднесрочной перспективы», временем циклов *внутри* структур. Оба эти типа времени являются конструкциями, созданными аналитиком, но одновре-313

менно представляют собой социальную реальность, стесняющую действия индивидов. Возможно, вы чувствуете, что Дюркгейму, Марксу и Веберу такие построения Броделя были не совсем чужды. В какой-то мере это действительно так. Все они были тонкими мыслителями, и то что мы сегодня игнорируем многое из сказанного ими - наше большое несчастье. Но поскольку все трое были инкорпорированы в то, что я называю культурой социологии, для социально сконструированного времени просто не оставалось места; вот почему Бродель представляет собой серьезнейший вызов этой культуре. Если вызов евроцентризму заставляет нас заняться более сложной географией, то протест против игнорирования социального времени вынуждает охватить более продолжительный временной промежуток, чем мы когда-либо охватывали, который, однако, гораздо меньше, чем бесконечность. Несомненно, появление в 1970-х годах того, что мы называем сегодня исторической социологией, было, по крайней мере частично, ответом на вызов Броделя, однако она оказалась поглощена социологией, став одним из ее направлений, а сокрытое в ней броделевское требование широкомасштабной эпистемологической реконфигурации встретило сопротивление.

Четвертый вызов пришел извне общественных наук. Он был порожден движением в естественных науках и математике, известном сегодня под названием «теория неравновесных систем». У этого движения есть ряд выдающихся представителей. Я сосредоточусь только на одном из них - Илье Пригожине, который, по моему мнению, наиболее радикально выразил этот вызов. Сэр Джон Мэддокс, бывший главный редактор журнала *Nature*, отдал должное исключительным заслугам Пригожина, заявив, что научный мир многим ему обязан «за упорное изучение на протяжении четырех десятилетий проблем неравновесности и сложности»³⁷. Пригожий, естественно, получил Нобелевскую премию в области химии за исследование так называемых диссипативных структур. Но двумя ключевыми понятиями, определяющими его позицию, являются «стрела времени» и «конец определенности»³⁸.

Оба понятия служат опровержению наиболее фундаментальных положений ньютоновой механики, которые, по мне-314 нию Пригожина, пережили даже поправки, внесенные квантовой механикой и теорией

относительности³⁹. Правда, не ньютоновские понятия энтропии и вероятности не так уж новы. Они лежали в основе химической науки, развивавшейся в XIX веке, и в каком-то смысле даже оправдывали разделение между физикой и химией. Однако с точки зрения физиков, обращение к понятиям такого рода указывало на интеллектуальную несостоятельность химической науки. Химия была незавершенной именно потому, что ей не хватало детерминизма. Но Пригожий не только отказывается от умаления заслуг этих понятий, он идет гораздо дальше. Он стремится доказать, что на них должна быть основана сама физика. Он намерен бить врага на его территории, заявляя, что необратимость не только не вредна, но является «источником порядка» и

«играет основополагающую конструктивную роль в природе»^{40 т-г}. Пригожий дает понять, что не собирается оспаривать состоятельность ньютоновой физики. Она имеет дело с целостными системами и содержит в себе собственную «сферу состоятельности»⁴⁰⁸. Однако эта сфера ограничена, поскольку «целостные системы являются исключением». В большинстве систем «задействованы как детерминистические процессы (между бифуркациями), так и вероятностные процессы (при выборе ответвлений)»^а, а вместе два [этих типа] процессов создают историческое измерение, в котором последовательно фиксируются результаты выбора.

Как я заметил, мы не на конгрессе психоаналитиков, но также и не на конгрессе физиков. Этот вопрос я поднимаю здесь только в силу того, что нам, так привыкшим к тому, что ньютонова механика якобы представляет собой эпистемологическую модель, которой мы должны подражать, важно признать, что эта модель оспаривается в рамках той самой культуры, которая ее породила. Но, что еще важнее, также и потому, что переосмысление законов динамики полностью переворачивает отношение общественных наук к естественным. Пригожий напоминает нам слова Фрейда о том, что честолюбие человечества испытало три последовательных удара: когда Коперник доказал, что Земля не является центром планетарной системы; когда Дарвин доказал, что человек - это вид 315

животных; и когда он, Фрейд, доказал, что наша сознательная деятельность управляется бессознательным. К этому Пригожий добавляет: «Мы можем на это взглянуть иначе: мы видим, что человеческое творчество и новаторство могут рассматриваться как расширение законов природы, уже известных физике и химии»^{41b}. Обратите внимание, каким образом поступает Пригожий. Он воссоединяет общественные и естественные науки не на основе тезиса XIX века, согласно которому человеческую деятельность можно рассматривать просто как один из вариантов физической деятельности, а совсем наоборот - физическую деятельность можно рассматривать как вариант творчества и новаторства. Разумеется, это вызов нашей культуре в том ее виде, в каком она практиковалась. Пригожий затрагивает также вопрос рациональности, о котором мы говорили. Он призывает «вернуться к реализму», что вовсе не означает «возврата к детерминизму»⁴². Реалистическая рациональность - это как раз та рациональность, которую Вебер называл «сущностной», то есть рациональность, являющаяся результатом реалистического выбора⁴³.

Пятый вызов, о котором я буду говорить, - это вызов феминизма. Феминисты говорят о множестве предубеждений, характерных для мира знаний. В нем игнорировалась женская часть человечества. Он не допускал женщин к изучению социальных реалий. Он пользовался априорными, не основанными на реалистических исследованиях посылками о тендерных различиях. Он игнорировал точку зрения женщин⁴⁴. Мне кажется, что все эти обвинения справедливы с точки зрения исторических фактов. А феминистское движение - в рамках социологии и более широкой сферы социального знания - сыграло в последние десятилетия определенную роль в искоренении этих предубеждений, хотя, конечно, до полного снятия этих вопросов с повестки дня еще далеко⁴⁵. Однако, проводя в жизнь свои идеи, феминисты не оспаривали культуру социологии. Скорее, они сами пользовались ею и просто утверждали, что большинство социологов (и, говоря шире, обществоведов) не соблюдают правил, которые сами установили для своей работы. То, что они сделали, бесспорно, очень важно. Однако, я думаю, есть нечто еще более важное, а именно то, посредством 316

чего феминисты бросили вполне определенный вызов культуре социологии. То было утверждение, что маскулинистские предрассудки господствуют не только в области социального знания (где их можно было, так сказать, ожидать теоретически), но и в сфере естественнонаучного знания (где их не должно существовать в теории). Этим они поставили под сомнение легитимность претензии на объективность в ее святая святых, а эта претензия стоит в центре классической культуры

социологии. Так же, как Пригожина не удовлетворяло, что химии позволялось быть исключением из детерминизма физики, и он настаивал на том, что сама физика не является и не может быть детерминистской, так и феминистов не удовлетворяет, что социальное знание определяется как область, в которой социальные предубеждения ожидаемы (хотя и нежелательны); они настаивают на том, что это в равной степени относится и к естествознанию. В этой связи я буду говорить о нескольких ученых-феминистках, чей опыт (то есть изначально полученное образование) лежит в области естественных наук и которые потому утверждают, что достаточно компетентны в этой области и благожелательно настроены по отношению к ней, чтобы высказываться по этому вопросу.

Я выбрал трех ученых - Эвелин Фокс Келлер, получившую образование в области математической биофизики, Донну Дж. Харавэй, биолога, специалиста по гоминидам, и физика-теоретика Вандану Шиву. Келлер рассказывает, как в середине 1970-х годов она задалась вопросом, который раньше казался ей заведомо абсурдным, а затем внезапно стал для нее первостепенным: «В какой мере природа науки определяется идеей маскулинизма, и, если бы это было иначе, что бы это значило для науки?» Она дает понять, в каком ключе ответит на этот вопрос: «Я говорю о том, как определенность мужчин и женщин отразилась на становлении науки». Пока мы не выходим за рамки социологии знания или социологии науки. И Келлер совершенно правильно замечает, что, ставя вопрос таким образом, мы сможем оказать лишь «побочное» воздействие на культуру обществознания в целом. Необходимо же показать, что половая принадлежность влияет на

«создание научных теорий» .
317

Возможно ли это? Келлер обращает внимание на роль психологического состояния ученых. Она говорит о «внутриличностной динамике выбора теории»⁴⁷. Келлер легко показывает, что труды основателей бэконовской науки изобилуют маскулинистскими метафорами, относящимися в том числе к покорению природы и господству над ней, и что утверждение ученых, будто они отличаются от натурфилософов тем, что именно им удалось избежать проекции субъективности, не выдерживает испытания анализом . Итак, Келлер наблюдает «андроцентризм» в науке, но не собирается отвергать науку как таковую или призывать к созданию так называемой радикально иной науки. Она говорит так:

Мое видение науки - и возможностей отделения, по крайней мере, частичного, когнитивного от идеологического - является более оптимистическим. Соответственно, и цель этих очерков является более взыскательной: это разработка в общих рамках науки такой ее версии, которая была бы общечеловеческим, а не маскулинистским проектом, это отказ от разделения труда на эмоциональный и интеллектуальный, благодаря которому наука воспринимается как чисто мужское дело⁴⁹.

Исходным пунктом рассуждений Донны Харавэй являются вопросы, интересующие ее как специалиста по гоминидам. Она критикует несколько различающиеся попытки Р.М. Еркаса и Э.О. Уилсона превратить биологию из «науки о половых организмах в науку о воспроизводстве генетических блоков» . Обе теории, говорит она, нацелены на человеческую инженерию в двух последовательно различных формах, а различия между ними лишь отражают перемены в более широком социальном мире. Она задает вопрос, относящийся к обеим теориям: кому выгодна человеческая инженерия? Она считает, что ее работа «посвящена бесконечной изобретательности природы - возможно, в наши дни это самая главная арена надежды, подавленности и споров для обитателей планеты Земля» . Она подчеркивает, что говорит не о природе, как таковой, а о том, что нам рассказывают о природе и опыте [взаимодействия с нею], главными же рассказчиками являются биологи.

Я не буду пытаться воспроизвести здесь ее аргументы, а всего лишь обращу внимание на выводы, которые она делает 318

из этой критики. Как и Келлер, она не хочет, чтобы ее критика «биологического детерминизма» воспринималась с позиций «социального конструктивизма»^{50b}. Скорее, она полагает, что в результате социального развития XX века все мы стали «хиимерами, выдуманными и сконструированными гибридами машин и живых организмов», которых она называет киборгами. Она говорит, что «размывание границ происходит из-за [стремления к] *удовольствию*, а их проведение - в силу *ответственности*»⁵¹. Она видит разрушение границ между человеческим и животным, или между человеческим и животным (или органическим), с одной стороны, и механическим - с другой; между физическим и нефизическим.

Она предостерегает от создания «универсальной, всеохватной теории», называя ее «огромной ошибкой, при которой из вида упускается большая часть реальности», но утверждает также, что «принятие на себя ответственности за социальные отношения между наукой и технологиями означает отказ от антинаучной метафизики, от демонизации технологических [достижений]»⁵¹. Для этого вызова тема ответственности является центральной. Харавэй отвергает релятивизм не во имя «всеобъемлющих теорий», а ради «частичного, локализованного, критического знания, поддерживающего возможность сетевых связей, именуемых в политике солидарностью, а в эпистемологии междисциплинарностью»⁵².

Критика Ванданы Шивы в большей степени сфокусирована на политических импликациях [соответствующей] позиции науки в культурной иерархии, нежели на научных методах как таковых. Она говорит как женщина Юга, и в этом смысле ее критика звучит в унисон с критикой Абдель-Малека⁵³.

Идее «владычества человека над природой» она противопоставляет понятие «демократии всей жизни», которое, как она считает, лежит в основе «большинства незападных культур». Шива усматривает теснейшую связь между сохранением биологического разнообразия и сохранением человеческого культурного разнообразия, и потому ее особенно волнуют последствия происходящей в наши дни биотехнологической революции.

Меня поражают две константы в формулировках данного вызова, принадлежащих Келлер, Харавэй и Шиве. Во-пер-319

вых, критика естественных наук в том виде, в каком они практиковались, никогда не переходит в отрицание науки как познавательной деятельности, она, скорее, касается строгости анализа научного знания и практики. А во-вторых, из критики естественных наук в том виде, в каком они практиковались, следует призыв выносить ответственные социальные суждения. Возможно, вы чувствуете, что обвинение естественных наук в тендерных предрассудках не доказано. Думаю, надлежащий ответ дает здесь Сандра Хардинг: «Сколь бы невероятными они [попытки показать, каким образом законы Ньютона и Эйнштейна могут участвовать в тендерной символизации] ни могли казаться, нет причин думать, что они в принципе не в состоянии возыметь успеха»⁵⁶. Ключевые слова здесь - «в принципе». Именно на этом обращении к основополагающей научной практике - подвергать все заявления эмпирической верификации - основан феминистский вызов науке. Подвергая сомнению любые априорные утверждения о том, что половая принадлежность не играет роли в научной деятельности, феминизм бросает серьезнейший вызов культуре социологии. Равен ли ему по силе вызов, бросаемый феминизмом естественным наукам, и будет ли он принят во внимание - нам еще предстоит увидеть⁵⁷.

Шестой, и последний, вызов, о котором я поведу речь, -возможно, самый неожиданный из всех и наименее обсуждаемый. Это утверждение о том, что [эпоха] модернити, ключевое понятие в нашей работе, в действительности никогда не существовала. Наиболее четко этот тезис был выдвинут Брюно Латуром, назвавшим свою книгу «Мы никогда не были современными». Книга начинается с того же утверждения, что приводила Харавэй: реальность есть продукт смешения неоднородных субстанций. Латур говорит о распространении «гибридов», которых она называет «киборгами». Для обоих гибридов - центральное явление, со временем возрастающее в количественном отношении, недостаточно изученное и совсем не страшное. Латуру важно преодолеть научную и социальную сегментацию реальности на три категории - природу, политику и полемику. Для него хитросплетения действительности являются «одновременно реальными, как приро-320

да, [поддающимися] описанию, как [научная] деятельность, и коллективными, как общество»⁵⁸. Часто Латура ошибочно считают одним из представителей постмодернизма. На самом деле трудно понять, как внимательный читатель может сделать такую ошибку. Ибо Латур с равной силой критикует тех, кого называет антимодернистами, модернистами и постмодернистами. Для Латура все три группы едины в том, что считают мир, в котором мы живем последние несколько столетий, «современным», приписывая модернистам «ускорение, прорыв, переворот во времени [в противоположность] архаичному и стабильному прошлому»^{58a}.

Латур утверждает, что слово «модерн» подразумевает два набора совершенно различных практик: с одной стороны, постоянное созидание путем «перевода» новых гибридов природы и культуры, а с другой - процесс «очищения», разделения двух онтологических зон - людей и не-людей. Эти процессы взаимосвязаны, утверждает он, и не могут исследоваться отдельно один от другого,

поскольку, парадоксальным образом, именно запрещение гибридов (очищение) позволяет их создавать, и, наоборот, именно постигая [природу] гибридов, мы ограничиваем их распространение. Чтобы разобраться в так называемом «современном мире», Латур рекомендует

«антропологию», под которой понимает возможность «взяться за все сразу»⁶⁰.

Латур считает, что мир, в котором мы живем, основан на своего рода Конституции, которая делает современных людей «непобедимыми», провозглашая, что природа трансцендентна и неподвластна человеческому конструированию, но общество не трансцендентно, и потому люди совершенно свободны⁶¹. Более того, Латур уверен, что справедливо и обратное⁶². Само понятие модернити является ошибкой:

Никто никогда не был современным. [Эпоха] модернити никогда не начиналась. Современного мира никогда не существовало. Здесь важно использование настоящего совершенного времени⁶³, так как речь идет о ретроспективном чувстве, о новом прочтении нашей истории. Я не говорю о том, что мы вступаем в новую эру; напротив, нам больше не нужно продол-

321

жать участие в безрассудной гонке пост-пост-постмодернистов, мы более не обязаны цепляться за авангард авангарда; мы больше не стремимся к тому, чтобы стать еще умнее, еще критичнее, продвинуться еще глубже в «эру подозрений». Нет, вместо этого мы обнаруживаем, что никогда не начинали вступать в современную эру. Поэтому всегда слегка нелепы рассуждения мыслителей-постмодернистов; они утверждают, что живут после эпохи, которая никогда не начиналась!⁶³

Однако есть и нечто новое - дело в том, что мы достигли точки насыщения. А это подводит Латура к вопросу о времени, который, как вы могли увидеть, составляет ядро большей части вызовов:

Если я стану объяснять, что революционные попытки отменить прошлое не удаются, то вновь рискую прослыть реакционером. Это потому, что для модернистов - так же, как и для их противников-антимодернистов и их ложных противников-постмодернистов - стрела времени с очевидностью существует; можно идти вперед, но тогда придется порвать с прошлым; можно пойти назад, но тогда придется порвать с модернизирующимся авангардом, радикально порвавшим со своим прошлым... Если есть что-то, к чему мы не способны, то это, как мы теперь знаем, - революция, будь то в науке, технике, политике или философии. Но мы остаемся современными, даже если интерпретируем этот факт как разочарование^{64a}.

Все мы, говорит Латур, были и остаемся «амодернистами»^{64b}. Не существует «культур», так же как не существует и «природ», существуют только «природы-культуры»^c. «Природа и общество являются не двумя различными полюсами, а одним и тем же продуктом последовательных состояний обществ-природ, коллективов»^{64и}. Только признав этот факт и поставив его в центр нашего анализа мира, мы можем двигаться вперед.

Я заканчиваю описание вызовов. Напомню, что для меня эти вызовы - не истины, а побуждение к размышлению об основных посылах. Скорее всего, каждый из этих вызовов порождает у вас некоторые сомнения. У меня тоже. Но, вместе взятые, они представляют собой грозное наступление на культуру социологии и не могут оставить нас безразличными-

322

ми. Существует ли формальная рациональность? Существует ли цивилизационный вызов западному/современному видению мира, который мы должны воспринимать со всей серьезностью? Действительно ли реальность многих социальных времен требует от нас перестройки наших теорий и методологий? Каким образом теория неравновесных систем заставляет нас пересмотреть научный метод? Можем ли мы показать, что половая принадлежность является структурной переменной, вторгающейся повсюду, даже в сферы, кажущиеся невероятно отдаленными, такие, как математическая концептуализация? И является ли модернити обманом - не иллюзией, а обманом, жертвой которого пали прежде всего обществоведы?

Могут ли три аксиомы, берущие начало [в работах] Дюркгейма, Маркса и Вебера, аксиомы, составляющие то, что я назвал культурой социологии, дать адекватный ответ на эти вопросы, а если нет, то означает ли это крушение культуры социологии? И если да, то чем нам ее заменить?

Перспективы

Говоря о будущем обществознания, я имею в виду три перспективы, кажущиеся мне одновременно достижимыми и желательными в XXI веке: эпистемологическое воссоединение так называемых двух культур - естественных и гуманитарных наук; организационное воссоединение и новое разделение общественных наук и признание за ними центральной роли в мире знания.

Какие выводы можно сделать из моего анализа культуры социологии и вызовов, с которыми она столкнулась? Начнем с простого. Во-первых, ультраспециализация, которой подверглась социология, а в действительности и все остальные общественные науки, была как неизбежной, так и саморазрушительной⁶⁵. Тем не менее мы должны продолжать борьбу с ней, надеясь найти какой-то разумный баланс между глубиной и широтой знания, между фрагментарным и синтетическим видением. Во-вторых, как удачно заметил недавно Нил Смел-сер, не существует «социологически наивных действующих 323

субъектов»⁶⁶. Но существуют ли социологически хорошо информированные субъекты? То есть рациональны ли наши субъекты? И какой мир им известен?

Мне кажется, что социальные факты, с которыми мы имеем дело, социальны в двух смыслах: они являются восприятием реальности, в большей или меньшей степени разделяемым группами средней численности, но имеющим свои оттенки для каждого отдельного члена этих групп. И это социально конструируемые восприятия. Но скажем со всей ясностью: интерес представляет не социальная конструкция мира, предполагаемая тем или иным исследователем, но конструкция социальной реальности, выработанная коллективно в результате совместной деятельности людей. Мир таков, каков он есть, благодаря всему тому, что предшествовало данному моменту. Исследователь пытается разглядеть, каким образом коллективными усилиями создан мир, и при этом, конечно, он использует собственное социально сконструированное видение. Таким образом, стрела времени неизбежна, но также непредсказуема, поскольку мы постоянно переживаем бифуркации, исход которых всегда неопределен. Более того, несмотря на то, что существует только одна стрела времени, сами времена множественны. Мы не можем позволить себе упускать из виду структурное *longue duree* или циклические ритмы анализируемой нами исторической системы. Время - нечто гораздо большее, чем хронометрия и хронология. Время - это также продолжительность, циклы и отдельные периоды.

С одной стороны, реальный мир, несомненно, существует. Если *он* не существует, то и *нас* не существует, а это абсурд. Если мы не верим в это, мы не должны заниматься изучением мира общественных отношений. Солипсизм не может поговорить даже с самим собой, поскольку все мы меняемся в каждый момент нашего существования; следовательно, если принять позицию солипсизма, наши собственные вчерашние взгляды так же безотносительны к сложившемуся у нас видению настоящего момента, как и взгляды других. Солипсизм есть наиболее выраженная форма гордыни, даже более выраженная, чем объективизм. Это вера в то, что наши восприятия 324 создаются нашими логическими рассуждениями и что, таким образом, мы воспринимаем сущее, которое сами создали.

Но, с другой стороны, также справедливо, что мы можем познать мир лишь через наше видение его, являющееся, без сомнения, коллективным социальным видением, но тем не менее видением человеческим. Это, очевидно, в равной степени относится как к нашему видению физического мира, так и к нашему видению мира социального. В этом смысле все зависит от очков, через которые все мы осуществляем это восприятие, то есть от организующих мифов (великих нарративов!), которые Уильям Мак Нил называет мифоисторией (*mythistory*)⁶⁷ и без которых мы не в состоянии ничего сказать. Из этих ограничений следует, что не существует понятий, которые не были бы множественными; что все универсалии частичны; что существует множественность универсалий. Из этого также следует, что все глаголы, которые мы употребляем, следует писать в прошедшем времени. Настоящее кончается до того, как мы озвучим его, а все утверждения необходимо помещать в исторический контекст. Номотетический соблазн столь же опасен, сколь соблазн идиографический, и является западной, в которую культура социологии нередко заводила многих из нас.

Да, мы подошли к концу [периода] определенности. Но что это значит на практике? На протяжении всей истории мысли нам постоянно предлагались истины. Богословы предлагали нам истины, почерпнутые от пророков, священников и из священных текстов. Философы предлагали истины, которые они рационально дедуцировали, индуцировали или до которых доходили интуитивно. Современные же ученые предлагали истины, которые они эмпирически верифицировали, используя изобретенные ими самими критерии. Все они утверждали, что их истины явным образом подтверждаются в реальном мире, но эти явные подтверждения служат в основном внешним и ограниченным выражением более глубоких, сокровенных истин, в деле открытия которых им принадлежит посредническая роль.

Каждый набор истин мог преобладать в том или ином месте в определенный промежуток времени, но ни один -

325

повсюду и всегда. Возьмите скептиков и нигилистов, указывавших на это множество противоречивых истин и на основе возникающих в связи с этим сомнений делавших вывод о том, что ни одна заявленная истина не может быть убедительней, чем любая другая. Но если Вселенной в самом деле присуще состояние неопределенности, из этого не следует, что у богословия, философии или науки нет никаких заслуг, и определенно не следует, что все они представляют собой гигантский обман. А следует из этого то, что мы были бы мудрее, если бы формулировали наши цели в свете постоянной неопределенности и рассматривали эту неопределенность не как нашу беду и временную слепоту, не как непреодолимое препятствие к познанию, а как потрясающую возможность для воображения, созидания, поиска⁶⁸. Множественность становится не поблажкой для слабого или невежды, а рогом изобилия возможностей сделать мир лучше .

В 1998 году группа ученых, преимущественно физиков, опубликовала книгу, озаглавленную *Dictionnaire de Vignorance* (Словарь незнания), в которой утверждалось, что наука играет большую роль в создании сфер незнания, чем в создании сфер знания. Цитирую аннотацию, помещенную на обложке этой книги:

По мере того как наука расширяет поле нашего знания, мы, как ни парадоксально, осознаем, что растет также и наше незнание. С каждой решенной проблемой у нас появляются новые загадки, так что процессы исследования и открытий постоянно обновляются. Кажется, что границы знания бесконечно расширяются, порождая ранее невообразимые вопросы. Но наличие этих новых проблем полезно. Трудности не позволяют науке ни на миг остановить свое движение, без которого ее свет, вероятно, скоро бы погас⁷⁰.

Одна из проблем, связанных с ростом незнания, заключается в том, что не существует веских причин предполагать, будто самые эффективные попытки преодолеть это незнание могут быть предприняты в той узкой сфере, где оно было обнаружено. Физик может встретиться с проблемами, решение которых потребует знаний, ранее считавшихся относящимися к биологии или философии. И это, как мы знаем, опреде-

326

ленно относится к тому незнанию, которое открывают для себя социологи. Изоляция собственной сферы знания перед лицом обнаруживаемого незнания есть худший из грехов, которые может совершить ученый, и наибольшее препятствие на пути к ясности.

Именно с этим вопросом связаны организационные проблемы общественных наук. В наши дни крайне сильна институционализация их формального разделения, несмотря на повсеместное поклонение идолу «междисциплинарности». Я бы даже сказал, что понятие «междисциплинарность» на самом деле - ширма, и как ничто другое оно поддерживает существующее многообразие дисциплин, [давая возможность] подразумевать, что каждая из них обладает особым знанием, совмещение которого с другими специальными знаниями было бы полезно для решения каких-либо практических проблем.

Факт в том, что в наши дни три великих разделения XIX века - «прошлое - настоящее», «цивилизованное - иное» и «государство - рынок - гражданское общество» - абсолютно несостоятельны в качестве интеллектуальных маркеров. Невозможно выступить с серьезными заявлениями в так называемых областях социологии, экономики или политологии, которые не относились бы к истории, равно как невозможно провести серьезный исторический анализ, не прибегнув к так называемым обобщениям, почерпнутым из других общественных наук. Зачем тогда продолжать притворяться, что мы решаем различные задачи?

Что касается разделения на цивилизованное и иное, то цивилизованное не является цивилизованным, а иное - иным. Конечно, существуют особенности, но их великое множество, а расистское упрощение современного мира не только пагубно само по себе, но и ведет к интеллектуальной деградации. Мы должны научиться обращаться с универсальным и специфичным как с симбиотической парой, которая никогда не исчезнет, и понимание этого должно пронизывать весь наш анализ.

И наконец, разделение на государство, рынок и гражданское общество просто несостоятельно, и сегодня это известно всем и везде. Рынок создается и контролируется государ-

327

ством и гражданским обществом. Государство есть отражение как рынка, так и гражданского общества. И гражданское общество определяется как государством, так и рынком. Невозможно

разделить эти три способа выражения интересов, предпочтений, идентичности и воли индивидов, [как невозможно вообразить, что соответствующие] различные группы людей в замкнутых пространствах при прочих равных условиях будут выносить на этот счет научные суждения. Однако я по-прежнему разделяю мнение Дюркгейма о том, что психология и обществоведение - это две отдельные области, что психология стоит ближе к биологии и, возможно, является ее существенной частью. Я замечаю, что большинство психологов, от бихевиористов до фрейдистов, похоже, также разделяют эту точку зрения. Наиболее ярких противников этого разделения следует на самом деле искать среди социологов.

Что же нам делать, если все существующие ныне способы разделения общественных наук на отдельные структуры знания бессмысленны? С одной стороны, те, кто изучает так называемую социологию организаций, не перестают доказывать нам, насколько организации неподатливы к навязываемым изменениям, как ожесточенно и хитроумно их лидеры защищают интересы, наличия которых они не стали бы признавать, если бы не оказались у власти, где эти интересы кажутся очевидными. Ускорить темпы трансформации очень трудно. Пытаться сделать это - возможно, донкихотство. С другой стороны, в каждой организации существуют внутренние процессы, разрушающие ее рамки, но не реформирующие [саму структуру]. Отдельные ученые ищут коллег для создания небольших [исследовательских] групп и сетей, необходимых, как они считают, для их работы. И внутри таких сетей все меньше и меньше внимания обращается на дисциплинарную принадлежность.

Более того, по мере углубления специализации, те, кто осуществляет финансовую поддержку науки, становятся все больше обеспокоены кажущейся нелогичностью взаимопересечения областей. Это особенно заметно по стремлению не увеличить, а, наоборот, сократить расходы на высшее обра-328

зование, наблюдаемому во всем мире. Ускорить шаг нас могут заставить бухгалтеры, и, возможно, это не пойдет нам на пользу в интеллектуальном плане. Поэтому, мне кажется, ученым следует срочно заняться поиском новых организационных форм, не боясь экспериментировать и терпимо относясь к усилиям друг друга, с тем чтобы увидеть, какие организационные перемены окажутся наиболее эффективными. Возможно, в качестве способа организации исследовательских групп следует институционализировать разделение на микро- и макро [науку]. Но я не уверен. В какой-то степени это уже происходит в естествознании, а также - если не в теории, то на практике - и в обществоведении. Или, возможно, разделение должно быть проведено согласно временным отрезкам, в которых протекают изучаемые нами изменения - краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Пока у меня нет окончательной точки зрения по какому-либо из этих способов разделения. Я чувствую, что мы должны испробовать их все.

Вместе с тем я очень отчетливо вижу, что всем нам надо стать более открытыми, признав, что [сегодня] мы зашорены. Нам необходимо значительно расширить кругозор и призвать к тому же наших студентов. Нам стоит гораздо более широко задействовать выпускников университетов и позволить им играть основную роль в определении области, в которой мы можем поспособствовать их росту. И еще, мы обязательно должны учить языки. Ученый, не умеющий *читать* на трех-пяти основных языках, используемых в науке, серьезно ограничен в своей деятельности. Несомненно, английский язык играет ключевую роль, но знание одного английского означает доступ в лучшем случае к 50 процентам написанного, а с каждым десятилетием эта доля будет уменьшаться, поскольку в тех странах, где наблюдается наибольший рост численности ученых, английский все меньше и меньше будет использоваться для написания научных трудов. Расширение знания языков идет рука об руку с дальнейшей интернационализацией ученого корпуса, хотя эти процессы и не идентичны.

Я не знаю, какого типа реструктуризация должна произойти, но очень сомневаюсь, что хотя бы одна из существующих 329

международных обществоведческих ассоциаций отметит свою сотую годовщину, по крайней мере под прежним названием.

Напоследок я приберегу перспективу, которая кажется мне самой потрясающей и, может быть, самой важной из всех. С тех пор как в конце XVIII века произошел разрыв между наукой и философией, общественные науки были бедным родственником - так сказать, ни рыбой ни мясом - и презирались обеими сторонами в этой войне «двух культур». И обществоведы согласились на эту роль, чувствуя, что им ничего не остается, кроме как примкнуть либо к естествознанию, либо -

к гуманитарным наукам. В наши дни ситуация радикально изменилась. В физике существует сильное и все растущее движение - исследования неравновесности, в рамках которых говорится о стреле времени, о вероятности и считается, что общественные системы человечества - самые сложные из всех систем. В гуманитарных же науках существует сильное и все растущее движение - культурологические исследования, в рамках которых считается, что не существует универсальных эстетических канонов, что культурные продукты имеют социальные корни, уходящие к общественному восприятию и общественным аберрациям.

Мне кажется очевидным, что исследования неравновесности и культурологические исследования переместили, соответственно, естественные и гуманитарные науки в сферу общественных наук. Некогда центробежное поле сил в мире знания стало центростремительным, и теперь общественные науки занимают в нем центральное место. Мы находимся в процессе преодоления разделения на «две культуры», пытаюсь воссоединить в единой области поиск истины, блага и прекрасного. Это повод для радости, но для этого предстоит немало потрудиться. Перед лицом неопределенностей знание предполагает выбор - выбор разного рода, в том числе, конечно, и выбор, производимый участниками общественного процесса, включая ученых. Выбор же предполагает [вынесение] решения о том, что является сущностно рациональным. Мы не можем долее притворяться, что ученые могут быть нейтральны, отделены от социальной реальности. Но это ни в коем случае 330

не означает, что они могут действовать как угодно. Это означает, что мы должны во всех областях тщательно взвесить все факторы, чтобы попытаться прийти к оптимальным решениям. В свою очередь, это значит, что необходимо [активно] общаться друг с другом, причем на равных. Да, некоторые из нас обладают большим специфическим знанием по специфическим вопросам, чем другие, но никто, ни одна группа не может обладать всем знанием, необходимым для принятия сущностно рациональных решений даже в относительно ограниченных областях, и не учитывать знания [специалистов] других областей. Да, несомненно, если бы мне понадобилась нейрохирургическая операция, я пожелал бы обратиться к самому компетентному нейрохирургу. Но компетентная нейрохирургия также предполагает заключения юридического, этического, философского, психологического и социологического характера. И такой институт, как больница, должен соединить все эти знания в одну сущностно рациональную позицию. Более того, имеет значение и мнение самого пациента. Нейрохирургу более чем кому-либо другому нужно знать это, но социологу или поэту - тоже. Навыки не растворяются в какой-то бесформенной пустоте, но всегда являются частичными и должны интегрироваться с другими частичными навыками. В современном мире этому уделяется слишком мало внимания. И наше образование не готовит нас к этому в достаточной степени. Как только мы поймем, что функциональной рациональности не существует, тогда и только тогда мы сможем начать путь к сущностной рациональности. Я считаю, что именно это имеют в виду Илья Пригожий и Изабелла Стенгерс, говоря о «вновь обретенном очаровании миром»⁷¹. Речь здесь идет не об отрицании очень важной задачи по «разочарованию», но о том, что нам необходимо воссоединить разрозненные фрагменты. Мы слишком скоро позабыли о конечных причинах. Аристотель был не так прост. Да, мы должны иметь в виду движущие причины, но не должны упускать из виду и конечные причины. Тактику, полезную при освобождении от богословского и философского контроля, ученые превратили в методологический императив, и это оказалось вредным. 331

Наконец, мир знания эгалитарен. В этом заключается одно из величайших достижений науки. Каждый вправе оспорить достоверность существующих истин - при наличии у него определенных эмпирических доказательств, которые он может представить для коллективной оценки. Но поскольку представители естественных наук отказывались быть обществоведами, они не желали рассмотреть или даже осознать тот факт, что благородные требования эгалитарности науки невыполнимы и даже бессмысленны в социальном мире, где господствует неравенство. Правда, ученые побаиваются политики и ищут спокойствия в изоляции. Ученые опасаются могущественного меньшинства, стоящего у власти. Они опасаются могущественного большинства, способного прийти к власти. Создать более эгалитарный социальный мир будет нелегко. Тем не менее достижение цели, которую естественная наука поставила перед миром, требует гораздо более эгалитарного общественного устройства, чем то, которое мы имеем. Борьба за эгалитаризм в науке не отделима от борьбы за эгалитаризм в обществе. Они суть единое целое, которое вновь указывает нам на невозможность разделения поиска истины, блага и прекрасного.

Нет большего самоограничения для людей, чем человеческая гордыня. Мне кажется, в этом состоит смысл истории Адама и Евы в Эдемском саду. Мы проявляли гордыню, утверждая, что приняли и поняли откровение Господа, знаем о намерениях богов. Мы проявляли еще большую гордыню, утверждая, что способны достичь вечной истины посредством человеческого разума, такого ненадежного инструмента. И мы не перестаем проявлять гордыню, стремясь навязать друг другу с такой яростью и жестокостью наше субъективное видение совершенного общества. Во всех этих проявлениях гордыни мы предавали прежде всего самих себя, лишая себя возможности раскрыть свой потенциал, достоинства, которыми мы могли бы обладать, воображение, которое могли бы развивать, познание, которого могли бы достичь. Мы живем во вселенной неопределенности, единственным величайшим достоинством которой является постоянство этой неопределенности, так как имен-

но благодаря неопределенности существует творчество - творчество во вселенском масштабе, включающее в себя, конечно, и человеческое творчество. Мы живем в несовершенном мире, он всегда будет несовершенен, и поэтому в нем всегда будет несправедливость. Но перед этой реальностью мы вовсе не беспомощны. Мы можем сделать мир менее несправедливым; мы можем сделать его более прекрасным; мы можем углубить наше познание его. Нам нужно всего лишь строить его, а для того чтобы его строить, нам нужно всего лишь разговаривать друг с другом и стремиться получить друг от друга то особое знание, которое каждый сумел приобрести. Мы можем трудиться в виноградниках и получать плоды, если только постараемся. Мой близкий соратник, Теренс Хопкинс, написал мне в 1980 г. записку, слова которой я бы хотел привести в качестве заключения: «Мы можем двигаться только в одном направлении - вверх, вверх и вверх; так же должны повышаться наши интеллектуальные стандарты. Изящество. Точность. Конкретность. Правда. Стойкость. Это все».

Примечания

Неопределенность и творчество: исходные положения и выводы

1. Эти тезисы в какой-то степени были рассмотрены в двух недавно вышедших книгах: Wallerstein, I. *After Liberalism*, New York: New Press, 1995, и Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition: Trajectory of the World System, 1945-2025*, London: Zed Press, 1996.
2. Prigogine, I. *La fin des certitudes*, Paris: Odile Jacob, 1996; в переводе на английский: *The End of the Certainty*, New York: Free Press, 1997.

Глава первая. Социология и коммунистическая интерлюдия, или Интерпретации современной истории

1. В романе Б.Пастернака «Доктор Живаго» встречаются только члены его семьи, которые объясняют, что два из трех этажей их «жизненного пространства» (новый термин) были отданы под различные советские учреждения. Но и в этой версии Живаго считает, что такой порядок более справедлив, чем предыдущий, когда богатые обладали слишком многим.

Глава вторая. Африканский национальный конгресс и Южная Африка: прошлое и будущее освободительных движений в миро-системе

1. Более подробное изложение этих идей представлено в работе: Wallerstein, I. 'The French Revolution as a World-Historical Event' in Wallerstein, I. *Unthinking Social Science*, Cambridge: Polity Press, 1991, pp. 7-22.
2. Приводимые ниже аргументы почерпнуты из анализа, проведенного в книге: Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition. Trajectory of the World-System 1945-2025*, London: Zed Press, 1996.

334

3. См.: Braudel, E. *Capitalism and Civilization, 15th to 18th Century*, 3 Vols., New York: Harper and Row, 1981-1984 (в данном случае в тексте примечания содержится очевидная ошибка: работа Ф.Броделя имеет название: Braudel, F. *Civilization and Capitalism, 15th to 18th Century*, 3 Vols., London: Fontana Press, 1984-1986. - Прим. ред.).

Глава третья. Возвышение Восточной Азии, или Миро-система в XXI веке

1. Именно эти проблемы оказываются центральными в книге: Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945-2025*, London: Zed Press, 1996.
2. Примером первого и подробного анализа этих процессов является работа: Frobel, F. 'The Current Development of the World-Economy: Reproduction of Labor and Accumulation of Capital on a World Scale' in *Review*, No. 4, Spring 1982, pp. 507-555.
3. Я вкратце привожу здесь материал, подробно изложенный в: Wallerstein, I. *After Liberalism*, New York: New Press, 1995.
4. Разумеется, и другие регионы мира в то время демонстрировали примеры подобной же реакции. Эфиопия в 1896 году нанесла поражение Италии. В Мексике в 1910 году произошла революция. В начале XX века целая серия важных революционных событий имела место в Османской империи, Персии, Афганистане и странах

арабского мира. Индийский национальный конгресс был основан в 1886 году, а Национальный конгресс коренных жителей Южной Африки (позднее преобразованный в Африканский национальный конгресс) - в 1912-м. События в Восточной Азии, однако, имели особенно широкий резонанс.

5. Ранее я более детально обосновывал эти тезисы в статье: [Wallerstein, I.] 'Japan and the Future Trajectory of the World-System: Lessons from History' in Wallerstein, I. *Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System*, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

6. См., в частности, главы 8 и 9 книги: Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945-2025*.

Кода. Так называемый азиатский кризис. Геополитика в исторической перспективе

1. Это обстоятельство на протяжении долгого времени обсуждалось специалистами в области экономической истории и недавно было детально изложено Джованни Арриги в книге: Arrighi, G. *The Long Twentieth Century*, London: Verso, 1994.

2. Я уже рассматривал этот процесс в целом - как в статье [Wallerstein, I.] 'Crisis as Transition' in Amin, S., et al. *Dynamics of Global Crisis*, New York: Monthly Review Press, 1982, pp. 11-54, так и в книге [Wallerstein, I.] 335

Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, особенно в ее первой части.

3. Kissinger, H. 'How U.S. Can End Up as the Good Guy' in *Los Angeles Times*, 1998, February 8.

4. См.: Ward, R.E. and Rustow, D.A. (eds.) *Political Modernization in Turkey and Japan*, Princeton (NJ): Princeton University Press, 1964.

5. Более подробный анализ этого вопроса приведен в: Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945-2025*, London: Zed Press, 1996.

Глава четвертая. Государства? Суверенитет? Дилеммы капиталистов переходной эпохи

1. Tawney, R.H. *Equality*, 4th ed., London: George Allen and Unwin, 1952, p. 109.

2. См.: Lerda, J.C. 'Globalization and the Loss of Autonomy by the Fiscal, Banking and Monetary Authorities' in *CEPAL Review*, 1996, April, No. 58, pp. 76-77; далее автор продолжает: «Следует задать самим себе вопрос: является ли растущая агрессивность международных финансовых рынков - произвольное манипулирование валютными курсами или поддержание высоких бюджетных дефицитов - реальным ограничителем свободы действий национальных властей (источником дополнительных препятствий для проведения в жизнь правительственных решений) или же она выступает позитивным фактором, способным предотвратить развитие негативных тенденций (таких, как нарастающая переоцененность [региональных] валют, выливающаяся в финансовые кризисы, которые приносят в периоды неизбежной девальвации серьезные беды реальному сектору».

3. См.: Kaufman, H. 'After Drexel, Wall Street Is Headed for Darker Days' in *International Herald Tribune*, 1990, February 24-25 (перепечатано из *New York Times*).

4. Детальный анализ кризиса структурных элементов капиталистического миро-хозяйства представлен в книге: Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945-2025*, London: Zed Press, 1996.

Глава шестая. Либерализм и демократия Братья-враги?

1. Формы постоянной зависимости предпринимателей от государства рассмотрены мною выше, в гл. 4 (см.: ее. 80-104 настоящего издания). См. также: Braudel, F. *Civilisation materielle, economie et capitalisme, XVeme - 336*

XVIII ere siecle, Paris: Armand Colin, 1979 (английский перевод: Braudel, F. *Capitalism and Civilization, 15th to 18th Century*, 3 vols, New York: Harper and Row, 1981-1984).

2. В каких формах и почему это происходило на протяжении столетий, показано мною в: [Wallerstein, I.] 'The Bourgeois(ie) as Reality and Concept' in Balibar, E. and Wallerstein, I. *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities*, London: Verso, 1991, pp. 135-152.

3. Эта проблема рассмотрена мною в: [Wallerstein, I.] 'The French Revolution as a World-Historical Event' in Wallerstein, I. *Unthinking Social Science*, Cambridge: Polity Press, 1991, pp. 7-22, а также в части 2 моей книги: Wallerstein, I. *After Liberalism*, New York: New Press, 1995.

4. Относительно рассуждений об *egaliberte* см.: Balibar, E. 'Trois concepts de la politique: Emancipation, transformation, civilite' in *La crainte des masses*, Paris: Galilee, 1997, pp. 17-53.

5. Эту тему я детально проанализировал в книге: Wallerstein, I. *After Liberalism*, New York: New Press, 1995 (наиболее подробно в части 4, но также и в других частях). См. также выше, гл. 1 (ее. 13-28 настоящего издания), и [Wallerstein, I.] 'Marx, Marxism-Leninism, and Socialist Experiences in the Modern World-System' in Wallerstein, I. *Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System*, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp. 84-97.

6. Более детальная аргументация представлена в написанных мною гл. 7 и 8 книги: Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition. Trajectory of the World-System 1945-2025*, London: Zed Press, 1996.

Глава седьмая. Интеграция во что? Отмежевание от чего?

1. См.: Lane, F. *Profits and Power*, Albany (NY): State University of New York Press, 1979.

2. Исторически сложившиеся взаимоотношения между государствами и предпринимателями рассмотрены мною выше, в гл. 4 (см. ее. 80-104 настоящего издания).

3. История развития этой программы и ее общественные предпосылки подробно рассмотрены мною в: Wallerstein, I. *After Liberalism*, New York: New Press, 1995 (особенно во 2-й части «Становление и триумф либеральной идеологии», pp. 71-122).

4. См.: Haupt, G. *Le congres manque: L'internationale a la veille de la premiere guerre mondiale*, Paris: Francois Maspero, 1965.

5. Kriegel, A. et Becker, J.-J. 1914: *La guerre et le mouvement ouvrier francais*, Paris: Armand Colin, 1964, p. 123.

6. По этому вопросу см.: Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945-2025*, London: Zed Press, 1996.

337

Глава восьмая. Социальные изменения? Изменения бесконечны. Ничего не меняется

1. Приводимые ниже аргументы представляют собой сокращенный вариант объяснений, более детально изложенных в: Wallerstein, I. 'The West, Capitalism, and the Modern World-System' in *Review*, 1992, Fall, Vol. 15, No. 4, pp. 561-619.
2. Это сделано мною в трехтомнике Wallerstein, I. *The Modern World-System* (Vols. 1, 2, New York: Academic Press, 1974, 1980; Vol. 3, San Diego: Academic Press, 1989), а также в целом ряде других работ.
3. Здесь я обобщаю аргументы, представленные в: Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition: Trajectory of the World-System, 1945-2025*, London: Zed Press, 1996.

Глава девятая. Общественные науки и современное общество Исчезающие основания рациональности

1. См. мою работу: [Wallerstein, I.] 'The West, Capitalism, and the Modern World-System' in *Review*, 1992, Vol. 15, No. 4, pp. 561-619.
2. См.: Shapin, S. *A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England*, Chicago: University of Chicago Press, 1994.
3. См.: Olson, R. *The Emergence of the Social Sciences, 1642-1792*, New York: Twayne Publishers, 1993.
4. Weber, M. *Economy and Society* [Vols. 1-2], New York: Bedminster Press, 1968; ссылки на эту работу приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
5. См. мою работу: [Wallerstein, I.] 'The French Revolution as a World-Historical Event' in Wallerstein, I. *Unthinking Social Science*, Cambridge: Polity Press, 1991, pp. 7-22.
6. См. две главы из моей работы: [Wallerstein, I.] *After Liberalism*, New York: New Press, 1995: 'Liberalism and the Legitimation of Nation-States: A Historical Interpretation' (pp. 93-107) и 'The Concept of National Development: Elegy and Requiem' (pp. 108-122).
7. Freud, S. *Civilization and Its Discontents*, London: Hogarth Press, 1951; постраничные ссылки на эту работу приводятся в тексте.
8. См.: Arrighi, G, et al. '1989, Continuation of 1968' in *Review*, 1992, Vol. 15, No. 4, pp. 221-242.
9. См. мою работу: [Wallerstein, I.] 'Peace, Stability, and Legitimacy: 1990-2025/2050' in Wallerstein, I. *After Liberalism*, New York: New Press, 1995, pp. 2545.

338

Глава десятая. Дифференциация и целостность в общественных науках

1. Все эти утверждения заимствованы из работы Ильи Пригожина (Prigogine, I. 'La fin de la certitude' in Larreta, E.R. (ed.) *Representation et complexite*, Rio de Janeiro: Educam/UNESCO/ISSC, 1997, pp. 61-84). Доклад Пригожина был сделан на коллоквиуме, организованном Главной коллегией Международного совета по общественным наукам, в сотрудничестве с другими организациями, с целью обсуждения значения работ Пригожина для обществоведческой теории.

Глава одиннадцатая. Многоликий евроцентризм Обществоведческие дилеммы

1. См.: Jones, E.J. *The European Miracle: Environment, Economics, and Geopolitics in the History of Europe and Asia*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
2. Цит. по: Abdel-Malek, A. *La dialectique sociale*, Paris: Seuil, 1972, p. 89; см. также английское издание: Abdel-Malek, A. *Social Dialectics*, London: Macmillan, 1981.
3. См.: Rickert, H. *The Limits of Concept Formation in the Physical Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986 [первое издание этой книги вышло в 1913 г.].
4. См.: Abdel-Malek, A. *La dialectique sociale*, Said, E. *Orientalism*, New York: Pantheon Books, 1978.
5. См.: Smith, W.C. 'The Place of Oriental Studies in the University' in *Diogenes*, 1956, No. 16, pp. 106-111.
6. См.: Chen, X. 'Occidentalism as Counterdiscourse "He Shang" in Post-Mao China' in *Critical Inquiry*, 1992, Vol. 18, No. 4, p. 687.
7. См.: Bury, J.B. *The Idea of Progress*, London: Macmillan, 1920; и Nisbet, R.A. *History of the Idea of Progress*, New York: Basic Books, 1980.
8. См. мнение различных авторов в: Sanderson, S.K. (ed.) *Civilizations and World Systems: Studying World-Historical Change*, Walnut Creek (Ca.), Atlanta: Altamira, 1995.
9. См. мою работу: [Wallerstein, I.] 'The West, Capitalism, and the Modern World-System' in *Review*, 1992, Vol. 15, No. 4, pp. 561-619.
10. Smith, A. *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, New York: Modern Library, 1937, p. 16 [первое издание этой книги вышло в 1776 г.].
11. Противоположная точка зрения изложена в: Amin, S. 'The Ancient World-Systems versus the Modern Capitalist World-System' in *Review*, 1991, Vol. 14, No. 3, pp. 349-385.

339

12. См.: Wallerstein, I. *After Liberalism*, New York, New Press, 1995; Hopkins, T.K., Wallerstein, I. (coordinators) *The Age of Transition. Trajectory of the World-System 1945-2025*, London: Zed Press, 1996.
13. См. мою работу: [Wallerstein, I.] 'Capitalist Civilization' in *Chinese University Bulletin*, 1992, No. 23, перепечатанную в книге: Wallerstein, I. *Historical Capitalism, with Capitalist Civilization*, London: Verso, 1995.
14. См.: Needham, J. *Science and Civilization in China*, Cambridge: Cambridge University Press, 1954 (издание этой многотомной работы не завершено до сих пор).

Глава двенадцатая. Структуры знания, или Сколько путей познания лежит перед нами

1. См.: Wallerstein, I., et al. *Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences*, Stanford (Ca.): Stanford University Press, 1996.
2. См.: Prigogine, I. *La fin des certitudes*, Paris: Odile Jacob, 1996, p. 67.

Глава тринадцатая. Взлет и грядущее падение миро-системного анализа

1. См. дискуссию, представленную в книге: Wallerstein, I., et al. *Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences*, Stanford (Ca.): Stanford University Press, 1996.
2. См. мою статью: [Wallerstein, I.] 'The Unintended Consequences of Cold War Area Studies' in Chomsky, N., et al. *The Cold War and the University: Toward the Intellectual History of the Postwar Years*, New York: New Press, 1997, pp. 195-231.
3. Я обосновывал природу таких рисков в своей статье: [Wallerstein, I.] 'Hold the Tiller Firm: On Method and the Unit of Analysis' in Sanderson, S.K. (ed.) *Civilization and World Systems: Studying World-Historical Change*, Walnut Creek (Ca.): Altamira, 1995, pp. 239-247.

Глава четырнадцатая. Социальная теория и стремление к справедливому обществу

1. Цит. по: Koyrè, A. *From the Closed World to the Infinite Universe*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1957, p. 276.
2. Цит. по: Hahn, R. *Laplace as a Newtonian Scientist* (доклад, представленный на семинаре, посвященном влиянию Ньютона, который состоялся в Мемориальной библиотеке Кларка 8 апреля 1967), University of California, Los Angeles: William Andrews Clark Memorial Library, 1967, p.15.

340

3. Wallerstein, I. *History in Search of Science*, *Review* 19, No. 1 (winter 1996), pp. 11-22.
4. См.: Wallerstein, I., et al., *Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences*, Stanford, (Ca): Stanford University Press, 1996.
5. «Незыблемое было поколеблено, - пишет Ивар Экланд. - Качественный подход нельзя рассматривать как простое замещение количественных методов. Этот метод может привести к большим прорывам в теоретической области, например, в динамике жидкостей. У него есть еще одно важное преимущество по сравнению с количественными методами, а именно, стабильность». *Mathematics and the Unenexpected*, Chicago: University of Chicago Press, 1988, p. 73.
6. Prigogine, I. *La fin des certitudes*, Paris: Odile Jacob, 1996, pp. 83, 177.
7. У меня нет возможности развивать эту мысль дальше в пределах данной работы, но я уже говорил об этом более подробно в: 'Peace, Stability, and Legitimacy, 1990-2025/2050' in *After Liberalism*, New York: New Press, 1995, pp. 25-45.

Глава пятнадцатая. Наследие социологии и будущее обществоведения

1. См.: Parsons, T. *The Structure of Social Action*, 2nd ed., Glencoe (IL): Free Press, 1949 [1937].
2. См.: Wallerstein, L, et al. *Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences*, Stanford (Ca.), Stanford University Press, 1996, chap. 1.
3. См.: Wallerstein, I., et al. *Open the Social Sciences*, chap. 2.
4. См.: Foucault, M. *The Archaeology of Knowledge*, New York: Pantheon, 1972; Bourdieu, P. *Homo Academicus*, Stanford (Ca.): Stanford University Press, 1988.
5. В одной из своих последних статей - «Наука как призвание» (представленной в 1918 году в виде доклада), Вебер характеризует себя (уже во втором предложении) как «политэконома». В действительности, в [оригинальном] тексте он использует немецкое слово *Nationalökonom*, близкое по смыслу к слову «политэконом», но все же не совсем тождественное. Однако далее он говорит о работе, которой «должны заняться обязательно социологи». Невозможно с уверенностью судить, в какой степени эти последние слова он относит к себе. (См.: Weber, M. 'Science as a Vocation' in Gerth, H.H. and Wright Mills, C (eds.) *From Max Weber: Essays in Sociology*, New York: Oxford University Press, 1946 [1919], pp. 129, 134).
6. Вот один из недавних примеров: книга канадского социолога Кена Моррисона (Morrison, K. *Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought*, London: Sage, 1995). Аннотация, помещенная на обложке, гласит: «В рамках любого университетского курса теории Маркса, Дюркгейма и Вебера изучаются как основа классической социологической теории».

341

7. Об относительном уменьшении влияния работ Дюркгейма и особенно *Annee Sociologique*, см.: Clark, T.N. 'The Structure and Functions of a Research Institute: *The Annee Sociologique*' in *European Journal of Sociology*, 1968, No. 9, pp. 89-91.
8. См.: Catlin, G.E.G. 'Introduction' in Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method* (translated by Solovay, S.A. and Mueller, J.H.), 8th ed., Glencoe (Ill.): Free Press, 1964 [1938], pp. xi-xii).
9. Connell, R.W. 'Why Is Classical Theory Classical?' in *American Journal of Sociology*, vol. 102, No. 6 (May 1967), p. 1514.
10. Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method*, pp. 35-36.
11. На мнение, будто общество основано на субстрате индивидуальных сознаний, Дюркгейм отвечает: «Однако то, что с такой готовностью объявляется неприемлемым в отношении социальных фактов, легко принимается в других областях. Комбинация разнородных элементов всегда приводит к возникновению новых явлений. Поэтому мы вынуждены представлять себе эти явления, не как элементы, но в целостности, образуемой их соединением. (...) Давайте применим этот принцип к социологии. Если, как нас уверяли, такой своего рода синтез (*sui generis*), определяющий любое общество, ведет к возникновению новых явлений, отличных от тех, что имеют место в изолированных сознаниях, мы вынуждены признать, что эти явления

имеют место в обществе, которое их порождает, а не на уровне его частей, иначе говоря, не на уровне членов этого общества». (Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method*, pp. 3840).

12. «Исключительной особенностью социального ограничения является то, что оно проистекает не из определенного набора молекул, а из престижа, которым наделены определенные типы представлений. В самом деле, привычки, будь они индивидуальны или наследственны, в некотором отношении обладают тем же свойством. Они господствуют над нами и определяют наши убеждения и действия. Но они господствуют над нами изнутри, ибо целиком и полностью находятся внутри каждого из нас. Напротив, социальные убеждения и действия влияют на нас извне; таким образом, воздействие тех и других по сути своей совершенно различно» (Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method*, p. 44).

13. Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method*, p. 45.

14. «Хотя убеждения и социальные действия управляют нами таким способом извне, из этого не следует, что мы принимаем их пассивно, не заставляя их претерпевать изменения. Размышляя о коллективных институтах, приспособившаяся к ним, мы их индивидуализируем, в той или иной степени налагая на них наше собственное восприятие. Таким образом, размышляя о мире смыслов, каждый из нас окрашивает его по-своему, и разные люди по-разному адаптируются к одинаковой физической среде. Вот почему каждый из нас создает в определенной степени *свою собственную* нравственность, *свою собственную* религию, *свою собственную* методы. Каждый тип социального соответствия несет в себе целую гамму индивидуальных вариаций. Тем не

342

менее, верно и то, что сфера дозволенных вариаций ограничена. Она не существует вовсе или очень мала у явлений религиозного или нравственного характера, где отклонения могут легко стать преступлениями. Она более обширна у всего, что связано с экономической жизнью. Но, рано или поздно, даже в последнем случае, мы обнаруживаем границу, которую нельзя переступить» (Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method*, p. 47, note 6).

15. Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method*, p. 45.

16. См.: Durkheim, E. *The Rules of Sociological Method*, pp. 32-33.

17. Говоря в одной из своих последних работ о теории рационального выбора, Уильям Дж. Гуд отмечает: «Обычно социологи рассматривают в первую очередь то поведение, цели и задачи которого кажутся достаточно ясными; мы пытаемся найти переменные, объясняющие большинство отклонений. Однако если, например, люди последовательно действуют таким образом, что снижается возможность достижения того, что они считают своей материальной, нравственной или эстетической целью, т.е. упомянутые переменные не позволяют сделать адекватных прогнозов мы не считаем, что эти люди действуют иррационально. Напротив, мы более пристально изучаем их поведение, чтобы обнаружить 'глубинную рациональность' того, к чему они на самом деле стремятся» (Goode, WJ. 'Rational Choice Theory' in *American Sociologist*, Vol. 28, No. 2, Summer 1997, p. 29).

18. Marx, K. and Engels, F. *The Communist Manifesto*, New York: International Publishers, 1948, p. 9. В своем предисловии в издании 1888 года Ф.Энгельс вновь излагает «основное положение, составляющее ядро [Манифеста, заключающееся] в том, что в каждую историческую эпоху преобладающий способ экономического производства и обмена и необходимо обуславливаемое им строение общества образуют основание, на котором зиждется политическая история этой эпохи и история ее интеллектуального развития, основание, исходя из которого она только и может быть объяснена; что в соответствии с этим вся история человечества (со времени разложения первобытного родового общества с его общим землевладением) была историей борьбы классов, борьбы между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующими и угнетенными классами; что история этой классовой борьбы в настоящее время достигла в своем развитии той стадии, когда эксплуатируемый и угнетаемый класс - пролетариат - не может уже освободить себя от ига эксплуатирующего и господствующего класса - буржуазии, - не освобождая вместе с тем раз и навсегда всего общества от всякой эксплуатации, угнетения, классового деления и классовой борьбы» (Marx, K. and Engels, F. *The Communist Manifesto*, p. 6 [перевод приводится по: Энгельс, Ф. 'Предисловие к английскому изданию 1888 года' в Маркс, К. и Энгельс, Ф. *Манифест Коммунистической партии*, Москва: Прогресс, 1986]).

19. Говоря о событиях во Франции в период с 1848 по 1851 год, К.Маркс замечает: «И если даже в частной жизни делают различие между тем,

343

что говорит человек и что думает он сам о себе, и тем, что он есть и делает в действительности, тем более в истории необходимо различать фразы и химеры от реального положения, реальных интересов той или другой партии» (Marx, K. *The 18th Brumaire of Louis Napoleon*, New York: International Publishers, 1963, p. 47 [перевод приводится по: Маркс, К. *18-е брюмера Луи Бонапарта*, Харьков: Издание Товарищества потребительных обществ Юга России, 1918]).

20. «[Обычай и материальные преимущества] не составляют достаточно надежной основы для данного типа господства. Кроме них обычно существует и третий элемент, вера в *легитимность*. Как показывает опыт, господство никогда добровольно не ограничивает материальными, аффективными или идеальными мотивами оснований для своего продолжения. Помимо этого, каждая подобная система стремится культивировать веру в свою легитимность. Но в соответствии с заявленным видом легитимности тип подчинения, вид административных кадров для его обеспечения и способ осуществления власти будут фундаментально различаться» (Weber, M. *Economy and Society* [Roth, G. and Wittich, C (eds.)], New York: Bedminster Press, 1968, p. 213).

21. Weber, M. *Economy and Society*, p. 217.

22. «Вообще, следует отдавать себе отчет в том, что основанием любой власти и, соответственно, любого вида готовности к подчинению является *вера*, вера, посредством которой люди, осуществляющие властные полномочия, обретают престиж. Эта вера редко бывает простой по своей природе. 'Легальная власть' никогда не бывает чисто легальной. Вера в легальность со временем становится установленной и привычной, а это означает, что она отчасти традиционна. Нарушение традиции может оказаться для нее фатальным. Более того, в ней есть и харизматический элемент, по крайней мере в негативном смысле: постоянное и осязаемое отсутствие успеха может быть достаточным для того, чтобы погубить любое правительство, подорвать его престиж и подготовить путь для харизматической революции» (Weber, M. *Economy and Society*, p. 263).

23. См.: Freud, S. *Civilization and Its Discontents*, New York: W.W.Norton, 1961 [1930].
24. См.: Freud, S. *The Interpretation of Dreams*, New York: Basic Books, 1955 [1900].
25. «Благодаря психоанализу мы поняли, что в основе процесса вытеснения лежит не стремление положить конец идее, представляющей инстинкт, уничтожить ее, но стремление воспрепятствовать ее осознанию» (Freud, S. 'The Unconscious' in [Freud, S. *Collected Works*], Standard edition, 1957, vol. 14, p. 166).
26. «Выигрыш в значении является как нельзя более веским основанием для выхода за границы непосредственного опыта. (...) Подобно тому, как Кант предостерегал нас, чтобы мы не упускали из виду, что наши восприятия субъективно обусловлены и не должны считаться идентичными тому, что воспринимается, но тем не менее остается непоз-
344
наваемым, психоанализ предостерегает нас, чтобы мы не ставили знака равенства между восприятиями посредством сознательного и бессознательными умственными процессами, являющимися их целью. Психическое, как и физическое, не обязательно является в реальности тем, чем оно нам кажется» (Freud, S. *The Unconscious*, pp. 167, 171).
27. Freud, S. *The Unconscious*, p. 182.
28. «Эго ведет себя так, как если бы опасность развития тревоги исходила не со стороны инстинктивного импульса, а со стороны восприятия, и это дает ему возможность реагировать на внешнюю угрозу попытками бегства, представленными фобическими уклонениями. В данном процессе вытеснение особенно успешно в одном - выход беспокойства может быть задержан до определенного уровня, но только за счет нелегкой жертвы личной свободой. Однако попытки бегства от требований инстинкта оказываются, как правило, бесполезными, и несмотря ни на что результат фобического бегства остается неудовлетворительным» (Freud, S. *The Unconscious*, p. 184).
29. Freud, S. *The Unconscious*, p. 182.
30. «Борьба с бессознательным чувством вины, являющимся препятствием, дается психоаналитику нелегко. Против этого чувства нельзя сделать ничего прямо или косвенно, за исключением медленного процесса выявления его бессознательных вытесненных корней, в результате которого оно постепенно превратится в осознанное чувство вины. (...) В основном это зависит от глубины чувства вины; зачастую не существует противодействующей силы того же порядка, что и чувство вины, которую терапия мола бы ему противопоставить. Возможно, это также зависит и от того, допускает ли пациент аналитика к своему идеальному эго, а с этим связано искушение для аналитика играть роль пророка, спасителя и искупителя по отношению к пациенту. Поскольку правилами психоанализа категорически запрещается использование врачом собственной персоны в подобных случаях, надо честно признать, что здесь мы имеем дело с другим ограничением в эффективности психоанализа; в конце концов, анализ не нацелен на то, чтобы исключить возможность патологических реакций, но на то, чтобы дать эго пациента свободу принимать то или иное решение» (Freud, S. *The Ego and the Id*, New York: W.W.Norton, 1960 [1923], pp. 50-51).
31. Freud, S. *Civilization and Its Discontents*, pp. 34, 35-36.
32. См.: Abdel-Malek, A. *Social Dialectics*, Vol. 1: *Civilisations and Social Theory*, London: Macmillan, 1981 [1972], p. xii.
33. «Изначальное воодушевление... глубоко коренится в нынешней трансформации мира, в движении Востока - Азии и Африки вместе с Латинской Америкой - навстречу современности. Основная трудность, с которой столкнулась социальная теория в эпоху Ялты, ставшей кульминацией западной гегемонии, заключалась в выработке способов и средств взаимодействия с обществами, которые до той поры были маргинализованными и принадлежали к западным ци-
345
визационным типам. Универсализм, который прежде прокламировался как верное средство, просто не работал. Он не только не мог интерпретировать изнутри наиболее значимые особенности, но и был невосприимчив к основным формационным тенденциям в рамках национальных философских и политических школ. (...) Вневременная социальная теория может существовать лишь в субъективистских эпистемологических творениях профессиональных идеологов, оторванных от реального конкретного мира, от объективной диалектики человеческих обществ, существующих в данный исторический период в данном месте, и от скрытых геосторических формационных влияний» (Abdel-Malek, A. *Civilisations and Social Theory*, pp. xi, xiii).
- 33a. Abdel-Malek, A. *Civilisations and Social Theory*, p. 43.
- 33b. Abdel-Malek, A. *Civilisations and Social Theory*, p. 97.
- 33c. Abdel-Malek, A. *Civilisations and Social Theory*, p. 156.
- 33d. Abdel-Malek, A. *Civilisations and Social Theory*, pp. 171-172.
- 33e. Abdel-Malek, A. *Civilisations and Social Theory*, p. 179.
34. «На другом берегу реки концепции Востока структурировались посредством иного процесса, протекавшего в совершенно другой среде. Если мы рассмотрим историко-географическое строение наций и обществ Востока - Азии вокруг Китая, исламской зоны в Африке и Азии, - то нам немедленно станет ясно, что мы имеем дело со старейшими оседлыми и стабильными обществами социоэкономических формаций в истории человечества. Ряд обществ возник на берегах крупных рек, дающих широкий выход к морям и океанам; таким образом, пастушеские группы получили возможность перейти к более стабильному, оседлому способу производства и социального существования. (...) Здесь очень важно учесть значимость «долговечности» и «социального постоянства» на протяжении веков и тысячелетий для этих объективных базовых элементов. (...) Время - господин. Поэтому можно сказать, что концепция времени развивалась как неаналитическое видение, как унитарная, симбиотическая, объединенная и объединяющая концепция. Больше у человека не могло быть или не быть времени; время, являющееся господином существования, невозможно было воспринимать как предмет потребления. Напротив, время управляло человеком и господствовало над ним» (Abdel-Malek, A. *Civilisations and Social Theory*, pp. 180-181).
35. Абдель-Малек не отвергает полностью западную модернити. Действительно, он предупреждает Восток в его противостоянии с Западом следующим образом: «Если Восток желает стать хозяином своей судьбы, то ему неплохо бы поразмыслить над старой поговоркой японских мастеров боевых искусств: 'Не забывай, что настоящим мастером может стать лишь тот, кто, зная старое, познает и новое'» (Abdel-Malek, A. *Civilisations*

and Social Theory, p. 185).

36. Braudel, F. 'History and the Social Sciences: The *Longue Duree* in Burke, P. (ed.) *Economy and Society in Early Modern Europe*, London: Routledge and Kegan Paul, 1972, p. 35.

346

37. См.: отзыв сэра Джона Мэддокса на 4-й странице обложки книги: Prigogine, I. *The End of Certainty*, New York: Free Press, 1997.

38. *The End of Certainty* - название английского перевода книги И.Пригожина, сделанного в 1997 году. Французский же оригинал, опубликованный в 1996 году, называется *La fin des certitudes*, и я думаю, что здесь множественное число слова «определенность» в большей степени соответствует тому, о чем говорит автор.

39. «Как хорошо известно, в XX веке законы Ньютона уступили место квантовой механике и теории относительности. Однако основные его характеристики - детерминизм и временная симметрия - остались в силе. (...) Вследствие таких уравнений [например, уравнения Шредингера] законы природы ведут к однозначности. Если даны начальные условия, то все оказывается детерминированным. Природа - это автомат, которым мы можем управлять, по крайней мере в принципе. Новизна, выбор и спонтанное действие реальны лишь с нашей человеческой точки зрения. (...) Понятие пассивной природы, подверженной детерминистским законам, обратимым во времени, типично для западного мира. В Китае и Японии, 'природа' означает 'то, что само по себе'» (Prigogine, I. *The End of Certainty*, pp. 11-12). Обратите внимание на схожесть этого отрывка с утверждениями Абдель-Малека о двух различных цивилизационных отношениях к временному измерению.

40. «Понятие вероятности играет существенную роль в большинстве наук - от экономики до генетики. Тем не менее идея о том, что вероятность - всего лишь состояние ума, все еще жива. Здесь мы должны пойти на шаг дальше и показать, каким образом вероятность участвует в фундаментальных законах физики, будь то классической или квантовой. (...) [Аргументы о том, что энтропия есть мера нашего незнания,] не выдерживают критики. Они подразумевают, что ко второму закону [термодинамики] ведет наше невежество, грубость нашего понимания. Хорошо информированному наблюдателю (подобному демону Лапласа) мир должен представляться абсолютно обратимым во времени. Мы хотели бы быть творцами времени, эволюции, а не его творениями. (...) Согласно нашей точке зрения, физические законы в том виде, в каком они традиционно формулировались, описывают идеализированный, стабильный мир, сильно отличающийся от нестабильного, развивающегося мира, в котором мы живем. Основная причина, по которой нам следует отказаться от упрощенного взгляда на необратимость, заключается в том, что мы не можем больше ассоциировать стрелу времени с нарастанием беспорядка. Последние открытия в физике и химии неравновесности говорят о противоположном. Они недвусмысленно показывают, что стрела времени является источником *порядка*. Конструктивная роль необратимости выглядит еще более ошеломляюще в ситуациях, далеких от равновесия, когда неравновесность приводит к новым формам последовательностей» (Prigogine, I. *The End of Certainty*, pp. 16-17, 25-27).

347

40a. См.: Prigogine, I. *The End of Certainty*, p. 29.

41. «Мы стоим на той позиции, что классическая механика является неполной, так как она не включает в себя необратимые процессы, связанные с ростом энтропии. Для того чтобы включить эти процессы в ее предмет, мы должны инкорпорировать нестабильность и неинтегрируемость. Системы, поддающиеся интегрированию, являются исключением. Большинство динамических систем, начиная с задачи трех тел, не поддается интегрированию» (Prigogine, I. *The End of Certainty*, p. 108).

41a. См.: Prigogine, I. *The End of Certainty*, p. 69. 41b. Prigogine, I. *The End of Certainty*, p. 71.

42. «Наше мышление представляет собой возврат к реализму, но отнюдь не возврат к детерминизму. (...) Вероятность не является больше удобным способом признать наше незнание, но скорее частью новой, более широкой рациональности. (...) Признав, что будущее не детерминировано, мы подходим к концу [эры] определенностей. Является ли это признанием поражения человеческого разума? Нет, напротив, мы считаем, что справедливо обратное. (...) Время и реальность неразрывно связаны. Отрицание времени может быть как утешением для человеческого разума, так и его триумфом. Это всегда отрицание реальности. (...) На самом деле, мы пытались идти по узкой тропе между двумя концепциями, каждая из которых ведет к отчуждению: мира, управляемого детерминистическими законами, в котором нет места новизне, и мира, управляемого богом, играющим в кости, мира, в котором все абсурдно, беспричинно и непостижимо» (Prigogine, I. *The End of Certainty*, pp. 131, 155, 183, 187-188). Обратите внимание на слова «узкая тропка» в последнем предложении.

43. Здесь интересно вновь обратиться к Броделю, чтобы увидеть, как в его формулировках, написанных тридцатью годами ранее, используется почти тот же язык, что у Пригожина. Он хочет описать свои попытки соединить «единство и многообразие в общественных науках» термином «комплексные исследования», позаимствованным у польских коллег (Braudel, F. 'Unity and Diversity in the Human Sciences' in Braudel, F. *On History*, Chicago: University of Chicago Press, 1980 [1960], p. 61). Он говорит, что *histoire evenementielle*, которую он считает «пылью», является линейной историей (Braudel, F. 'History and Sociology' in Braudel, F. *On History*, p. 67). И он предлагает нам включить взгляд Джорджа Гурвича на «глобальное общество» в модель, которая напоминает нам бифуркации: «[Гурвич] рассматривает будущее обеих эпох [средних веков на Западе и нашего современного общества] как колебание между несколькими судьбами, радикально отличными друг от друга, и это кажется мне разумной оценкой разнообразия самой жизни; в будущее ведет не одна-единственная тропка. Поэтому мы должны отказаться от линейности» (Braudel, F. 'The History of Civilizations: The Past Explains the Present' in Braudel, F. *On History*, p. 200).

348

44. Для того чтобы продемонстрировать, что представляет собой феминистская наука, я процитирую два обобщающих заявления. Констанс Джордан [пишет]: «Феминистская наука основана на предположении о том, что женщины воспринимают жизнь иначе, чем мужчины, и эти различия достойны изучения» (Jordan, C. *Renaissance Feminism: Literary Texts and Political Models*, Ithaca (NY): Cornell University Press, 1990, p. 1). Джоан Келли [считает]: «У женской истории двойная цель: вернуть женщин в историю и вернуть историю женщинам» (Kelly, J. *Women, History, and Theory: The Essays of Joan Kelly*, Chicago: University of Chicago Press,

1984, p. 1).

45. Вновь процитируем Джоан Келли: «Включение женщин в основы исторического знания обусловлено тем, что женская история придала теории новые жизненные силы, встряхнула концепции изучения истории. Этому послужила постановка новых вопросов в трех областях, интересующих историческую мысль: (1) периодизация, (2) категории социального анализа и (3) теории общественных изменений» (Kelly, J. *Women, History, and Theory*, p. 1).

46. См.: Keller, E.F. *Reflections on Gender and Science*, New Haven (Ct): Yale University Press, 1985, pp. 3-5.

47. «[Прочтение законов природы ради постижения их содержания раскрывает] личный вклад ученых в беспристрастность; анонимность картины, которую они создают, сама по себе оказывается чем-то наподобие автографа. (...) Внимательное изучение внутриличностной динамики «теории выбора» проливает свет на некоторые из тех тончайших средств, при помощи которых идеология проявляет себя в культуре - даже вопреки самым лучшим намерениям ученых. (...) Не следует, однако, забывать о том, что закон Бойля остается в силе. При любой серьезной критике точных наук необходимо принимать в расчет как неоспоримые успехи науки, так и убеждения, обеспечившие эти успехи. (...) Закон Бойля дает нам достоверное описание, (...) выдерживающее проверку экспериментальной воспроизводимости и логической связности. Но исключительно важно признать, что данное утверждение относится к конкретному набору явлений, предназначено для удовлетворения определенных интересов и формулируется в соответствии с определенными согласованными критериями как надежности, так и полезности. Суждения о том, какие явления стоит изучать, какие типы данных значимы, равно как и какие описания (или теории) этих явлений являются наиболее адекватными, удовлетворяющими, полезными и даже достоверными, во многом зависят от принятых социальных, лингвистических и научных установлений, предшествующих этим суждениям. (...) Ученые любой специальности живут и работают с ощущением наличия определенных констант, которые на самом деле являются переменными, и при наличии соответствующего толчка подвержены изменению. Такую ограниченность... можно воспринять лишь через линзу отличия, выйдя за пределы общности» (Keller, E.F. *Reflections on Gender and Science*, pp. 10-12).

349

48. «Тезисом данной книги является утверждение, что идеология современной науки содержит в себе, наряду с неоспоримыми успехами, и собственную форму интенции: интенцию незаинтересованности, автономии, отчуждения. Я не просто утверждаю, что мечта об абсолютно объективной науке неосуществима в принципе, но что в ней содержится именно то, что она отрицает: живые указания на отображенное представление о самом себе» (Keller, E.F. *Reflections on Gender and Science*, p. 70).

49. Keller, E.F. *Reflections on Gender and Science*, p. 178.

50. Haraway, DJ. *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*, New York: Routledge, 1991, p. 45.

50a. Haraway, DJ. *Simians, Cyborgs, and Women*, p. 1.

50b. См.: Haraway, DJ. *Simians, Cyborgs, and Women*, pp. 134-135.

50c. Haraway, DJ. *Simians, Cyborgs, and Women*, p. 150.

51. Для Харавэй это «означает взяться за решение непростой задачи реконструировать границы повседневной жизни, в частичной связи с другими, в сообщении со всеми частями. (...) Это мечта не обычного языка, а мощной языческой гетероглоссии» (Haraway, DJ. *Simians, Cyborgs, and Women*, p. 181).

52. Она заключает, что «тела как объекты познания являются материально-семиотическими генеративными узлами. Их границы материализуются в социальном взаимодействии. Границы проводятся в процессе составления карт: до этого 'объекты' не существуют как таковые. Объекты появляются при нанесении границ. Но границы перемещаются изнутри; границы очень лукавы. То, что границы содержат временно, остается генеративным, способным производить смыслы и тела. Выбирать месторасположение границ (или находить его) - рискованное занятие. Объективность связана не с высвобождением, а со взаимным и обычно неравным структурированием, с принятием на себя риска в мире, где 'мы' неизбежно смертны, то есть не обладаем 'окончательным' контролем» (Haraway, DJ. *Simians, Cyborgs, and Women*, pp. 191, 200-201).

53. «Бремя Белого Человека становится все более тяжелым для Земли, а особенно для Юга. Последние пятьсот лет истории показывают, что каждый раз, когда между Севером и природой и людьми вне Севера устанавливались отношения колонизации, колонизаторы и колонизирующие общества занимали господствующую позицию, а следовательно, брали на себя ответственность за будущее Земли и за другие народы и культуры. Из позиции превосходства проистекает понятие бремени белого человека. Из *idei* о бремени белого человека проистекает *реальность* бремени, возлагаемого белым человеком на природу, женщин и других. Поэтому деколонизация Юга неразрывно связана с деколонизацией Севера» (Mies, M. and Shiva, V. *Ecofeminism*, New Delhi: Kali for Women, 1993, p. 264).

54. См.: Mies, M. and Shiva, V. *Ecofeminism*, p. 265.

55. «В то время как сама наука является продуктом общественных сил и имеет общественную программу, определяемую теми, кто может мо-

350

билизовать научное производство, в наши дни научной деятельности приписана привилегированная эпистемологическая позиция социальной и политической нейтральности. Таким образом, наука оказывается в двусмысленном положении - она предлагает технические решения социальных и политических проблем, но освобождает себя от ответственности и отстраняется от [решения] новых социальных и политических проблем, которые создает. (...) Проблема выявления скрытых связей между научной технологией и обществом, а также проблема предания гласности тех проблем, которые скрываются и замалчиваются, связана с отношениями между Севером и Югом. Пока научные и технологические структуры не станут социально подотчетны системам, нуждам которых служат, не может быть баланса и подотчетности в отношениях между Севером и Югом. (...) Оспорить всемогущество науки и технологий в решении экологических проблем означает сделать важный шаг в деле деколонизации Севера» (Mies, M. and Shiva, V. *Ecofeminism*, pp. 272-73).

56. См.: Harding, S. *The Science Question in Feminism*, Ithaca (NY): Cornell University Press, 1986, p. 47.

Хардинг пишет: «Занимаясь социальным исследованием, мы... хотим объяснить происхождение, формы и причины преобладания моделей человеческого убеждений и действий, кажущихся иррациональными, но пронизывающих всю культуру... Только настаивая на том, что наука является аналитически отделенной от

общественной жизни, мы можем продлить жизнь выдумки, будто объяснения иррациональных убеждений и действий в принципе не могут углубить наше понимание мира, который объясняет физика. (...) Счет объектов и проведение разделительных линий являются обычными социальными действиями, и эти действия могут породить противоречивые способы мышления об объектах математического исследования. Возможно, трудно представить себе, что действия, определяемые половой принадлежностью, оказали влияние на принятие определенных понятий в математике, но случаи, подобные этим, показывают, что такую возможность нельзя исключать априори на том основании, что интеллектуальное, логическое содержание математики свободно от любых социальных влияний» (Harding, S. *The Science Question in Feminism*, pp. 47, 51).

57. Анализируя содержание пяти книг по данным вопросам, Дженсен говорит: «Основные науки, за исключением приматологии, практически проигнорировали попытки феминистов переименовать природу и перестроить науку. Неясно, что повлечет за собой пересмотр и перестройка науки феминистами, кроме предложения моделей и таксономии, которые будут менее иерархичны, более понятны и более рефлексивны, чем мужские прототипы... Действия феминистов могут породить новые способы существования в мире... и, тем самым, дать начало новым способам познания и описания мира. Или, возможно, высочайшим достижением новой эпистемологии будет отображение ограничений языка и знания; указание на встроенность

351

знания в структуры ([зависимых] от половой принадлежности) властных отношений» (Jensen, C. 'Is Science a Man? New Feminist Epistemologies and Reconstructions of Knowledge' in *Theory and Society*, Vol. 19, No 2, April 1990, p. 246).

58. Latour, B. *We Have Never Been Modern*, Cambridge (Ma.): Harvard University Press, 1993, p. 6.

58a. Latour, B. *We Have Never Been Modern*, p. 10.

59. «Какова связь между переводческой или посреднической деятельностью и очищением? Это вопрос, на который я хотел бы пролить свет. Моя гипотеза остается слишком сырой и заключается в том, что второе позволило существовать первому: чем больше мы запрещаем себе изучать гибриды, тем больше они скрещиваются между собой - таков парадокс современности. (...) Второй вопрос касается досовременных людей, других типов культуры. Моя гипотеза опять очень проста: другие культуры, посвятив себя постижению [природы] гибридов, исключили их распространение. Именно это различие объясняет причины Великого Раздела между Ними - всеми другими культурами - и Нами - представителями Запада - и позволит окончательно разрешить неразрешимую проблему релятивизма. Третий вопрос относится к текущему кризису: если [эпоха] модернисты столь эффективно выполняла двойную задачу по разделению и распространению, то зачем бы она стала сегодня ослаблять себя, лишая нас возможности быть воистину современными? Отсюда следует последний и одновременно самый сложный вопрос: если мы перестали быть современными, если мы больше не можем отделить работу по распространению от работы по очищению, то во что мы превратимся? Согласно моей гипотезе - как и предыдущие, слишком сырой - мы должны будем замедлить шаг, переориентироваться и [начать] регулировать распространение чудовищ, официально признав их существование» (Latour, B. *We Have Never Been Modern*, p. 12).

60. «Если бы существовала антропология современного мира, то ее задача заключалась бы в описании подобным же образом того, как организованы все ветви управления нами, включая природу и естественные науки, и в объяснении того, как и почему эти ветви расходятся, равно как и в объяснении многочисленных механизмов, приводящих их к воссоединению» (Latour, B. *We Have Never Been Modern*, pp. 14-15). Подзаголовком французского оригинала, не включенным в английский перевод названия книги, было *Essai d'anthropologie symetrique* (см.: Latour, B. *Nous n'avons jamais ete modernes: Essai d'anthropologie symetrique*, Paris, La Decouverte, 1991).

61. «Конституция сделала модернистов непобедимыми, поскольку она верит в полное разделение на людей и не-людей и одновременно нейтрализует это разделение. Если вы критикуете их, говоря, что природа есть мир, созданный человеческими руками, они покажут вам, что она трансцендентна, что наука является всего лишь посредником, открывающим доступ к Природе, и что они ни во что не вмешиваются»

352

ваются. Если вы им скажете, что Общество трансцендентно и что их законы бесконечно превосходят нас, они скажут вам, что мы свободны и наша судьба в наших руках. Если вы заметите, что их аргументы противоречат друг другу, они докажут вам, что никогда не путают Законы Природы с непредсказуемой свободой человеческой воли» (Latour, B. *We Have Never Been Modern*, p. 37). Я исправил грубую ошибку, допущенную при переводе с французского (Latour, B. *Nous n'avons jamais ete modernes*, p. 57). Третье предложение переведено на английский так: «Если вы им скажете, что мы свободны и наша судьба - в наших руках, они скажут вам, что Общество трансцендентно и его законы бесконечно превосходят нас».

62. Латур далее разъясняет этот парадокс, рассматривая его выражение в мире знания: «Обществоведы долго позволяли себе осуждать систему убеждений обычных людей. Эту систему убеждений они называют «натурализацией». Обычные люди воображают, будто власть богов, объективность денег, привлекательность моды, красота искусства происходят из неких объективных свойств, присущих природе вещей. К счастью, обществоведы лучше знают и доказывают, что направление вектора обратное - от общества к объектам. Боги, деньги, мода и искусство могут служить лишь оболочкой наших социальных нужд и интересов. По крайней мере, со времен Эмиля Дюркгейма такую цену должен был заплатить желающий овладеть профессией социолога. Трудность, однако, заключается в том, чтобы примирить эту форму развенчания с другой, в которой направления векторов прямо противоположны. Обычные люди, простые живущие в обществе индивиды, рядовые граждане верят, что они свободны и могут видоизменять свои желания, свои мотивы и рациональные стратегии, согласно своей воле. (...) Но, к счастью, обществоведы стоят на страже, осуждая, разоблачая и высмеивая эту наивную веру в свободу человеческого субъекта и общества. На этот раз они прибегают к природе вещей - то есть к неоспоримым научным выводам - для того чтобы показать, как она определяет, наполняет и лепит мягкую и податливую волю несчастных людей» (Latour, B. *We Have Never Been Modern*, pp. 51-53).

63. Опять ошибка в переводе. В английском тексте написано прошедшее совершенное время (past perfect tense), в то время как в оригинале стоит сложное прошедшее (passe compose).

63a. Latour, B. *We Have Never Been Modern*, p. 47.

64. «Современные люди пали жертвой собственных успехов. (...) Их Конституция смогла включить в себя несколько контрпримеров, несколько исключений - в самом деле, на их основе она расцвела. Но она беспомощна, когда исключения множатся, когда третье сословие вещей и «третий мир», объединив свои силы, врываются во все ее ассамблеи, *en masse*. (...) Распространение гибридов вышло за конституционные рамки современных людей» (Latour, B. *We Have Never Been Modern*, pp. 49-51).

353

64a. Latour, B. *We Have Never Been Modern*, p. 69. 64b. Latour, B. *We Have Never Been Modern*, p. 90. 64c. Latour, B. *We Have Never Been Modern*, pp. 103-104. 64d. Latour, B. *We Have Never Been Modern*, p. 139.

65. Приведем слова Д.Голд: «За последние несколько десятилетий социология стала дисциплиной, для которой характерна ультраспециализация. Хотя социологи, возможно, думают, что мы даем нашим студентам широкое социологическое образование, на самом деле своим примером мы приучаем студентов к сужению сферы их компетенции. К сожалению, такая ограниченность означает, что многие социологи не имеют представления о том, что происходит вне их специализаций. Если социология останется верной этому подходу, нам вряд ли стоит надеяться на то, что в XXI веке появятся новые Талкотт Парсонс и Роберт Мертон, обладающие более широким кругозором. Вместо этого социологи XXI века будут, скорее всего, еще больше сужать сферу своей компетенции». Стоит заметить, что эти обличительные строки были напечатаны во вполне специализированном журнале - *The Gerontologist* (см.: Gold, D.T. 'Cross-Fertilization of the Life Course and Other Theoretical Paradigms' in *The Gerontologist*, Vol. 36, No. 2, April 1996, p. 224).

66. «Мы могли бы даже сказать, что модель, [предполагающая, что] индивиды социологически наивны, - как модели, основанные на теории рационального выбора и теории игр - в большинстве случаев оказывается неправильной. Наша типология и объяснения должны быть связаны с постоянным взаимодействием институционализированных ожиданий, восприятий, интерпретаций, аффектов, искажений и поведения» (Smelser, N. *Problematics of Sociology*, Berkeley (Ca.): University of California Press, 1997, p. 27).

67. См.: McNeil, W. *Mythistory and Other Essays*, Chicago: University of Chicago Press, 1986.

68. «Историк - это тот, кто знает? Нет, тот, кто ищет» (Febvre, L. 'Par maniere d'introduction' in Friedmann, G. *Humanisme du travail et humanites*, Cahiers des Annales 5, Paris: Armand Colin, 1950, p. v).

69. Мне кажется, что неопределенность - это основная тема, которую затронул Нил Смелсер в своем президентском обращении к Американской социологической ассоциации в 1997 году, говоря об «амбивалентности» (и позаимствовав этот термин у Мертона). Однако он говорил о ней прежде всего как о психологической константе, относящейся к мотивациям индивидов, а не как о структурной константе физического мира. Но все же я полностью согласен с его выводом: «Мы могли бы даже предположить, что амбивалентность побуждает нас к размышлениям гораздо сильнее, чем предпочтения, поскольку конфликт может быть более сильным побуждением к умственной деятельности, чем желание» (Smelser, N. 'The Rational and the Ambivalent in the Social Sciences' in *American Sociological Review*, Vol. 63, No. 1, February 1998, p. 7).

70. Cazenave, M. (dir.) *Dictionnaire de l'ignorance*, Paris: Bibliotheque Sciences Albin Michel, 1998.

71. «[Понятием о развеянии чар] мы, как ни парадоксально, обязаны прославлению земного мира, взявшего на себя тем самым часть высокой миссии чистого разума, который Аристотель относил к небесному миру. Классическая наука отрицала становление и многообразие природы, бывшие, по Аристотелю, атрибутами низменного подлунного мира. Классическая наука как бы низвела небо на землю... коренное изменение во взглядах современной науки, переход к темпоральности, к множественности, можно рассматривать как обращение того движения, которое низвело аристотелевское небо на землю. Ныне мы возносим землю на небо» (Prigogine, I. and Stengers, I. *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature*, Boulder (Co.): New Science Library, 1984, pp. 305-306).

Научное издание

Иммануэль Валлерстайн

КОНЕЦ ЗНАКОМОГО МИРА:

СОЦИОЛОГИЯ XXI ВЕКА

Научный редактор *А.И. Антипов*

Оформление *Н.Г. Климовой*

Компьютерная верстка *Е.Л. Чистовой*

Технический редактор *П. С. Орешкова*

Корректор *КВ. Карпычева*

Изд. лиц. ИД № 01670 от 24.04.2000

Подписано в печать 25.03.2004. Формат 60x90/16

Печать офсетная. Бумага офсетная № 1

Печ. л. 23,0. Тираж 1500 экз. Заказ № 1422

Издательско-книготорговый дом «Логос»

105318, Москва, Измайловское ш., 4

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14